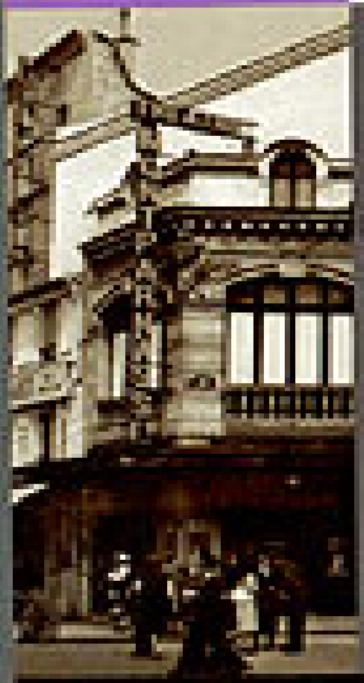
ГАЗДАНОВ



Ольга Орлова

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Это первое подробное жизнеописание Гайто Газданова - одного из самых ярких прозаиков младшей ветви белой русской эмиграции. Осетин по происхождению, рожденный в Петербурге и большую часть жизни проживший во Франции, он считал себя русским писателем. Мало кто знает, что кроме первого романа `Вечер у Клэр`, который на исходе XX века принес ему заслуженную известность среди отечественных читателей, он - автор еще восьми романов и более сорока рассказов, составивших ему славу блестящего стилиста и тонкого психолога в русском зарубежье. События, пережитые эмигрантами, - Гражданская война, отъезд в Константинополь, нищая жизнь в Париже, литературные баталии на Монпарнасе, трагедия оккупации - в судьбе и творчестве Газданова оказались высвеченными с непривычной стороны. Благодаря этому, а также новым документальным находкам и исследованиям последнего времени образ Гайто Газданова и судьба его поколения представлены на фоне развернутой картины эпохи.

- ОЛЬГА ОРЛОВА
  - ГАЙТО ГАЗДАНОВ: МИФЫ И ПАРАЛЛЕЛИ
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
    - ВРЕМЯ СТРАСТЕЙ
    - НА БРОНЕПОЕЗДЕ
    - ДОЛИНА РОЗ И СМЕРТИ
    - НА ОСТРОВЕ
    - НА ДНЕ
    - БЬЯНКУРСК
    - НАЧАЛО
    - САДОВНИК
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - ВРЕМЯ ТРИУМФА
    - БРАТСТВО ВОЛЬНЫХ КАМЕНЩИКОВ
    - ПЕЧАТНАЯ ЖИЗНЬ. «ЧИСЛА»
    - НА МОНПАРНАСЕ
    - ЭПОХА «СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСОК»
    - ЭМИГРАНТСКИЕ ИЛЛЮЗИИ
    - ЮЖНЫЙ ВИРАЖ
    - ЗАПИСКИ ШОФЕРА
  - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
    - ВРЕМЯ «СТРАННОЙ ВОЙНЫ»

- ПРОТИВОСТОЯНИЕ
- РАССТАВАНИЕ С ПРИЗРАКОМ
- ОГРАНИЧЕНИЕ «СВОБОДОЙ»
- ЭПИЛОГ

- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

ОЛЬГА ОРЛОВА

ГАЗДАНОВ

ГАЙТО ГАЗДАНОВ: МИФЫ И ПАРАЛЛЕЛИ

«Газданов Гайто (Георгий Иванович, род. 1903) — писатель-романист» — вот все, что можно было узнать о Газданове в 1967 году, когда его имя впервые появилось в советской печати.

От этого крайне лаконичного комментария к девятому тому Собрания сочинений Ивана Алексеевича Бунина до выхода в Москве в 1996 году Собрания сочинений самого Гайто Газданова прошло почти тридцать лет. Между этими двумя событиями к имени писателя, помимо даты рождения, добавилась дата смерти — 1971 год, а также десятки статей и несколько книг о его творчестве.

И одно обстоятельство неизменно обращает на себя внимание — большинство исследователей отмечают Газданова как писателя странного, до сих пор неразгаданного. Место его в литературе XX столетия остается неопределенным. И его книги, и его судьба несут на себе отпечаток целой эпохи, но газдановское осмысление этой эпохи выделяет его на фоне современников как фигуру особую, ни с каким лагерем или течением несоотносимую. События, которые встречаются в биографии многих писателей первой русской эмиграции — Гражданская война, отъезд в Константинополь, нищая жизнь в Париже, литературные баталии на Монпарнасе, трагедия оккупации, — в судьбе Газданова оказываются высвеченными с непривычной стороны, что породило вокруг его личности множество мифов.

Он написал восемь блестящих романов, более сорока рассказов, но, подобно Грибоедову, остался в истории литературы автором одного бессмертного произведения — «Вечер у Клэр».

Критика эмиграции нарекла Гайто Газданова «русским Прустом», выделяя его как наиболее удачный пример интеграции в европейскую культуру. Но сам Газданов всю жизнь считал себя исключительно русским писателем во всех смыслах этого слова.

Осетин по происхождению, он не знал осетинского языка и помнил Кавказ лишь по летним поездкам туда в детстве. Однако ни характер, ни мировоззрение писателя, ни образность газдановских произведений непостижимы без понимания его осетинских корней.

Из пятидесяти лет, прожитых за границей, он работал ночным таксистом ровно столько же, сколько сотрудником радио «Свобода», однако в памяти современников остался как

«писатель-шофер».

Он не любил насилия и не был отмечен наградами ни в одном боевом сражении, но эпитет «героический» неизменно сопровождал его имя и не был оспорен даже недоброжелателями.

Все, кто знал Газданова лично, не забывали отметить его исключительную тягу к здоровому образу жизни, называя трезвенником и спортсменом. Фотография, где Газданов уже в преклонном возрасте стоит на руках, осталась своеобразной визитной карточкой писателя. Однако при этом Гайто Газданов был страстным курильщиком и никогда не пытался расстаться с дурной привычкой, которая и свела его в могилу, — шестидесяти девяти лет он умер от рака легких.

Уже в этом весьма поверхностном перечне противоречий, связанных с именем Газданова, постепенно выявляется тема «видимого» и «сущего», которая отразилась и в его судьбе, и в его прозе.

Автор настоящей книги не ставил перед собой задачу снять эти противоречия и не стремился поддерживать интригующие парадоксы жизни и творчества писателя. Скорее пытался как можно полнее представить характер и судьбу героя на фоне картин его эпохи, в то же время понимая, что подобное намерение выполнимо лишь отчасти. На то есть несколько причин. Главная из них та, что Гайто Газданов не вел дневников, не оставил воспоминаний, и ни один из современников не посвятил в своих мемуарах его личности хоть сколько-нибудь полный раздел. Не было возможности обратиться за помощью к друзьям и близким Газданова – почти никого из них не осталось в живых. Единственная монография, с которой началось исследование творчества Газданова и в которой обозначены его самые главные жизненные вехи, была написана американским славистом Ласло Диенешем двадцать лет назад. Но с тех пор в поле зрения российских исследователей попало множество новых фактов, приоткрывающих неведомые страницы жизни писателя. Стала доступна часть документов из литературного и личного архива Гаэданова. Нельзя сказать, что они заполняют все белые пятна в биографии нашего героя, но существенно дополняют его жизнеописание.

У каждого писателя своя судьба, и наиболее верным представлялось следовать путем нашего героя. Он очень медленно, в течение десятилетий, расставался с мыслями о родине; он покидал ее поэтапно, прощаясь с матерью в Харькове, с родной землей — в Крыму, с первой любовью — в «Вечере у Клэр», с воспоминаниями о Гражданской войне — в «Призраке Александра Вольфа».

И так же постепенно и негромко происходит возвращение Гайто Газданова домой. Данная книга — всего лишь шаг в этом пути. Однако и он стал бы невозможен, если бы не поддержка тех, кто поделился сведениями и помог советами. Автор выражает огромную признательность Ольге Абациевой (Париж), Руслану Бзарову (Владикавказ), Владимиру Березину (Москва), Ренэ Герра (Париж), Александру Горюнову (Париж), Лоре Джанаевой (Париж), Тамерлану Камболову (Владикавказ), Людмилу Кацаркову (Лос-Анджелес), Андрею Корлякову (Париж), Асланбеку Мзокову (Владикавказ), Юрию Нечипоренко (Москва), Дмитрию Орлову (Москва), Валерию Прийменко (Париж), Егору Резникову (Париж), Фатиме Салказановой (Париж), Татьяне Солюс (Москва), Алексею Сосинскому (Москва), Владимиру Соскиеву (Москва), Ладе Сыроватко (Калининград), Александру Тотоонову (Москва), Сергею Федякину (Москва), Татьяне Фремель (Москва).

Автор также благодарит за содействие сотрудников Хотонской библиотеки (Гарвард, США), Библиотеки университета Нантера (Франция), Дома-музея Марины Цветаевой (Москва) и Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» (Москва).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РОЖДЕНИЕ
1903-1929

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Я не помню такого времени, когда — в какой бы я обстановке ни был и среди каких людей бы ни находился — я не был бы уверен, что в дальнейшем я буду жить не здесь и не так.

Гайто Газданов. Вечер у Клэр

1

«Я родился на севере, ранним ноябрьским утром. Много раз потом я представлял себе слабеющую тьму петербургской улицы, и зимний туман, и ощущение необычайной свежести, которая входила в комнату, как только открывалось окно», — писал Газданов в рассказе «Третья жизнь».

Так все и было. Ноябрьское утро — двадцать третьего дня по старому стилю. Петербургская улица — дом стоял на Кабинетской. Зимний туман висел за окном. Можно ли представить, чтобы в Петербурге в это время года на рассвете не было тумана? Гайто этого не допускал. Вообразить себе рассвет в северном дождливом городе было намного проще, чем вообразить все, что последует дальше.

Дальше следовало путешествие. Газдановы покинули Петербург, как только глава семьи Баппи (Иван) Газданов закончил Лесной институт и получил назначение в Сибирь. Его первенец Гайто к тому времени окреп, и с ним уже можно было отправляться в путь. Где прошли три года странствий, в действительности Гайто не знал. Сибирь он представлял только по рассказам няни. В ее повествовании не было названий городов, зато было много диковинных вещей — замороженные круги молока, сливочное масло в бочках и беглые каторжники, которым на ночь оставляли за окнами продукты. Так что первое путешествие Гайто, пропущенное сквозь реальность, миновало его память и мелькнуло в пересказе:

«Сибирские реки, сибирские просторы — это было то, что еще так любил мой отец, и я знал их по его рассказам и по рассказам матери и няни… мне были известны все могучие, возможные только в Сибири, повороты реки, легкий и точно небрежный, но

неувядающий запах, смесь травы, цветов и земли; и мерный бег коня… и холодное густое молоко с черным хлебом, густо посыпанным солью» («Железный Лорд»).

Дальше следовало возвращение. Вновь улица северного города, дом на Кабинетской, морозный воздух, и он сам, сползающий вниз из распахнутого окна, в последний момент подхваченный матерью. Это была самая ранняя картина из тех, что он вынес из детства. Поэтому вообразить ощущения первого дня своей жизни было нетрудно. В любом случае, с чего бы ни начинать отсчет — с момента рождения тела или памяти, — это случилось именно там, и потому дом стоит того, чтобы о нем сказать отдельно.

В последнем дореволюционном справочнике 1913 года, сообщающем о домовладельцах Петербурга, дом номер семь по улице Кабинетской числился как имущество некоего Иосифа Абациева. После революции дом отошел государству; из нескольких больших квартир на каждом этаже было сделано множество других меньшего размера, и с тех пор стены дома повидали немало новых хозяев, ничего не ведавших ни об истории его последнего владельца, ни об истории внучатого племянника этого владельца.

Нас интересует вторая история, но рассказать о ней, не упомянув первую, невозможно. Потому что Магомет (Иосиф) Абациев приходился Гайто Газданову двоюродным дедушкой, и именно благодаря ему Дика Абациева, маленькая девочка из осетинского села Кадгарон, станет Верой Николаевной Газдановой — матерью нашего героя, которой он будет восхищаться всю жизнь.

Дика попала в Петербург, когда дядя Магомет служил в Твери управляющим акцизными сборами. Дом на Кабинетской он посещал лишь изредка, во время кратких визитов к своей супруге Лидии Погожевой. Вскользь от родственников узнала Дика историю бурной студенческой молодости дяди и его странного союза с немолодой русской дворянкой, женитьба на которой и сделала его хозяином четырехэтажного особняка.

В 70-е годы XIX века Магомет Абациев, будучи студентом Петербургского химико-технологического института, активно участвовал в революционном движении, за что неоднократно подвергался арестам. Распространение воззвания к молодежи, написанного Георгием Плехановым, печатание судебных отчетов по делу Ипполита Мышкина, Софьи Перовской и Андрея Желябова, хранение нелегальной литературы, покушение на убийство шефа жандармов Николая Мезенцова — таков был внушительный список обвинений, предъявленный Магомету

Абациеву. Вариантов, как казалось студенту, было немного — высшая мера наказания или каторга, да и та зависела от милостей судей. Но дело было решено волей иного человека.

Когда надзиратель открыл дверь в камеру и гаркнул: «Абациев, на выход!» — Магомет раздал товарищам свои вещи и приготовился к достойной встрече со смертью. Вместо этого его вытолкали за тюремные ворота и велели отправляться домой.

Вскоре Магомет от друзей узнал, что слушательница Бестужевских курсов, бывшая жена профессора медицины, мать троих детей, Лидия Погожева (урожденная Кандалинцева) внесла за Абациева огромный выкуп. Помимо желания помочь соратнику по борьбе у нее была еще одна причина отдать часть отцовского наследства за жизнь молодого осетина — Лидия была влюблена в Магомета. Так у Магомета появилась жена, старше его на двадцать лет, а у Лидии Погожевой — множество кавказских родственников. И дом на Кабинетской стал играть заметную роль в жизни нескольких поколений осетинской интеллигенции, которая находила в нем приют и заботу. Здесь жил и основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров, и многие студенты-осетины, и земляки хозяина, искавшие в Петербурге работу.

Будучи как-то на Кавказе, Лидия предложила Магомету взять в дом на воспитание племянницу Дику. Дика была ровесницей их дочери Лиши. К этому времени и Погожева, и Абациев оставили мысли о подпольной революционной работе и оба стали сторонниками общественных преобразований путем просвещения, решив начать с ближайших родственников. Для девочек были наняты лучшие учителя. И за десять лет, наполненных иностранными языками, историей, литературой, музыкой, ежедневными прогулками по строгим проспектам и набережным, Дика превратилась в образованную красавицу. Такой ее увидел в доме на Кабинетской Баппи (Иван) Газданов — будущий отец нашего героя.

Дядя Магомет благосклонно смотрел на их знакомство. Во-первых, ему нравился сам Баппи. Добрый, веселый и открытый молодой человек, старательный студент Петербургского лесного института, увлеченный биологией и географией ей, он мог стать надежным спутником для несколько замкнутой и не по годам серьезной племянницы. Даже беглого взгляда постороннего человека было достаточно, чтобы понять — их простые и естественные отношения обещают гармоничный союз. И потому Абациев не стал чинить молодым людям препятствий.

Вторым благоприятным обстоятельством являлось то, что у семьи Газдановых было доброе имя в Осетии. Газдановы

переселились из селенья Уредон во Владикавказ в начале XIX столетия, когда тот еще не был преобразован в город и на картах обозначался как крепость. Отец Баппи — Саге (Сергей) Газданов — прославился героическим участием в Русско-турецкой кампании 1877—1878 года под командованием генерала Михаила Скобелева. Данел, брат Баппи, был известным адвокатом, другом Косты Хетагурова. Дядю Баппи, Гургока (Ефима) Газданова, Абациев прекрасно знал со времен студенческой юности, когда они были членами одного революционного кружка. Таким образом, Абациев был рад тому, что теперь два славных рода, вместо того чтобы крушить старый мир, объединятся для создания нового — семьи.

Вскоре так и произошло. Супружеская пара Газдановых превратилась в настоящую семью — у них родился сын Гайто, названный при крещении Георгием.

Сам Гайто полагал, что ни происхождение, ни близкое окружение, ни обстоятельства жизни, ни внешние воздействия не способны объяснить, почему тот или иной человек становится тем, кем он становится. Мы не будем спорить с героем. Мы только скажем, что он родился в 1903 году в России. Дата и место говорят о многом.

В те дни, когда Гайто появился на свет, писатель Сергей Минцлов записывает в своем дневнике: «Петербург. 27 ноября 1903 г. Движение в учебных заведениях усиливается; слышал, что были сходки и скандалы в Лесном институте, у путейцев и т.д. Арестован профессор университета Аничков, провозивший через границу пресловутое "Освобождение"[1], превратившееся для него в "Заключение". Толкуют о производящихся многочисленных арестах и обысках; предвещаются крупные беспорядки среди студенчества и рабочих».

Это были предвестия событий, в силу которых всем, кто родился *там* и *тогда,* предстояло сделать свой выбор. Зависел ли он от происхождения, окружения и обстоятельств, это каждый решал сам. Мы лишь заметим, что в жизни Гайто все три фактора были исключительные.

Древние осетинские корни и европейское воспитание родителей Гайто были реальным отражением причудливого переплетения людских судеб эпохи fin de siecle[2]. Девять столетий минуло с тех пор, как осетины приняли православие, но язык, традиции и обычаи наследники сарматов бережно хранили в неприкосновенности. Девять столетий осетинские дети получали двойные имена — родные для семьи и православные при крещении.

В середине же XIX столетия Россия, освоившая Кавказ,

манила просвещением, и способная талантливая молодежь потянулась на север — в Москву и Петербург — получать образование. И к началу XX века в среде осетинской интеллигенции теснейшим образом смешались тысячелетние кавказские обычаи, вековые православные традиции и европейские воззрения, впитанные за последние несколько десятков лет.

На судьбе Газданова эти обстоятельства отразились прямым образом — он вырос на русской и европейской литературе, осетинским языком почти не владел, но свои произведения он с гордостью подписывал осетинским именем — Гайто. Первому имени он никогда не изменял.

Поэтому никакой путаницы имен в нашем предыдущем повествовании не было — осетины привыкли указывать два имени. Не будет ее и в дальнейшем. Следуя за нашим героем, мы будем называть его так, как называл себя он сам, а второе имя — Георгий — останется для его официальных знакомств.

2

Второе посещение Кабинетской, ставшее первым сознательным воспоминанием детства, было чрезвычайно кратким и продлилось всего две недели. Отца, служившего лесничим в Сибири, перевели на другое место, и в Петербург они попали транзитом, перебираясь с северо-востока на запад империи. Минск, Брянск, Смоленск — везде останавливались недолго. Следующие три года в памяти Гайто остались как сплошное чередование чемоданов с лесами, охотой и опять чемоданами. Чемоданы распаковывались, жизнь налаживалась, осваивался лес, заводились собаки, лошади, приступали к охоте, потом чемоданы вновь паковались, Газдановы переезжали на новое место — и все повторялось. Между переездами семья разрасталась — у Гайто появились две сестры.

Летом неизменно ездили на Кавказ навестить отцовскую родню. Гайто любил гостить в доме деда Саге.

«Я помнил деда маленьким стариком, — напишет о нем повзрослевший внук в романе "Вечер у Клэр", — в черкеске, с золотым кинжалом. В девятьсот двенадцатом году ему исполнилось сто лет… Он умер на второй год войны, сев верхом на необъезженную английскую трехлетку своего сына, старшего брата моего отца; но несравненное искусство верховой езды,

которым он славился много десятков лет, изменило ему. Он упал с лошади, ударился об острый край котла, валявшегося на земле, и через несколько часов умер».

Точно таким — в черкеске с золотым кинжалом — стоит дед на фотографии, которую будет возить с собой Гайто. Семейный архив Газдановых хранит еще несколько снимков тех времен: Вера Николаевна держит на руках круглоголового Гайто с оттопыренными, как у отца, ушами; Гайто в матросском костюмчике рядом с сестренкой Риммой; отец в чиновничьем сюртуке.

Лесное ведомство, в котором служил Иван Газданов, в царской России относилось к военным подразделениям. Будучи прекрасным пловцом, наездником, стрелком, отец Гайто к офицерской карьере был равнодушен. Воинский устав его душа не принимала. Он и над братьями посмеивался, утверждая, что те пошли в военное училище, чтобы алгебры не учить. По примеру дяди Гургока, который оставил свою петербургскую революционную деятельность и занялся в Осетии лесничеством, Иван Газданов остановил свой выбор на той же профессии. Несмотря на военную организацию ведомства, его деятельность была куда ближе к науке и к путешествиям — двум вещам, которые отец любил больше всего на свете. Таким образом Баппи умудрился совместить семейные военные традиции с собственными миролюбивыми интересами.

Отца кочевая жизнь вполне устраивала, другой он себе и не желал. Это был его мир поисков, наблюдений, приключений, и больше всего Гайто удивляло то, что отец был таким же ребенком, как и он сам, только отцовские увлечения называли работой, а его самого пока очень редко брали на охоту, а в дальние экспедиции вообще не пускали.

Сидя дома над книгами и картами, отец был сосредоточен, серьезен, и сын с нетерпением ждал, когда тот освободится, чтобы поехать за город. Там — Гайто знал – они будут бегать наперегонки, кувыркаться, валяться в траве, ловить руками на лету бабочек и стрекоз… А если повезет с погодой, они выберутся на речку и отец покажет ему настоящие чудеса на воде:

«На глубоком месте он делал такую необыкновенную вещь, которой я потом нигде не видал: он садился, точно это была земля, а не вода, поднимал ноги так, что его тело образовывало острый угол, и вдруг начинал вертеться, как волчок: я помню, как я, сидя голым на берегу, смеялся; и потом, вцепившись в шею отца, переплывал реку на его широкой волосатой спине» («Вечер у Клэр»).

Отец был человеком недюжинной физической силы. Однажды

Гайто видел, как он держал коляску за заднюю ось, пока меняли сломанное колесо. При этом отцу приходилось удерживать лошадей на месте, но даже капли пота не выступило на лбу, лишь вздулись жилы на висках и на шее. Он считал, что сыну тоже необходимы физические упражнения, и Гайто с удовольствием прыгал, отжимался от пола, бегал по лесу — делал все вместе с отцом. Это было первое мужское братство, которое узнал Гайто, — мать и сестер на такие прогулки не брали.

Привычка к гимнастике и плаванию останется у Гайто на всю жизнь. Но самое ценное приобретение тех лет — это отцовские рассказы. Он владел тайнами растений полей и лесов; знал все о животных, которые в этих лесах охотились, дрались за жизнь, прятались, любили, гибли, и главное — был необыкновенным фантазером.

«За время моего детства, — вспоминал Гайто в том же романе, — я совершил несколько кругосветных путешествий, потом открыл новый остров, стал его правителем, построил через море железную дорогу и привез на свой остров маму прямо в вагоне — потому, что мама очень боится моря и даже не стыдится этого. Сказку о путешествии на корабле я привык слушать каждый вечер и сжился с ней так, что когда она изредка прекращалась — если, например, отец бывал в отъезде, — я огорчался почти до слез».

Самые горькие слезы были впереди, когда в 1911 году отец сильно простудился и через несколько дней отправился в последнее путешествие в сопровождении матери, нескольких родственников, успевших приехать в Смоленск, немногочисленных друзей и сослуживцев, под мелким холодным дождем и сердитое завывание ветра.

«Я прикладывался к восковому лбу; меня подвели к гробу, и дядя мой поднял меня, так как я был слишком мал. Та минута, когда я, неловко вися на руках дяди, заглянул в гроб и увидел черную бороду, усы и закрытые глаза отца, была самой страшной минутой моей жизни» («Вечер у Клэр»).

Сын заболел еще на похоронах — домой его привезли в сильном жару. Пронизывающий кладбищенский ветер принес ребенку ветряную оспу. Его донимал непрекращающийся зуд, и мать не отходила от постели сына, смазывая сыпь смоченной в спирте ваткой. Через несколько дней к ветрянке добавилась дифтерия, а к температуре — бред.

«Индийский океан, и желтое небо над морем, и черный корабль, медленно рассекающий воду. Я стою на мостике, розовые птицы летят над кормой, и тихо звенит пылающий, жаркий воздух. Я плыву на своем пиратском судне, но плыву

один. Где же отец? И вот корабль проходит мимо лесистого берега; в подзорную трубу я вижу, как среди ветвей мелькает крупный иноходец матери и вслед за ним, размашистой, широкой рысью идет вороной скакун отца. Мы поднимаем паруса и долго едем наравне с лошадьми. Вдруг отец поворачивается ко мне. — Папа, куда ты едешь? — кричу я. И глухой, далекий голос его отвечает мне что-то непонятное. — Куда? — переспрашиваю я. — Капитан, — говорит мне штурман, — этого человека везут на кладбище. — Действительно, по желтой дороге медленно едет пустой катафалк, без кучера; и белый гроб блестит на солнце. — Папа умер! — кричу я. Надо мной склоняется мать. Волосы ее распущены, сухое лицо страшно и неподвижно.

– Крепите паруса и ничего не бойтесь! — командую я. — Начинается шторм!

– Опять кричит, — говорит няня.

Но вот мы проходим Индийский океан и бросаем якорь. Все погружается в темноту; спят матросы, спит белый город на берегу, спит мой отец в глубокой черноте, где-то недалеко от меня, и тогда мимо нашего заснувшего корабля тяжело пролетают черные паруса Летучего Голландца» («Вечер у Клэр»).

С той поры фраза «мальчик с детства бредил путешествиями» приобрела для Гайто зловещий смысл. Столько раз мечтали они с отцом вместе отправиться в кругосветное плавание, а теперь у каждого был свой маршрут — в одиночку. Впервые смерть явилась перед Гайто в мужском обличье, такой он опишет ее в книгах. В действительности же у нее не было ни пола, ни возраста. К 1913 году в семье Газдановых распалось не только мужское братство — одна за другой, с разницей в несколько лет умерли сестры. Первые десять лет жизни Гайто оказались наполненными встречами, путешествиями, расставаниями и невосполнимыми потерями. Эти годы оказались и последним мирным десятилетием жизни России.

Мертвенно-бледное лицо отца, пара семейных снимков несколько страниц романа «Вечер у Клэр»— так в памяти на пленке и на бумаге застыли эти годы в судьбе нашего героя.

3

Оставшись вдвоем с Гайто, Вера Николаевна отправилась на Украину. Посоветовавшись с родными, она решила устроить сына в Петровско-Полтавский кадетский корпус.

Кадетские корпуса появились в России в 1732 году как закрытые средние военно-учебные заведения преимущественно для детей офицеров. Гайто благодаря своему происхождению имел право поступления туда. Отец его незадолго до кончины получил звание полковника, да и большинство отцовских родственников имели военные чины и награды. В материнском роду также были офицеры. Дядя Веры Николаевны — Дмитрий Константинович Абациев — к тому времени стал уже генерал-майором. Так что прошение матери было удовлетворено, и Гайто был допущен к экзаменам.

Вере Николаевне нелегко далось решение отдать сына в кадеты. Она знала: будь жив отец, этого бы не произошло. Они мечтали о хорошем гражданском образовании сына. Теперь родительские мечтания ограничивались пенсией вдовы. И надо было воспользоваться возможностью дать сыну среднее образование за казенный счет. Гайто практические рассуждения в расчет не брал — его возраст позволял ему мечтать о чем угодно. Больше всего на свете в тот момент его пугала разлука с матерью. Он был по-настоящему домашним ребенком, не знавшим суровых наказаний и грубых окриков и не встречавшим в своем окружении человека, который бы его не любил и не баловал. Теперь он был немного в обиде на мать за то, что она хотела его оставить в этом пыльном городке, куда они приехали за две недели до экзаменов.

Зеленые заросли, сине-белая река Ворскла, бледно-желтое здание гостиницы — все показалось ему чужим и враждебным в городе, которого он впоследствии, став писателем, лишит звучного и ласкового настоящего имени Полтава и переименует в безличный Тимофеев.

Тем не менее, чтобы не огорчать мать, Гайто успешно выдержал экзамены, а затем послушно выслушал приказ о своем зачислении в кадеты. Из двадцати девяти кадетских корпусов, существовавших то время в России, старейший Петровско-Полтавский делился одним из лучших.

Корпус был учрежден в 1840 году и по указу Николая I был назван Петровско-Полтавским в честь победы Петра I в Полтавской битве. К его открытию император подарил корпусу портрет Петра Великого, а затем — к первому выпуску — изображение Петра во время Полтавской битвы и знамя. Первый набор составлял всего сто человек. Гайто же попал в корпус, когда в нем обучалось уже более четырехсот кадетов.

Предчувствия не обманули нашего героя — не зря он не хотел расставаться с матерью. Военный уклад учреждения противоречил характеру и привычкам Гайто, и даже то

обстоятельство, что корпусный праздник — 23 ноября — совпадал с его днем рождения, не могло изменить неприязненного отношения мальчика к военной дисциплине. Дети из настоящих военных семей, привыкшие к культу дисциплины, легче относились к строгим формальностям и муштре, на которых строилась красота воинской выправки. Бесконечные маршировки мимо изображений Петра в парадной зале, вынос знамен, краткие казенные обращения и такие же обязательно краткие ответы, вроде «никак нет» и «так точно», — все это казалось Гайто утомительным и ненужным. Ему непременно хотелось все переставить с ног на голову и ответить на краткий вопрос офицера как-нибудь иначе: «что вы, что вы, нет никак!» или «точно, точно так и есть!». Такие выходки были строго наказуемы. Легче было встать самому на голову — умение пройтись по длинному кадетскому коридору на руках Гайто считал главным и лучшим навыком, приобретенным за год пребывания в корпусе.

Не менее тягостным казалось Гайто и основательное религиозное воспитание будущих офицеров. Большинство воспитанников, будучи детьми военных, традиционно отличались приверженностью к православию и монархии, что передавалось им по наследству. В отличие от ровесников-гимназистов они чурались вольнолюбивых разговоров о политике и искусстве. Не только начальство, но и сами товарищи не поощряли собственное мнение кадета по тому или иному вопросу. Тем более не полагалось будущему офицеру заниматься толкованием Священного Писания. Его надо было просто знать. Гайто же, привыкший в семье к свободным суждениям, — Газдановы, независимо от темы разговора взрослых, никогда не выставляли из комнаты детей, – принимал покорное исполнение религиозных обрядов признак либо скудоумия, либо лицемерия. Он хорошо помнил снисходительное отношение отца и к духовенству даже к умеренной религиозности матери. Гайто и сам не понимал, зачем мать добровольно ходит в церковь, но заподозрить ее в неискренности не мог, а потому воспринимал по-отцовски, как одну из немногочисленных маминых слабостей — вроде боязни воды. В этом смысле семья Газданова не избежала еще одного знака той эпохи — всеобщего, ослабления религиозного чувства.

А в корпусе как раз с религией было строго: «…каждую субботу и воскресенье нас водили в церковь; и этому хождению, от которого никто не мог уклониться, я обязан был тем, что возненавидел православное богослужение. Все в нем казалось мне противным: и жирные волосы тучного дьякона, который громко сморкался в алтаре, и, перед тем как начинать службу, быстро

дергал носом, прочищал горло коротким кашлем, и лишь потом глубокий бас его тихо ревел: благослови, владыко! — и тоненький, смешной голос священника, отвечавший из-за закрытых Царских врат, облепленных позолотой, иконами и толстоногими, плохо нарисованными ангелами с меланхолическими лицами и толстыми губами.

— Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков…»

Не доставляло Гайто радости и изучение остальных предметов. Преподаватели не отличались особыми достоинствами, и это останется в памяти навсегда: «Учителя были плохие, никто ничем не выделялся, за исключением преподавателя естественной истории, штатского генерала, насмешливого старика, материалиста и скептика» («Вечер у Клэр»),

Гайто с нетерпением ждал Рождества и двухнедельного отпуска. Дома он сразу завел разговор о том, чтобы его забрали из Полтавы. Мать уговорила его потерпеть: «Может, привыкнешь? Первое время на новом месте всегда тяжело». Но в ее голосе Гайто не почувствовал ни убедительности, ни спокойствия.

Вернувшись в корпус после каникул, Гайто еще тяжелее перенес смену домашней обстановки на казарменную жизнь. И потому твердо решил упросить мать больше не отправлять его в Полтаву. Приехав за сыном в мае и получив подробный отчет о возмутительном поведении кадета Газданова, Вера Николаевна смирилась: в конце концов, если мнение классного наставника и мнение воспитанника совпадают — «таким не место в корпусе» — так тому и быть. «…кадетский корпус, — напишет Гайто в "Вечере у Клэр", — мне вспоминался как тяжелый, каменный сон. Он все еще продолжал существовать где-то в глубине меня; особенно хорошо я помнил запах воска на паркете и вкус котлет с макаронами, и как только я слышал что-нибудь, напоминающее это, я тотчас представлял себе громадные темные залы, ночники, дортуар, длинные ночи и утренний барабан… Эта жизнь была тяжела и бесплодна; и память о каменном оцепенении корпуса была мне неприятна, как воспоминание о казарме, или тюрьме, или о долгом пребывании в Богом забытом месте, в какой-нибудь холодной железнодорожной сторожке, где-нибудь между Москвой и Смоленском, затерявшейся в снегах, в безлюдном, морозном пространстве».

О принятом решении ни мать, ни сын никогда потом не пожалеют. Следующие пять лет окажутся для них последними перед разлукой. И если бы не это время, проведенное вместе, они, наверное, не узнали бы и не поняли друг друга так близко, что их

взаимной любви хватило на всю последующую жизнь. «Позже моя мать стала мне как-то ближе, — признается он, — и я узнал необыкновенную силу ее любви к памяти отца и сестер и ее грустную любовь ко мне».

Яркий образ отца, присутствие няни, болезни сестер — все это в раннем детстве заслоняло мать от сына. А теперь, оставшись один на один, они разглядели друг друга, и Гайто почувствовал, что влияние матери на его мнения, интересы, вкусы огромно. Понял он и то, что своим вторым существованием — в мире книжных путешествий — он обязан не только отцу, но и матери. Это она в три с половиной года научила его читать, сначала по-русски, потом по-французски. Это она прочла ему любимых «Трех мушкетеров», поставив условием, что «Графа Монте-Кристо» он одолеет сам. Эта она подсовывала ему Брема и ограждала от бульварных романов. (Полупорнографические романы Гайто в свое время, разумеется, прочтет, но скорее из любопытства. Благодаря хорошему вкусу, сформированному матерью, они не нанесут ему большого ущерба.) Первым делом Гайто освоит именно материнскую часть библиотеки, состоявшую из русской и французской классики, и только позже доберется до философских книг, принадлежавших отцу.

От матери он унаследовал три едва ли не самые важные вещи в своей жизни — феноменальную память, гибкость воображения и тонкое чувство языка. В дальнейшем они определят его путь. А пока ему предстояло новое путешествие — немного на восток — перед Первой мировой войной Гайто с матерью переехали в Харьков.

ВРЕМЯ СТРАСТЕЙ

Знаешь, Коля, — сказал Володя, вытягиваясь на стуле, – знаешь, у меня иногда впечатление, что я не русский, а так, черт знает что. Страшно сказать, я ведь даже по-турецки говорю, — а потом вся эта смесь — французский, английский, немецкий, — и вот когда от всего этого тошно становится, я всегда вспоминаю русские нецензурные слова, которым мы научились в гимназии и которыми разговаривали с женщинами Банного переулка. Это, брат, и есть самое национальное — никакой француз не способен понять.

Гайто Газданов. История одного путешествия

1

С Северной столицей, как мы помним, Гайто не суждено было познакомиться как следует. Зато облик южной столицы, на звание которой Харьков претендовал по праву, прочно врезался в его память. В маршруте его действительных путешествий это была первая встреча с настоящим крупным городом, в котором запечатлелось одно из лиц Российской империи. Собственно, здесь и произошла встреча с той Россией, которую унесет с собой Гайто Газданов, отправляясь в дальние странствия.

«Прямо от вокзала начиналась широкая и небрежно застроенная улица, — мостовая, тротуары, дома, — на первый, невнимательный, взгляд похожая на любую улицу любого другого города; но, сделав небольшое усилие памяти, я ясно вижу каждое здание, каждую вывеску, я проверял это уже несколько раз, и много лет, сквозь разные страны и чужие города, я вожу с собою этот почти идиллический и, несомненно, уже несуществующий пейзаж, в котором прошли ранние годы моей жизни» — так писал Газданов в рассказе «Хана».

Наш герой был абсолютно прав: пейзаж, запомнившийся ему

за пять лет жизни в Харькове, довольно скоро изменится под властью времени и большевиков, а был он действительно идиллическим…

Тон в Харькове издавна задавало пророссийски настроенное дворянство, что не могло не сказаться на облике города. Еще с допетровских времен Харьков считался центром московского влияния на Украине. А с воцарением Петра I архитектура, традиции, образование — все свидетельствовало об ориентации на Петербург. Императорский двор также не обделял город своим вниманием. Редко кто из российских правителей не оставил своего следа в городском ансамбле. После посещения Петром Великим старой Николаевской церкви, которую он принял за главный собор, на ее месте был возведен великолепный храм в честь посещения этого места государем. К приезду Екатерины Второй в Харькове выстроили великолепный дворец, который императрица посетит лишь однажды в 1787 году, но который принесет добрую славу городу — в 1805 году в нем откроется первый на Украине университет.

Харьковскому дворянству, половину из которого составляли русские, принадлежало одно из самых изысканных зданий — здание Дворянского собрания, которое запомнилось Александру I при посещении Харькова как олицетворение города. Тогда же император подивится на Александровскую колокольню Успенского собора. Эта колокольня, названная в честь его победы над Наполеоном, превышала высоту московской колокольни Ивана Великого. (Через несколько лет, в 1825 году, тело покойного Александра пробудет все в том же Успенском соборе три дня, по пути из Таганрога, где он умер, в Петербург.)

Немецкий путешественник Иоганн Коль, ставший свидетелем харьковских собраний дворян того времени, отмечал: «Пока они заседали, площадь перед собранием была заполнена многочисленными экипажами, как перед европейскими парламентами, и вообще, облик собрания представлял не менее благоприятное впечатление, чем французская палата депутатов».

Ко времени приезда Гайто Харьков являлся и крупнейшим театральным центром России. Среди списков «самый — самый», который имеет каждый уважающий себя город, в харьковском списке значился самый первый профессиональный театр на Украине, открытый еще в 1791 году. К концу XIX века в этот список добавилось и самое первое кино, снятое на Украине. Ни одна столичная труппа не могла во время гастролей миновать Харьков. А местная антреприза режиссера Николая Синельникова, возглавлявшего Харьковский русский драматический театр с 1910 года, гремела на всю Россию своими звездами — Михаилом

Тархановым и Николаем Ходотовым.

Другой не менее значительной стороной жизни города была торговля. Не случайно на харьковском гербе, подаренном городу Екатериной Великой, был изображен рог изобилия, скрещенный с жезлом Меркурия — древнеримского бога торговли. В дореволюционной России Харьковская ярмарка уступала по масштабу продаж только Нижегородской. И в этой области русификация была налицо. Уже к середине XIX века русские пряники купца Павлова вытеснили харьковского рынка традиционные украинские маковники шишки. В начале же XX века самыми популярными сладостями были уже французские изыски Жоржа Бормана.

Среди банков, сосредоточенных на Николаевской площади, большинство составляли отделения общероссийских банков, таких, как Петербургский коммерческий, Волжско-Камский, Торговый, Земельный. Если добавить к этому около двух с половиной сотен заводов и фабрик, три высших учебных заведения и более двадцати средних, нетрудно представить, что помимо преданных престолу аристократии и промышленников в городе имелись революционно настроенные пролетариат и студенчество.

Таков был официальный облик Харькова, представленный в справочниках и исторических очерках. Взгляд же нашего героя не замечал официоза, потому что все перечисленное в его памяти было облечено в несколько дорогих лиц и картин, лишенных помпезности. Харьковская жизнь Газданова, пестрая и мозаичная, была заполнена театром, философией, Клэр, уголовщиной и революцией и имела свои адреса — гимназия, дом Пашковых и бильярдная.

Теперь обо всем по порядку.

2

Одновременно с Гайто приехал в Харьков из провинции его ровесник художник Борис Ефимов — будущий знаменитый карикатурист. Он также воспринял Харьков как настоящую столицу — прежде он нигде не видел столько больших домов, хороших библиотек, музеев и театров. «В Харькове, — вспоминал Ефимов, — я, между прочим, сделался завзятым театралом. Чуть ли не ежевечерне ходил на спектакли местного Драматического театра и обязательно на все премьеры. Регулярно посещал и

городскую библиотеку, где охотнее всего выписывал комплекты журнала "Новый Сатирикон", но брал и какие-то умные философские книги, в которых, однако, с трудом разбирался».

То же произошло и с Гайто: он стал одним из театральных завсегдатаев. Правда, билеты даже на галерку для гимназистов были дороговаты, и порой ему с товарищами удавалось попасть только на второе отделение, присоединившись к зрителям, выходившим во время антракта покурить на воздух.

Чтением «умных философских книжек» был ознаменован и его харьковский период. «Тринадцати лет, — вспоминал Гайто в "Вечере у Клэр", — я изучал "Трактат о человеческом разуме" Юма и добровольно прошел историю философии, которую нашел в нашем книжном шкафу». Гайто действительно добрался до отцовской части библиотеки, которую они с матерью бережно возили с собой. Иммануил Кант, Людвиг Фейербах, Артур Шопенгауэр, Герберт Спенсер, Бенедикт Спиноза, Дэвид Юм, Фридрих Ницше, Георг Вильгельм Фридрих Гегель — все, чьи имена на темных переплетах прежде отпугивали, были прочитаны, по возможности осмыслены и служили почвой для «самых прогрессивных» веяний, которые заносил на юг северный ветер.

Но главное сосредоточение театральных страстей, философии и революционных идей происходило в одном месте — в родной гимназии.

По приезде в Харьков мать отдала Гайто в прославленную Вторую городскую гимназию. Возглавлял ее директор Федор Егорович Пактовский. Дворянин из старинного харьковского рода, Федор Егорович был выпускником Казанского университета, известного и иными студентами — вольнодумцами. Для своих подопечных Пактовский организовал театр, сочинял пьесы, писал очерки на исторические и литературные темы и всячески способствовал развитию вкуса и самостоятельного мышления учеников. Гимназия славилась целой плеядой знаменитых выпускников, среди которых был даже нобелевский лауреат биолог Илья Ильич Мечников.

Культ интеллекта, царивший в этих стенах, подстегивал у Гайто интерес к «взрослым» книгам, от которых было недалеко и до «взрослых» идей, витавших в напряженном харьковском воздухе. От вопросов вечных неизменно переходили к событиям злободневным.

Между обсуждениями последнего школьного спектакля и последней прочитанной книги в разговор вплетались и другие темы: поражения русских войск в начавшейся Первой мировой войне, подозрения в предательстве; возмущение государыней,

подпавшей под влияние сибирского мужика Григория Распутина; интриги в Государственной думе; обвинение полковника Мясоедова и военного министра Сухомлинова за отступления на Юго-Западном фронте; говорили, что военный министр послал сражаться армию, вооруженную палками вместо винтовок; рассказывали, что в Москве громили немецкие магазины… Харьковские гимназисты были политизированы не меньше, чем их старшие товарищи студенты. Причем политизированы в определенном ключе.

Уже несколько десятилетий Харьков был центром народовольческого движения. Здесь в 1878 году народником Гольденбергом из группы Софьи Перовской был убит губернатор Кропоткин, брат знаменитого анархиста. Как помним, именно помощь этой группе ставилась в вину дяде Магомету. Здесь же в Харькове заразился революционными идеям его внучатый племянник, что отражало общие настроения, царившие среди «прогрессивной» части горожан, к числу которых относились прежде всего молодежь и интеллигенция. Неудивительно, что революционные настроения были распространены и среди гимназических товарищей Гайто. И тот из них, кто доживет до зрелого возраста, вместе с Гайто назовет февральские события самым ярким воспоминанием юности.

Все началось тогда со странного и тревожного отсутствия вестей из Петрограда. Перестали выходить газеты. На улицах и площадях стали собираться толпы народа, передавая друг другу слухи. Все словно чего-то ждали…

В те дни в Харькове гастролировал комедийный актер петроградского Александринского театра Владимир Давыдов. Гайто с товарищами пробрался на вечерний спектакль. Шел «Ревизор» с Давыдовым в роли Городничего. И вдруг, во время второго действия, на сцену вышел кто-то из администрации театра с листком бумаги в руках. Извинившись перед актерами, он обратился к публике:

— Господа! Прошу соблюдать полную тишину! Получено исключительной важности сообщение из Петрограда!

Публика затаила дыхание. «…В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание…» Тревожный гул разнесся по залу. «…В эти решительные дни жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных…» На лицах слушателей застыло недоумение. «… Признали мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть…»

Дальше Гайто уже ничего не слышал — зал взорвался бурей восторженных криков и аплодисментов. Давыдов поднял руку и, когда наконец установилась тишина, слабым голосом запел «Марсельезу». Через четверть века во время Второй мировой войны Гайто будет петь эту песню не раз вместе с французами, но такого душевного подъема она уже не вызовет никогда, как в те февральские дни, когда в ее звуках слышался гул перемен.

3

«Был конец весны девятьсот семнадцатого года; революция произошла несколько месяцев тому назад; и, наконец, летом, в июне месяце, случилось то, к чему постепенно и медленно вела меня моя жизнь, к чему все, прожитое и понятое мной, было только испытанием и подготовкой: в душный вечер, сменивший невыносимо жаркий день, на площадке гимнастического общества "Орел", стоя в трико и туфлях, обнаженный до пояса и усталый, я увидел Клэр, сидевшую на скамейке для публики».

В действительности встреча произошла *не там* и *не тогда* . Это случилось чуть раньше в другом месте, где были также сосредоточены театр и философия, — в доме, где он жил. И дом этот не менее примечателен, чем уже знакомый нам особняк на Кабинетской. Здесь родился роман «Вечер у Клэр», вместе с которым родился Газданов-писатель.

Вот что мы читаем в романе: «Мы жили тогда в доме, принадлежавшем Алексею Васильевичу Воронину, бывшему офицеру, происходившему из хорошего дворянского рода, человеку странному и замечательному… Он был страшен в гневе, не помнил себя, мог выстрелить в кого угодно: долгие месяцы порт-артурской осады отразились на его нервной системе. Он производил впечатление человека, носившего в себе глухую силу. Но при этом он был добр, хотя разговаривал с детьми неизменно строгим тоном, никогда ими не умилялся и не называл их ласкательными именами… У него был сын, старше меня года на четыре, и две дочери, Марианна и Наталья, одна моих лет, другая ровесница моей сестры. Семья Воронина была моей второй семьей. Жена Алексея Васильевича, немка по происхождению, всегдашняя заступница провинившихся, отличалась тем, что не могла противиться никакой просьбе».

Речь идет о семье Пашковых, которая сдавала внаем флигель вдове с сыном, то есть Вере Николаевне и Гайто Газдановым.

Семейное предание Пашковых гласило, что их предок служил постельничим при дворе Екатерины II и от щедрот императрицы получил несколько домов в Москве и Харькове. К началу XX века их род разорился. От всей недвижимости деда остался только огромный особняк на улице Екатеринославской в Харькове, который по тем временам считался дорогим городом — квартиры в нем стоили не дешевле, чем в Петербурге и Москве. В этом трехэтажном особняке с двумя флигелями, полукруглым передним двором и огромным старым садом позади дома сами хозяева занимали квартиру на третьем этаже. Оба флигеля и два первых этажа они сдавали и на эти деньги жили.

Екатеринославская находилась в центральной части города и изначально принадлежала зажиточным купцам. Старожилы утверждали, что именно здесь в свое время увязла в грязи карета великой княгини Екатерины Павловны. А чуть позже на Екатеринославской поселилась знаменитая террористов Вера Фигнер. Но для горожан эта улица была примечательна тем, что здесь находились первая городская Опера и первый кинотеатр братьев Боммер — два манящих объекта для Гайто и его товарищей, которых он обрел в доме Пашковых.

У Александра Витальевича Пашкова и Елизаветы Карловны Милфорд было трое детей — Татьяна, Ольга и Павлуша. В романе Газданова «Вечер у Клэр» — это Марианна Воронина (Татьяна), Наталья Воронина (Ольга) и Миша Воронин (Павлуша). Дети Пашковых и Гайто росли в одном дворе. Праздники и дни рождения отмечали, как и положено друзьям, все вместе.

Незадолго до Февральской революции Пашковы переехали на Епархиальную улицу к дяде Елизаветы Карловны. Но Газдановы по-прежнему оставались им близкими людьми. А детская компания со временем превратилась в молодежную. В квартире Пашковых стали собираться студенты, гимназисты последних классов, молодые офицеры. Тон задавала старшая Татьяна, названная друзьями за роскошные светлые волосы — Клэр, что по-французски означает «светлая». Так Танечка Пашкова стала прообразом двух героинь романа: Марианны — товарища детских игр, и Клэр — повзрослевшей возлюбленной. А гимназист Гайто, живущий по соседству, превратился в главного героя Колю Соседова.

Еженедельные встречи у Пашковых получили модное салонное название — «Вечера у Клэр». Это было время стихов, домашних спектаклей, философских бесед и музыки. В гостиной Пашковых не смолкали фортепьяно, скрипка, виолончель.

Гайто прославился на этих встречах своими докладами. От увлечения классикой он уже перешел к модным тогда Ницше и

Шопенгауэру. Послушать докладчика собиралось множество народу. В дела же современные Гайто не посвящали. Клэр, как и большинство ее ровесниц, была одержима революционными идеями, о чем она шепталась с более взрослыми участниками «Вечеров».

Гайто был не только самым юным в этой компании, но и самым малорослым. Когда он выступал с чтением докладов или декламацией стихов, он становился на скамеечку, чтобы его было лучше видно и слышно. Но и это не помогало ему привлечь внимание своей возлюбленной – о том, что Гайто боготворил Клэр, знали все. И она не упускала случая, чтобы подшутить над ним.

Она то и дело выговаривала ему за перчатки, брошенные на ее постель, за небрежность в одежде. Сама же во время серьезных разговоров бралась за пилочку и занималась ногтями. Порой она одевалась в мужской костюм, рисовала себе усики жженой пробкой и показывала Гайто, как должен был вести себя приличный подросток. Словом, возлюбленная Гайто слыла девушкой с непростым характером. Она была непредсказуема и любила провоцировать несчастного влюбленного.

«Вы очень односложно отвечаете, — заметила Клэр. — Видно, что вы не привыкли разговаривать с женщинами.

– С женщинами? — удивился я. Мне никогда не приходила в голову мысль, что с женщинами нужно как-то особенно разговаривать. С ними следовало быть еще более вежливыми, но больше ничего. — Но вы ведь не женщина, вы барышня.

– А вы знаете разницу между женщиной и барышней? — спросила Клэр и засмеялась.

- Знаю.

– Кто же вам объяснил? Тетя?

– Нет, я это знаю сам.

– По опыту? — сказала Клэр и опять рассмеялась.

- Нет, — сказал я, краснея.

– Боже мой, он покраснел! — закричала Клэр и захлопала в ладоши…» («Вечер у Клэр»).

Конечно, по отношению к тринадцатилетнему самолюбивому Гайтошке это было жестоко. Он переживал, но терпел. Он понимал, что Клэр незлобива и ей просто нравилось подшучивать, ощущая свою власть над ним. Так было с первой минуты их встречи и продолжалось на протяжении всего знакомства.

Летом 1919 года Пашковы сняли дачу в Кудряже. Туда же приехали Газдановы. Бывавшие там друзья не раз наблюдали, как Татьяна нарочно выбрасывала ключи со второго этажа в овраг, в

крапиву, и посылала Гайто их искать. И он искал, обжигаясь крапивой, и опять терпел. Жестокие шутки были ему милей, чем холодное безразличие. О надежде на взаимность не могло быть и речи.

Отвергаемый гимназист искал утешения в иных кругах, где не было места благонравию, но — и насмешкам. Еще одно харьковское сообщество, с которым знакомится в это время Гайто, состояло из тех, кого в криминальной хронике называли «уголовными элементами». Здесь познал он другие страсти, полюбив азартные игры.

«Я всегда искал общества старших, — признается он, – двенадцати лет всячески стремился, вопреки очевидности, казаться взрослым… Чувства мои не могли поспеть за разумом. Внезапная любовь к переменам, находившая на меня припадками, влекла меня прочь из дому; и одно время я начал рано уходить, поздно возвращаться и бывал в обществ подозрительных людей, партнеров по биллиардной игре, к которой я пристрастился в тринадцать с половиной лет, за несколько недель до революции. Помню густой синий дым над сукном и лица игроков, резко выступавшие из тени; среди них были люди без профессии, чиновники, маклера и спекулянты» («Вечер у Клэр»).

Там царили свои тайны, и в них посвящали вне зависимости от возраста и убеждений. Но, к счастью для нашего героя, каких-либо трагических последствий это знакомство в его судьбе не имело. Кроме картин уголовного мира, воссозданных им в первых рассказах, оно лишь добавило остроты ощущений в период и без того наполненный событиями.

В немалой степени его дальнейшая судьба была определена параллелями, возникшими в харьковский период. Раздвоенность собственной жизни заслонила от него Октябрь 1917-го. Значительность революционных вестей из Петрограда он ощутил позже, когда Харьков оказался в эпицентре братоубийственной войны.

4

За Октябрем следовали хаос и междоусобица Гражданской войны. Немецкие войска, нарушив перемирие, в течение нескольких недель захватили большую часть Украины и прилегающие российские губернии. Власть менялась почти еженедельно, переходя от Центральной рады и гетмана Украины к большевикам или самостийным военным группировкам,

которые заявляли, что они представляют и защищают народ, и в то же время грабили и бедных, и богатых, опустошая дома, дворцы, деревни…

Целый год голова у Гайто шла кругом. Всего лишь пять лет назад он ходил на руках по коридорам кадетского корпуса, взирал на портреты императора, выставленные в витринах крупных магазинов, а спустя три года в радостном порыве с другими гимназистами и преподавателями шел по улицам города с красным бантом, прикрепленным к лацкану гимназической крутки, и кричал: «Да здравствует свобода! Да здравствует республика!».

Потом немцы, красные, жовтоблакитные. Затем снова белые. Они за кого? За царя? Государевы портреты, разодранные штыками красноармейцев, были выброшены из витрин раньше, чем до Харькова дошла весть о страшном злодеянии, случившемся на севере, – убийстве царской семьи. Мир рассыпался на глазах.

И среди всей этой трагической сумятицы единственным островком привычных устоев для Гайто оставались вечера у Клэр. В то время когда Харьков находился в эпицентре боевых действий и переходил из рук в руки, в их доме все было по-прежнему, и казалось, ничто уже не сможет прервать «Тишину» — романс в исполнении кадета Володи Махно. Его пение Гайто помнил всю жизнь — романс очень нравился Клэр.

Тишина. Не дрожит на деревьях листва,
На лужайке не шепчется с ветром трава,
Цветники и аллеи в объятиях сна.
Сад умолк… Тишина…
Не колышет уснувший зефир тростника,
В берегах молчаливых безмолвна река,
Не играет на глади зеркальной волна.
Спит река… Тишина…
Над задумчивым садом, над сонной рекой,
В небесах беспредельных великий покой,
Из-за лип кружевных выплывает луна.
Сад молчит… Тишина…

Вскоре тишины не останется даже в романсе — Володя уйдет на фронт и погибнет.

В апреле 1918 года власть на Украине получил царский генерал П. П. Скоропадский, избранный гетманом при помощи

германских войск и провозгласивший создание «Украинской державы». Однако власть его продержалась недолго. В ноябре националистами была создана Украинская Директория под председательством известного писателя В. К. Винниченко, которого вскоре сменил на этом посту С. В. Петлюра.

Еще 18 ноября 1918 года полковник Болбочан произвел переворот в Харькове против гетманских властей и объявил себя сторонником Украинской Директории, разогнал рабочий съезд в Харькове, разогнал и высек розгами членов крестьянского съезда в Полтаве. Девятого июня 1919 года он уже попытался совершить переворот против Петлюры, но был арестован и расстрелян.

В январе 1919 года Красная армия заняла Харьков, того марта того же года состоявшийся в Харькове 3-й Всеукраинский съезд Советов принял первую Конституции Украинской ССР. Советская власть побеждала… Но насильственное насаждение повсюду коммун и совхозов вызывало недовольство крестьян, что породило выступления и мятежи Большевики отбивались от внешнего врага — интервенции и внутреннего — крестьянских партизанских отрядов и белой Добровольческой армии, которая еще не потеряла боевой дух и готовилась к серьезному наступлению. Ее главнокомандующий А. И. Деникин чувствовал за собой силу. И вскоре Красную армию потеснили на разных участках фронтов.

Еще утром 25 июня 1919 года вышедшие газеты сообщали: «Красный Харьков победоносно отразил нападение деникинских банд». А за городом уже слышалась пушечная стрельба, и по улицам куда-то неслись нагруженные доверху грузовики, пролетки, телеги. Многие жители уходили пешком с чемоданами и узлами. И вечером добровольческие части генерала В. З. Май-Маевского вошли в город.

Главные новости городская элита узнавала, как и прежде, в театре — в начале июня в город приехала труппа Московского Художественного театра, и в этот день при переполненном зале шел чеховский «Вишневый сад».

В самом начале второго акта, извинившись перед актерами, на сцену вышли три белых офицера, в запыленных мундирах и фуражках. Один из них объявил:

— Господа, Харьков взят Добровольческой армией! Пожалуйста, продолжайте спектакль, — улыбнулся он. — Все в порядке!

Антракт несколько задержался, но потом все же начался третий акт и пьесу доиграли до конца. Чувствовалось волнение, но никто не расходился. Ждали, когда по улицам пойдут бойцы Добрармии. Публика, вышедшая из театра, сопровождала их,

бросала цветы, многие плакали. На площади какие-то люди ожесточенно разбивали памятники, возведенные прежними властями.

На другой день харьковчане увидели давно забытую картину — на улицах вновь появились дворники. Гостиницы наполнились военными. Рестораны мгновенно преобразились: на столах появились дорогие приборы, которые приносили лакеи, вновь облаченные в черные жакеты. И все-таки детали прежней мирной жизни не могли изменить общее военное настроение — город превратился в лагерь. На площадях стояли в готовности автомобили, повозки, лошади, раскладывались костры, и всюду были солдаты.

Вечером в главной ложе театра сидели А. И.Деникин, А.П. Кутепов и В. З. Май-Маевский.

Из всех троих только Кутепова увидит Гайто, и то — много позже. Взятие белыми Харькова, гастроли МХТ и многое другое он пропустил — лето 1919-го он провел на Кавказе у родственников отца, с которыми поехал прощаться перед отправкой на фронт. «Ты, говорят, хочешь поступить в армию?» — спросил его дядя. «Да». — «Глупо делаешь». — «Почему?» Он только опустил голову и проговорил: «Потому что добровольцы проиграют войну».

Мысль о том, проиграет или выиграет войну Добрармия, Гайто мало занимала, и дяде не удалось убедить племянника в бессмысленности его поступка. Гайто считал, что он должен воевать на стороне белых, потому что они — побежденные, потому что он видит в этом свой долг.

«Это гимназический сентиментализм, — терпеливо убеждал его дядя. — Ну, хорошо, я скажу тебе то, что думаю. Не то, что можно вывести из анализа сил, направляющих нынешние события, а мое собственное убеждение. Не забывай, что я офицер и консерватор в известном смысле и, помимо всего, человек с почти феодальными представлениями о чести и праве». — «Что же ты думаешь?» Он вздохнул: «Правда на стороне красных».

Но для Гайто в тот момент правда была на стороне тех, кто проигрывал, кто был слабее. К тому же они защищали старый мир, где были мама, Клэр, гимназия и много того, чем он дорожил больше всего на свете. Гайто был уверен: доживи его отец до этих дней, он бы, полковник царской армии Иван Газданов, ни за что не изменил присяге и пошел бы воевать на стороне белых. Видя упорство племянника, дядя дал ему напутствие, которое Гайто запомнил слово в слово: «…никогда не становись убежденным человеком, не делай выводов, не рассуждай и старайся быть как можно более простым. И помни,

что самое большое счастье на земле — это думать, что ты хоть что-нибудь понял из окружающей тебя жизни. Ты не поймешь, тебе будет только казаться, что ты понимаешь; а когда вспомнишь об этом через несколько времени, то увидишь, что понимал неправильно. А еще через год или два убедишься, что и второй раз ошибался. И так без конца. И все-таки это самое главное и самое интересное в жизни» («Вечер у Клэр»).

Гайто вернулся в Харьков попрощаться с матерью.

«Она просила меня остаться, — напишет он там же, — и нужна была вся жестокость моих шестнадцати лет, чтобы оставить мать одну и идти воевать — без убеждения, без энтузиазма, исключительно из желания вдруг понять на войне такие новые вещи, которые, быть может, переродят меня».

Мать использовала последний аргумент — она взывала к авторитету умершего отца, полагая, что тот, холодно относившийся к военным, был бы огорчен решением сына. Но Гайто мысленно отверг ее аргумент: отец бы не остался в стороне, а за красных он воевать бы не смог; так что выбора у отца не было. Не было его и у Гайто.

Так в конце 1919 года гимназист Газданов, перешедший в седьмой класс, оставил книги, друзей, вечера у Клэр – это останется только в его памяти — и уехал на фронт.

Вскоре после отъезда Гайто семейство Пашковых тоже покидает Харьков и отправляется в Пятигорск. Вместе с ними уехала и мать будущего писателя Вера Николаевна. Она стремилась ближе к родным местам.

НА БРОНЕПОЕЗДЕ

Я измерял тогда время расстоянием, и мне казалось, что я шел бесконечно долго, пока чья-то спасительная воля не остановила меня.

Гайто Газданов. Вечер у Клэр

1

Любой зарубежный справочник, где описано устройство бронепоезда, отсылает к истории Гражданской войны в России. Именно тогда огромные пространства раздираемой на части страны превратились в арену самого массового в истории человечества их применения. Впервые мощное столкновение бронепоездов, принадлежащих двум противоборствующим сторонам, произошло в 1918 году под Царицыном. С тех пор сотни таких составов двигались по дорогам России, меняя названия, переходя от красных к белым, и наоборот, иногда попадая к зеленым и возвращаясь вновь к прежним владельцам. С тех пор бронепоезд стал символом Гражданской войны и непременным самостоятельным героем в воспоминаниях участников тех событий, на чьей бы стороне они ни воевали. Его описывали с любовью, словно у него была душа, потому что устроены бронепоезда почти все одинаково, а судьба у каждого — своя.

Бронепоезд, на который попал Гайто, был еще молод, всего несколько месяцев от роду. Его отогнали из Харькова под Екатеринослав на узловую станцию Синельниково, где он стоял в ожидании своих бойцов. Там на него и ступил Гайто.

От Харькова до Синельниково он добирался на обычном поезде целых два дня. В пути время шло медленно, и пока он трясся в вагоне, перед его глазами не раз всплывала сцена прощания с матерью: как он взял в руки чемодан, и как одна застежка чемодана зацепилась за полу пальто, и как мать улыбнулась, видя, что у него не получается отцепиться… О чем она думала тогда? Наверное, ей было странно, что ее Гайтошка, такой неловкий, такой невзрослый, идет на войну.

И как только Гайто представлял себе, что больше к ней не вернется, от одной этой мысли ему становилось нехорошо и он начинал искать глазами поезда, идущие в обратном направлении.

Чтобы отвлечь себя от недостойных, как ему казалось, раздумий, он стал думать о том, что его ожидает по прибытии на место назначения. Он представлял себе будущее место службы — бронепоезд и пытался угадать свое место на нем.

Первый раз Гайто увидел бронепоезд еще год назад на харьковском вокзале, когда в город вошли красные. Израненные составы приходили в город на восстановление — в Харькове располагалась крупная ремонтная база. Отираясь на вокзале, мальчишки-гимназисты с любопытством изучали устройство боевых поездов. Пока составы ожидали ремонта, их можно было как следует рассмотреть, а если повезет, то и упросить конвоиров потрогать корпуса. Внутрь допускать посторонних было категорически запрещено — там находились средства связи и наблюдения.

Уже тогда Гайто узнал, что устроены бронепоезда, как тяжелые, так и легкие, очень похоже: боевая часть и база. От обычных поездов они отличались не только тем, что паровоз и некоторые вагоны были покрыты броней. Паровоз к тому же занимал не обычное место впереди состава, а в самой середине. Бронепаровоз как тягловую силу очень берегли, использовали только для боевых действий, а при переходах и на учениях бронеплощадки старались прицеплять к обычным гражданским паровозам.

Впереди и сзади бронепаровоза располагались бронеплощадки, на каждой из которых крепились пушки и пулеметы. Бронеплощадки делились на те, с которых велась стрельба по наземным целям, и те, с которых отражались атаки с воздуха и земли. Они могли быть глухими, то есть пол закрытыми, имеющими лишь бойницы для стрельбы наблюдения, или ограниченными, то есть защищенными только в самых важных местах.

Кроме того, впереди и сзади боевой части прицеплялись по две контрольные платформы, которые должны были предотвращать подрыв бронепоезда на минах. На эти площадки грузили различные материалы для ремонта железнодорожных путей и вещи, не поместившиеся в вагонах.

База же была фактически жилой частью состава и состояла из товарных и классных вагонов: вагон для командования, вагон-кухня, вагон-мастерская.

Тогда же Гайто узнал, что из бронепоездов формируй команды — бронедивизионы: на один тяжелый бронепоезд приходится два-три легких, и вместе они ведут согласованные боевые действия.

Гайто рассматривал устройство бронепоездов чрезвычайно

внимательно — он уже собирался на фронт. Но выяснить у конвоиров самое главное — принципы управления и правила ведения боя — было почти невозможно. Обычно конвой состоял из бывших крестьян, которые и сами-то плохо в этом разбирались. Где находится рубка командира? Кто отдает приказы о ведении огня? Где находятся приборы внутренней и внешней связи и где приборы наблюдения? Об этом лучше было расспрашивать матросов, которые в большинстве своем составляли боевую команду большевистских бронепоездов. Но матросы растворялись в городе, как только их бронеплощадки вставали в очередь на починку. Поэтому обо всех деталях Гайто предстояло узнать чуть позже. Теперь до «позже» осталось два дня.

По прибытии в Синельниково узнает Гайто, что детали — не главное. Главное — это то, что наличие брони и способность к маневрированию не всегда спасают солдат и технику. Увидит он, как бронепоезда взлетают на воздух, как их обстреливают из пушек и атакует конница, и потому главный секрет в командовании бронепоездом — это беспрерывная и умелая смена позиций, чтобы не дать противнику пристреляться. Узнает он на практике и то, что командир их бронепоезда этим секретом владел, и потому им удавалось почти год передвигаться по южным степям России, оставаясь целыми и невредимыми, пока их не постигла участь всех бронепоездов, принадлежащих белым. Увидит он, как почернеют глаза капитана, командующего сменой, принявшей последний бой. Услышит он резкую короткую фразу: «Угробили бронепоезд».

2

Летом 1919 года, когда Гайто прощался с дядей, еще нельзя было с уверенностью сказать, что белые проигрывают. А к осени, когда он получил назначение на бронепоезд, позиции белых армий были даже предпочтительнее. На центральном направлении, от Воронежа почти до Чернигова, наступала Добровольческая армия генерала Май-Маевского. В районе Царицына и к юго-востоку от него располагалась Кавказская Добровольческая армия Врангеля. За правым флангом Кавказской армии в направлении Астрахани действовал отряд генерала Драценко. Северо-западнее Кавказской армии от реки Иловля и до Воронежа держала фронт Донская армия генерала Сидорина. К юго-западу от Добровольческой армии в районе Бахмача и Киева

действовали войска Киевской области генерала Драгомирова. На Правобережной Украине оперировала группа Шиллинга.

В середине октября 1919 года фронт представлял собой гигантскую дугу протяженностью более 1130 километров. Ее вершина была обращена в сторону Москвы, а концы упирались в устье Волги и Днепр. Почти все силы белых армий были сосредоточены на этом огромном фронте.

На наиболее важном, курско-орловском направлении активно действовал 1-й армейский корпус генерала Кутепова, состоявший из отборных дивизий — Дроздовской, Корниловской и Марковской. Кутеповский корпус наносил удары по трем основным направлениям: в сторону Брянска наступала Дроздовская дивизия; на Орел — Корниловская дивизия и в направлении Ельца — Марковская дивизия. За правым флангом корпуса в районе Воронежа действовали кавалерийские корпуса генералов Мамонтова и Шкуро. Левый фланг прикрывал 5-й кавалерийский корпус генерала Юзефовича. До Москвы оставалось чуть больше 300 верст.

Однако к декабрю 1919-го, когда Гайто стал бойцом, красные уже наступали. И рядовой артиллерийской команды Газданов, находясь у пулемета на бронеплощадке, наблюдал все, что предсказывал дядя. «Тебе в ближайшем будущем, — предупреждал он, — придется увидеть много гадостей. Посмотришь, как убивают людей, как вешают, как расстреливают. Все это не ново, не важно и даже не очень интересно» («Вечер у Клэр»).

Действительно, скоро стали вешать, расстреливать и многое стало неважно.

Зимой 1920 года армейский корпус генерала А. Я. Слащева, огрызаясь, медленно отходил из района Екатеринослава (Днепропетровска) в Крым. Командованием Вооруженных сил Юга России перед ним была поставлена задача во что бы то ни стало удержать Северную Таврию и Крым. Это был последний рубеж, и отдать его красным — означало окончательно проиграть войну. Во многом надежды Добровольческой армии были связаны с бронепоездами. Они действительно сыграли немаловажную роль в тот период Гражданской войны.

Слащев понимал, что удерживать Северную Таврию с помощью пехотных войск не представляется возможным. Да и сама тактика плановых боевых столкновений себя не оправдывала. Маневренность, внезапность, быстрота являлись тогда главными принципами ведения войны на Юге России. И в этой ситуации бронепоезда были незаменимы.

К апрелю 1920 года в Крыму были сосредоточены последние

оставшиеся в строю бронепоезда Добровольческой армии, общим числом двенадцать — «Генерал Алексеев», «Севастополец», «Единая Россия», «Офицер», «Георгий Победоносец», «Грозный», «Дмитрий Донской», «Волк», «Иоанн Калита», «Дроздовец», «Солдат» и «Москва».

Все они были сведены в четыре бронепоездных дивизиона. И исколесили южные степи вдоль и поперек, вступая на одних и тех же станциях в сражения с одними и теми же поездами, принадлежащими красным.

Настоящая дуэль красного и белого бронепоездов произошла в июле 1920 года в районе железнодорожного узла Константиновка. Тяжелый бронепоезд армии Врангеля «Иоанн Калита» вышел со станции Бельманка и со средней скоростью пошел на север к позициям красноармейских частей. Лобовое орудие было направлено вдоль пути. У сторожевой будки на перекрестке дорог внезапно разорвалась артиллерийская граната. На бронеплощадки обрушились комья земли, взметенные взрывом в воздух. Команда бронепоезда без всякой наводки немедленно открыла огонь.

Через несколько минут в поле зрения «Калиты» оказался бронепоезд красных. Теперь судьбы команд обоих бронепоездов были в руках артиллеристов, соревновавшихся в точности и скорости стрельбы. «Калита» открыл счет первым, попав в лобовую площадку красных. Вскоре красные серьезно повредили командирскую рубку «Калиты», чем вызвали неописуемую ярость команды и шквальный огонь белых. Большевистский бронепоезд отошел на север, чтобы утром продолжить дуэль.

В шесть утра красные вновь атаковали «Калиту». У белых «ранили» вторую бронеплощадку и серьезно повредили паровоз. Капитан Норенберг, командующий «Калитой», дал приказ отходить на север, прикрываясь заградительным огнем.

«Иоанн Калита» успел немало повидать на своем веку. По меркам гражданки это был долгожитель. Сформированный в начале 1919-го, он уже побывал в руках красных в марте 1920-го в Новороссийске. Вскоре возродившись, буквально восстав из пепла, через месяц он приступил к боевым действиям и не раз выручал команду соседнего бронедивизиона, в число которого входил и бронепоезд, на котором служил Гайто. Рядовой Газданов к тому времени проехал Юг вдоль и поперек. Александровск, Мелитополь, Джанкой… Нет ни одних мемуаров людей, служивших на белых бронепоездах врангелевской армии, которые бы не вспомнили эти названия. Долгое время отзывались они эхом и в памяти Гайто.

«Целый год, — вспоминал он в "Вечере у Клэр", — бронепоезд

ездил по рельсам Таврии и Крыма, как зверь, загнанный облавой и ограниченный кругом охотников. Он менял направления, шел вперед, потом возвращался, затем ехал влево, чтобы через некоторое время опять мчаться назад. На юге перед ним расстилалось море, на севере ему заграждала путь вооруженная Россия. А вокруг вертелись в окнах поля, летом зеленые, зимой белые, но всегда пустынные и враждебные. Бронепоезд побывал всюду и летом он приехал в Севастополь».

Лето принесло короткую передышку и маленькие земные радости городской жизни, от которых успели отвыкнуть бойцы на колесах. Прогулки по набережным, кафе, гастроли артистов… Все это мелькнуло, как сон, и исчезло вместе с летним солнцем. Осенью бронепоезд Гайто опять отправился в путь. Это было последнее наступление белой армии, стремительно превращавшееся в ее агонию.

На белые бронепоезда то и дело нападали буденновцы, многочисленные банды «зеленых», и, казалось, нет уже на свете зверя, который не боялся бы тронуть израненных беглецов.

Нередко Гайто доводилось испытывать чувство страха, но ему удавалось быстро подчинить его рассудку. Гордости по этому поводу он не испытывал. Собственное умение преодолеть страх он объяснял скорее отсутствием в своем характере «способности немедленного реагирования».

«Эта способность, — признавался Гайто в том же романе, — чрезвычайно редко во мне проявлялась — и только тогда, когда то, что я видел, совпадало с моим внутренним состоянием; но преимущественно то были вещи, в известной степени неподвижные и вместе с тем непременно отдаленные от меня; и они не должны были возбуждать во мне никакого личного интереса. Это мог быть медленный полет крупной птицы, или чей-то далекий свист, или неожиданный поворот дороги, за которым открывались тростники и болота, или человеческие глаза ручного медведя, или в темноте летней густой ночи вдруг пробуждающий меня крик неизвестного животного. Но во всех случаях, когда дело касалось моей участи или опасностей, мне угрожавших, заметнее всего становилась моя своеобразная глухота, которая образовывалась вследствие все той же неспособности немедленного душевного отклика на то, что со мной случалось. Она отделяла меня от жизни обычных волнений и энтузиазма, характерных для всякой боевой обстановки, которая вызывает душевное смятение».

Поэтому Гайто не понимал, как может плакать от страха двадцатипятилетний солдат, который во время сильного обстрела ползал по полу, рыдал и кричал: «Ой, Боже, ой, мамочка!» Не

понимал, как мог офицер пулеметной команды, вместо того чтобы командовать, забиться под груду тулупов, лежавших внутри площадки, заткнув пальцами уши.

Он скорее понимал их командира, который не то чтобы демонстрировал чудеса выдержки и самообладания, а скорее испытывал презрение к ежесекундной опасности. Однажды Гайто видел, как командир лежал на крыше площадки, между двумя рядами гаек, которыми были скреплены отдельные части брони. Неприятельский снаряд, с визгом скользнув по железу, сорвал все находящиеся от него слева скрепы. Тот даже не обернулся, лицо его оставалось неподвижным. И Гайто не заметил ни малейшего усилия со стороны командира, чтобы сохранить хладнокровие.

Гайто столкнулся на войне с такими чувствами и поступками людей, которых, наверное, никогда бы не увидел в других условиях. В этом смысле его предчувствия оправдались. За год жизни, проведенной на бронепоезде, его человеческий опыт, как он считал, увеличился вдвое и был сравним с тем, который он приобрел за все предыдущие шестнадцать лет. В этом не было ничего удивительного. Разве в прежние мирные годы привелось бы Гайто наблюдать, как брат в буквальном смысле идет на брата? А между тем на бронепоезде все бойцы знали о жестоком столкновении в Гражданской войне братьев Махровых, один из которых – Петр Семенович, генерал-лейтенант, был начальником штаба Вооруженных сил Юга России (сначала у Деникина, потом у Врангеля); другой — Василий Семенович, полковник, служил в Добровольческой армии сначала в Дроздовской дивизии, затем офицером связи у Врангеля; а третий — Николай Семенович, будучи генерал-майором в царской армии, ушел в 1918 году к красным. И такие примеры не были редкостью.

Все это Гайто осмыслит позже. Разбираться в собственных и чужих душевных порывах на войне было некогда. Служба на бронепоезде стоила бойцам огромного как физического, так и нервного напряжения. Не случайно в довоенных инструкциях к боевому составу, распределяемому на бронеплощадки, предъявлялись особые требования. Офицеров и солдат туда отбирали не менее тщательно, чем матросов. Бронеплощадки промерзали зимой, накалялись летом, сквозняки и духота, задымленный воздух, длительное отсутствие возможности сойти на землю — все это требовало выдержки. И если в мирное время командование, учитывая эти условия, старалось отбирать на бронепоезда самых выносливых, то в суматохе Гражданской войны времени на психологические тонкости не было; все выживали, как умели. Много было людей случайных. Были и такие, кто умудрялся послужить и красным, и белым, перебегая с

одного бронепоезда на другой.

Среди таких перебежчиков поневоле у Гайто появился покрестный брат. С Алексеем Павликом они вместе служили на белом бронепоезде, а потом Алексей попал в плен к буденновцам из 1-й Конной, служил у них. Через некоторое время Гайто столкнулся с Алексеем при неожиданных обстоятельствах.

В октябре 1920-го Гайто было приказано покинуть бронепоезд и отправиться в командировку в Севастополь. Когда Гайто вернулся на узловую станцию Сокологорное, то узнал, что бронепоезда больше нет — его захватили красные. Газданов с оставшимися сослуживцами стал пробиваться обратно к побережью Крыма. Они попали в окружение, выбраться из которого ему помог Алексей Павлик. С ним они поменялись крестами. Уже через неделю Гайто добрался до Феодосии и стал готовиться к эвакуации.

Перед Гайто открывалась новая страница жизни — и где–то в отдалении, в дымке, зародилась не вполне для него объяснимая надежда на встречу с Клэр. Как Татьяна могла снова появиться на его пути там, вдали от родины, он не знал. В любом случае между этой невероятной встречей и им, Гайто Газдановым, лежал турецкий берег, неумолимо надвигавшийся из свинцовых, грязных вод Босфора.

А бронепоезда «Дым» под командованием полковника Рихтера, на котором служил герой «Вечера у Клэр» Николай Соседов, в списках бронепоездов белой армии не значилось. Не было такого бронепоезда, да и быть не могло. Кому бы пришло в голову дать такое название боевой машине? Были «Георгий Победоносец», «Иоанн Калита», «Степной» — наконец. За Красную армию сражались «Пролетарий», «Гром», «Коммунист». Были у врагов и бронепоезда с одинаковыми названиями «Ермак» и «Доброволец». Но «Дым»? Так назвать свой бронепоезд не могли ни белые, ни красные. Да и не название это вовсе. Дым — это то, что осталось в памяти Гайто от страшного года в южных степях.

Осенью 1919 года из Харькова в Синельниково отправились два легких бронепоезда Добровольческой армии – «Дроздовец» под командованием капитана Рипке и «Волк» под командованием полковника Саевского. И на каком из них служил Гайто, не имеет значения, потому что судьба этих бронепоездов сложилась одинаково. Именно так, как об этом рассказывал Николай Соседов в «Вечере у Клэр». Оба скитались по Таврии, подверглись нападению буденновцев. Оба были захвачены красными. Оставшиеся в живых бойцы обоих поездов были эвакуированы в Константинополь, а затем направлены в военный лагерь Галлиполи.

ДОЛИНА РОЗ И СМЕРТИ

О, долина пустынная смерти и роз,
Гадов, шей, сколопендр, скорпионов!
Сколько горя я в лоне твоем перенес,
Не сочтут и десятки Ньютонов.

Из местной галлипольской поэзии

1

Тридцать первого октября 1920 года под командованием Петра Николаевича Врангеля началась эвакуация Добровольческой армии из Феодосии. Сто двадцать шесть судов увозили солдат, офицеров и тех гражданских, которым удалось всеми правдами и неправдами попасть на корабли. Матросы благодарили Бога за то, что море было тихим, небо ясным и потому им удалось без происшествий войти в турецкие воды. Лишь два стареньких судна разбились при входе в Босфор; кто вплавь, кто на лодках добирались до берега. Остальные суда три недели стояли возле Константинополя на карантине.

Шли корабли под французскими и русскими флагами. Французы просили Врангеля опустить Андреевский флаг, но тот ответил: «Пока мы существуем как армия, у нас есть своя честь и свой флаг». Из-за этого строптивого генерала союзники — французы и англичане — вместе с турецкими властями долго обсуждали вопрос о расселении русской армии. Наконец Врангель договорился с французами, и было решено разделить прибывших русских на три лагеря. Донским казакам повезло — им разрешили разместиться поближе к Константинополю. Терцев и кубанцев отправили на остров Лемнос. Моряков загнали в бухту Бизерта, а из оставшихся было решено сформировать 1-й армейский корпус и поселить их в Галлиполи. Командовать военным лагерем в Галлиполи было поручено приплывшему на «Саратове» генералу Александру Павловичу Кутепову. Ему сразу доложили, что турки называют это место «долиной роз и смерти».

Вокруг галлипольской полуразрушенной крепости было много мелких речушек, а вдоль их берегов цвели роскошные розовые кусты. Но приближаться к этим благоухающим зарослям было опасно: они кишели ядовитыми змеями.

В первый раз Кутепов решил самостоятельно, без помощников, лишь с проводником осмотреть место будущего военного лагеря. Он взобрался на лошадь, выданную ему союзниками, молча кивнул головой проводнику-турку и медленно двинулся в путь. «Сегодня уже двадцать второе — конец ноября». Тяжелый ком сдавливал грудь генерала, дышал он медленно, в такт неторопливому шагу лошади. Когда Кутепов наконец добрался до долины и стал пристально ее разглядывать, он понял, что самые мрачные предчувствия его оправдались. Две небольшие турецкие фермы, разрушенные стены крепости и удушающе сладкий запах роз. «И это все?» — вырвалось у русского генерала. В это гиблое место ему предстоит везти своих офицеров и солдат, измученных тифом, голодом, горечью поражений… Кутепов слез с лошади и присел, разглядывая у себя под ногами серые камни, осыпавшиеся из разрушенной крепостной стены, потом, расположив несколько камней в строгом геометрическом порядке, резко встал, выпрямив спину. Решение было принято: единственный способ спасти физический и боевой дух русской армии — это устроить настоящий боевой лагерь, со строжайшей дисциплиной и налаженной системой военного и обучения.

Предчувствуя опасность, исходившую от деморализованного войска, Кутепов понял, что первым приказом, который он отдаст местному офицерскому командованию, будет приказ о всеобщей занятости каждого жителя лагеря. Никто не должен болтаться без дела, иначе собранные из разных частей и родов войск русские воины превратятся в сброд пьянствующих и нищенствующих бродяг. Солдаты с бронепоезда, где служил Гайто, были записаны в галлиполийские остатки. Так рядовой Гайто Газданов попал в один из самых дисциплинированных и строгих лагерей, несколько лет окружавших кольцом Константинополь.

2

«И это все?» — вырвалось у рядового Газданова, когда он получил от союзников палатку, кирку, лопату и треть фунта хлеба. После мучительного плавания на корабле он, как и многие

солдаты, ожидал покоя, необходимого достатка и тепла. И вот теперь в который раз Гайто вспомнил слова генерала Врангеля при прощании с кораблями в Феодосии: «Мы идем на новые страдания и лишения в полную неизвестность!» Город в это время уже занимали большевики. Врангель последний раз подъехал на катере к берегу, кто-то в него выстрелил, но, к счастью, не попал. После этого генерал отправился прощаться с крейсером «Генерал Корнилов», потом — в Ялту, организовывать дальнейшую отправку. А обреченные на «новые страдания» изгнанники отправились в плавание.

Запасы пресной воды и еды исчезали стремительно, так что к концу пути на судне среди рядовых и младших офицеров начался голод. Пайку, которую выдавали на несколько человек, разделить на равные части было невозможно, поэтому быстро стали применять принцип распределения продуктов, названный «кому?». Его принесли с собой солдаты, участвовавшие в германской войне: один режет хлеб и тычет пальцем «кому?», а второй, отвернувшись, называет фамилию. Но вскоре пайки стали так малы, что делить уже было почти нечего. Однако среди штабных и пристроившихся к ним штатских продукты распределялись в достаточном количестве. Однажды дежуривший по бригаде офицер зашел в штабную каюту, чтобы обратить внимание ее обитателей на существующий порядок раздачи еды, а в ответ услышал: «Никто не просил стольких грузиться, лучше бы оставались в Совдепии, а недовольных можно и за борт». У офицера, изнуренного голодом и морской качкой, не было сил протестовать, и он просто тайком раздал Гайто и его товарищам по горстке муки, из которой они испекли на трубе паровой лебедки несколько пресных лепешек. Все решили терпеливо ждать берега.

По прибытии в Константинополь их судно около недели стояло в городском порту не разгружаясь. «Карантин», — пояснил капитан. За это время пассажиры совсем отощали от голода и жажды. К кораблю постоянно подплывали турецкие лодки с продовольствием, но денег почти ни у кого не было. Хитрые турки привязывали корзину к веревкам, спущенным с палубы, и предлагали положить туда ценные вещи. Кто-то не выдерживал и отдавал последние часы, обручальные кольца или именные портсигары в обмен на несколько персиков, горсть орехов и кусок халвы. Опершись на перила и разглядывая аппетитные хлебцы, которые накладывал турок в очередную корзинку, Гайто в задумчивости достал из кармана любимые часы — подарок бабушки, на которых была выгравирована надпись «Не теряйте меня, пожалуйста. Кисловодск, 15 мая 1916 года». Мутная

портовая вода расплылась перед глазами, и ему чрезвычайно ясно представились сухие бабушкины руки, держащие холодный круглый предмет.

«Эту надпись велела сделать моя бабушка после того, как я потерял другие часы, подаренные мне месяцем раньше в день моих именин. Надпись имела еще и другой смысл — так как незадолго до этого я, обидевшись на то, что меня не взяли на охоту, потом не повезли в гости к одной родственнице, только что приехавшей из-за границы — решил уйти из дома и, действительно, провел двое суток, гуляя по парку и ночуя в лесу. Родные мои подняли на ноги полицию, искали меня повсюду и, наконец, поймали в ресторане, куда я пришел обедать на последние деньги и где меня выдал мой белый костюм, необычайно испачкавшийся от лежания на траве и земле. Меня привели домой, и через два дня после этого я получил в подарок часы, причем бабушка, передавая их мне, сказала:

– Пойди, пожалуйста, покажи их твоей матери. Пусть она тоже прочтет эту надпись.

Мать прочла ее и, улыбнувшись только одними глазами, объяснила мне:

– Вот ты и стал сокровищем, которое нельзя терять. Эта надпись значит: ты не должен терять часы, а я не должна терять тебя» (роман «Алексей Шувалов»).

С тех пор Гайто никогда не снимал часы с руки, что спасло их от участи всех остальных вещей, украденных во время плавания. Расставшись с бабушкой и матерью на неведомый срок, он ясно осознал, что часы — отныне единственная вещь, которая связывает его с ними. Мысленно поклявшись никогда больше не думать об их продаже, Гайто засунул руку поглубже в карман и отошел подальше от бортика — то ли от голода, то ли от мучительной тоски по дому он почувствовал тягостное головокружение и побоялся свалиться в воду. В который раз он бродил по верхним и нижним палубам, проталкиваясь среди тюков, чемоданов и стараясь не прислушиваться к доносившимся разговорам. Чего только не наслушался он и не насмотрелся за время плавания…

Однажды, проходя мимо угольной ямы, Гайто услышал слабый стон. С трудом разглядев в темноте очертания женской фигуры, побежал искать корабельных офицеров, которые помогли бы вытащить несчастную. Но тут появился матрос и убедил Гайто не поднимать шума. Оказалось, там, внизу, прямо на угле металась в бреду сестра милосердия. Муж, военный врач, тайком спустил туда тифозную жену. Он опасался, что при страшных сквозняках, которые гуляли на корабле, больная подхватит еще и

простуду и уже не выживет. Единственное защищенное от ветра место было в глухой угольной яме, где ей и соорудили временный настил. Консилиум из врачей, находившихся на корабле, давно решил, что положение женщины безнадежно, а потому не стоит мучить ее лечением. Но муж не терял надежды и готов был идти на немыслимые ухищрения, лишь бы ее спасти.

Слушая рассказ матроса, Гайто подумал о том, что в поведении доктора отразилось не только горячее чувство, но и опыт прошедшего войну человека. Городской врач, практиковавший в приличных домах и не знавший страшных условий полевых госпиталей, вряд ли решился бы поместить умирающую женщину в такие антисанитарные условия. Но военные врачи, прошедшие с Добровольческой армией половину России, уже давно привыкли жертвовать меньшим во имя большего. Ради спасения жизни они допускали многое, о чем не смогли бы и помыслить, будучи свежеиспеченными выпускниками столичных медицинских факультетов.

«Все правильно. — Гайто мысленно соглашался с врачом. — Порою сквозняки бывают страшнее тифа». Он вспомнил, как недавно, стоя в многочасовой очереди в уборную (они плыли на грузовом танкере, и корабль не был приспособлен к такому количеству пассажиров), услышал рассказ офицера, в поисках родных приплывшего на катере с соседнего «Саратова»:

«Наш пароход был переполнен — генерал Кутепов старался взять всех кого можно. Наверху еще были места, где можно сесть. Но уж больно там холодно, ветер, льет дождь. Внизу же люди буквально стояли, прижавшись друг к другу. Пароход торговый, сами понимаете, уборных на всех не хватает. Командование подвязало к бортам бревна для этой цели. Я встал в очередь в уборную. Вдруг человек передо мной вскрикнул. В темноте я не понял, что случилось. Раздались крики: "Человек упал за борт!" — "Где? Куда?" — "Да вот, в уборной! С бревна сорвался".

– Что-то не видать! — говорит мне сосед передо мной.

– Да темно… видно, камнем пошел ко дну…

– И то возможно… Сдуло… Сквозняки, знаете ли…

– В мирное время, — откликнулись в очереди, — тотчас остановили бы пароход, спустили лодку… а теперь?

– А теперь человек ничего не стоит… до чего дошло!»

На секунду Гайто всем существом ощутил ужас человека, когда тот сорвался с бревна. «Сквозняки… Доктор прав — надо опасаться сквозняков».

На самом деле семнадцатилетний юноша никогда не боялся простуды: ни тогда, когда прятался от вражеских пуль в осенних крымских болотах, ни тогда, когда трясся в трюме старого судна,

ни сейчас, когда под проливным дождем их роте было приказано самостоятельно соорудить себе ночлег и место для полевой кухни на галлиполийской земле. Если бы не физическая выносливость, которую он воспитал в себе с детства, изнуряя себя гимнастикой и обливаясь до одури холодной водой, вряд ли стоял бы он здесь, с лопатой и дожевывая остатки хлеба. В лучшем случае валялся бы в подводе, где сейчас громко бредит раненый. Как и многих других больных, его сгрузили с парохода «Петр Регир», который сначала из-за изношенности собирались пустить на слом, но в последний момент отдали под погрузку госпиталей. Ведь больных было много и, кроме того, среди них немало тифозных, требовавших изоляции.

Офицер был еще в сознании, когда товарищ сообщил ему, что в момент погрузки видел на одном из судов его сестру и мать. В этом не было ничего удивительного — большинство семей эвакуировались из Феодосии и Ялты на разных судах, даже не зная о судьбе друг друга, а потом, случайно услышав родные фамилии, бросались на поиски близких в константинопольском порту. Вот и этот офицер в приступах бреда повторял названия судов, гадая, на каком из них могут быть мать и сестра. «"Херсон"? На "Херсоне" ты их видел? Нет, не на "Херсоне"? А на каком? На "Саратове"?» — прерывисто вскрикивал бедняга, обращаясь к товарищу, который уже несколько дней как обустраивал новый лагерь на Лемносе. «А может, они на "Екатеринодар" попали? Там, сказывали, много штатских взяли… Нет, не знаешь? Ну, тогда на "Крым", может, погрузились… Что же, ты, Алешка, не выспросил как следует у коменданта, списки видел, фамилии их видел, а название судна не разглядел… Как же мне их искать-то теперь…» Высказав упреки не слышавшему его товарищу, раненый затих, совсем обессилев и свесив руки.

Не без содрогания Гайто отвернулся. С тех пор как к и эшелону, стоявшему в Новороссийске в ожидании отправки в Феодосию, каждое утро подъезжала госпитальная подвода в которую, словно дрова, сбрасывали трупы умерших за ночь, с тех самых тревожных дней Гайто не мог смотреть без ужаса на эти подводы. «Это у меня семейное, — успокаивал юноша сам себя. — Все, что хоть немного напоминало отцу о смерти, оставалось для него враждебным и непонятным, я и кладбищ с памятниками, как он, не люблю, и колокольный звон…»

Вот и сейчас вид подводы вызывал у Гайто чувство обреченности, словно она была существом вроде старухи с косой, которая сама выбирает свою жертву, целя в любого приглянувшегося. И только благодаря капризу этой старухи он стоит сейчас над бредящим офицером, а не лежит рядом с ним.

Не осознавать свою зависимость от этого каприза он не мог, но и подчиниться ему не хотел. Там, в Галлиполи, зарождалась история его противостояния — противостояния смерти.

2

«Стоит ли рассказывать о Галлиполи? О нем столько уже сказано и написано. Галлиполи — это год сидения и год ожидания, год последних надежд.

Галлиполи — это Инжир-Паша — Кутепов — и его чудо: превращение голодных, обовшивевших, деморализованных, готовых стать опасной вольницей людей в дисциплинированную, связанную монолитную группу.

Галлиполи — это Штейфон с его "губой" и "опричниками" — константиновцами, сергиевцами и другими юнкерами.

Галлиполи — это год жизни впроголодь.

Галлиполи — это "Американский дядя", майор Дэвидсон, дарivший нам белье и полотенца с пометкой большими буквами: USA MD USA "УЗАМДУЗИ". Все немедленно продавалось грекам и туркам ради хлеба, кусочка халвы, пачки табаку.

Галлиполи — это выдача ЛИРЫ [3]! Праздник в городе и в лагере. Можно хоть раз поесть вдосталь хлеба, халвы, выпить бутылку чудесного самосского вина.

Галлиполи — это рисунки, карикатуры, незлобная насмешка над своей судьбой, добродушная ирония по отношению к себе самому.

Галлиполи — это черный крестик с белой каемкой и надписью "Галлиполи" во всю ширину его, и вверху: "1920", а внизу "1921"».

Так вспоминал о галлиполийском житье автор мемуарной повести «Забытые» Владимир Душкин. Так, или почти так, вспоминали о нем многие офицеры, прошедшие через сидение в «долине роз и смерти» и после добравшиеся до Европы или Америки.

Однако сам Гайто Газданов вспоминать о галлиполийском житье не любил. Одной из главных причин его уныния в лагере был тот строжайший порядок, который ставили в заслугу Кутепову и который действительно спас жизнь многим, но что так не любил юный Гайто.

Поддержание дисциплины, необходимой во время боевых действий, в мирной жизни превращалось для Гайто в

бессмысленную муштру. Строгое подчинение командиру на войне определяло согласованность действий и успех операций, а в лагерном обиходе вырождалось в грустный анекдот.

Неподалеку от палатки Гайто стояла палатка двенадцати стариков-полковников, которых в лагере называли «наши двенадцать апостолов». Всем было известно, что Кутепов, опасаясь деморализации, приказал ни одного человека без дела не оставлять, и каждый день раздавались наряды на работы, караулы, учения. Для земляных работ и строевых занятий «апостолы» не годились, и вот им нашли применение: в полдень, когда выходил новый наряд на развод караулов, они командовали разводом. Бывало, встретится наряд: кавалерия, пехота, справа гвардия — в конце показывалась фигура очередного полковника. Один из них вывез саблю, и они по очереди ее носили, причем портупею не перетягивали по росту, так что рослому шашка подходила, а низкорослому — нет; она волочилась по земле, как в лермонтовские времена. Каждый из «апостолов» отправлялся на службу с выражением значительности на лице, что казалось Гайто то забавным, то нелепым.

Не было у нашего юного героя уважения к формальным строгостям службы. Ничего, кроме недоумения, у него, потерявшего, как и сотни тысяч соотечественников, все свое имущество, не могло вызвать и то сообщение, что караульные офицеры, съевшие банку варенья у полковника Гриневича, находятся теперь под следствием. Приказом коменданта лагеря Манштейна было начато служебное расследование. Поступок полуголодных караульных напоминал Гайто скорее шалость из его детства, а не служебное преступление. И вот теперь их таскают на допросы и заставляют, как гимназистов, признаваться, кто был зачинщиком.

А между тем никому вокруг не было дела до откровенного уголовного мошенничества. Не поднимали шума, когда подпоручик Николаев продал свой оловянный портсигар, сделанный из кусочков шрапнели, в качестве серебряного! Никто не возмущался офицером Любченко, который часами подделывал двухдрахмовые греческие ассигнации. Своего товарища, который преуспел в рисовании, Любченко заставлял часами вырисовывать бюст Перикла: всем известную голову со «слепыми» глазами и в шлеме. Затем «кредитка» вымачивалась в крепком чае, что придавало ей нужный оттенок, после чего безжалостно мялась и грязнилась, чтобы походить на настоящую. Гайто, покинувший галлиполийский лагерь раньше остальных, не узнал, что почти до отъезда русских войск никто мошенничества Любченко так и не заметил. Кто-то рассказал эту историю грекам, и реакция

оказалась неожиданной: греческие коммерсанты начали искать повсюду «банкировы» драхмы, которые стали знаменитыми, как диковинка, за них платили больше «номинала». Да и на что было грекам особо обижаться: ведь год пребывания русских на этой земле нежданно-негаданно их обогатил. Солдаты и офицеры оставили у них все ценное, что привезли из России, и все ценное, что получили от союзников. А за две драхмы можно было купить всего лишь буханку хлеба.

Конечно, помимо нарядов, учений и поисков пропитания была в лагере и другая жизнь. Выступали с устной газетой, а вскоре появился и иллюстрированный журнал «Развей горе в голом поле». Общими усилиями офицеры создали неплохую библиотеку. Ее посещение скрадывало постоянное уныние, в котором пребывал Гайто. Иногда проводились футбольные матчи, к чему Гайто пристрастился еще в харьковской гимназии. Довольно быстро наладилась почта. Письма приходили даже из Харбина, где осело немало русских эмигрантов. Но из Харбина Гайто ничего не ждал, а вот из Харькова и с Кавказа вестей не было. Вообще же новости из России приходили разноречивые и часто походили на слухи. Постоянно распространялись сообщения, что большевистский режим вот-вот рухнет, возвращение на родину не за горами, а потому всем следует оставаться при исполнении своих обязанностей и в полной боевой готовности.

Так в середине декабря 1920 года стала известна штабная сводка от 22 ноября: русские политические партии из Парижа, Лондона, Ниццы поддерживают генерала Врангеля, восхищаются мужеством Добровольческой армии и считают борьбу за Россию не законченной, а лишь временно прерванной. В армии таким образом старались поддерживать боевой дух, который падал с каждым днем, несмотря на все усилия командования.

С этой же целью в лагере был устроен театр. Располагался он прямо под открытым небом. Сцена была оборудована довольно сносно: хорошие декорации, тяжелый занавес. Уложенные рядами каменные кубы играли роль кресел. «Зал» был устроен между одной высокой стеной слева, отделяющей театр от улицы, и второй глухой стеной справа, ограждающей с внешней стороны развалины дворца. Ставили «Ревизора» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова, а также пьесы Чехова, Островского, Стриндберга.

Изредка во время спектакля доносились пение и крики из публичного дома, стоявшего на той же улице, но слушатели к этому быстро привыкли и уже не обращали на иноязычное многоголосье никакого внимания. В лагерном театре давались и благотворительные концерты; пели Плевицкая, Браминов,

Новский. Гайто никогда не покупал билетов. Во-первых, у него не было денег (те, что изредка появлялись, он сразу проедал), а во-вторых, этого и не требовалось: выступление можно было увидеть, не заходя в зал. Между глухой стеной и развалинами дворца была площадка. Сидя там на камнях, Гайто видел всю сцену и слышал каждое слово. Быть может, это были лучшие моменты его жизни в Галлиполи. Однако и им суждено было вскоре закончиться.

4

— Не понимаю, чего все ждали от наших покровителей, должно быть, думали, что стоит только переехать границу, как жареные голуби будут сами влетать в рот. Большинство совершенно безосновательно ожидали от этого «путешествия поневоле» чего-то хорошего, приятного. Лично я не ожидал ничего хорошего, и потому существующий порядок вещей меня нисколько не возмущает, он вполне естественный, — говорил, сидя у костра, собеседник Гайто, пожилой офицер, сослуживец его отца, с которым они встретились случайно во время утреннего развода.

Как-то проходя мимо разводящего, выкрикнувшего фамилию «Газданов», тот остановился и посмотрел на юношу, шагнувшего вперед. Узнав сына своего товарища, старый служака взял его под опеку и проводил с ним успокоительные беседы, когда Гайто возмущался порядком лагерной жизни. Неторопливо помешивая угли, старик пытался пробудить в юноше здоровый скептицизм по отношению к окружающей обстановке, ограждающий от уныния. В этот момент Гайто заметил, что к соседнему костру примчались «апостолы» и сунули сразу несколько котелков.

– Послушайте, Петр Николаевич, куда же вы толкаете мой котелок? Это ж нахальство!

– Он говорит «нахальство»… Молокосос, вы знаете, что я старшинства девятьсот седьмого года.

– Ну, так знайте, что я девятьсот четвертого! Имею крест за Ляоян!

Ну, господа, — вмешался третий, — если уж пошло на это, то вот видите эту руку… — протянул он руку к костру, – ее пожимал сам Михаил Дмитриевич…

Молчание в ответ…

– Михаил Дмитриевич Скобелев, — добавил третий. И тогда котелки почтительно уступили место.

Гайто почти с завистью посмотрел на офицеров, для которых фигура полководца Скобелева являлась подлинным авторитетом. Вспомнил он и своего деда — участника Русско-турецкой кампании, которую тот прошел под командованием Скобелева. Для самого Гайто годы революции и Гражданской войны сплели все авторитеты в один клубок безвозвратно ушедшей жизни, и он уже не мог полагаться с полной уверенностью на мнение ни одного из окружавших его людей.

Вот и сейчас, когда в лагерь приехал Врангель, многие офицеры встретили его с искренним воодушевлением, однако в душе добровольца Газданова выступление генерала не вызвало ни малейшего отклика.

Войска выстроились на площадке. Врангель поздоровался с воинами и быстрым шагом обошел ряды. Старичок адмирал с трудом поспевал за ним. Генерал говорил, что сегодня впервые после крымских берегов ему удается поговорить с солдатами. Уже по пути сюда на пароходе французское командование уведомило его по радио, что Добровольческие войска не будут считаться беженцами, как прежде предполагалось, а остаются армией.

– Во главе армии буду по-прежнему стоять я, — твердо произнес Врангель, — и я буду являться вашим ходатаем перед французским командованием о ваших нуждах. Я приму все меры и потребую, чтобы наше положение было улучшено. Мы имеем право не просить, а требовать, потому что то дело, которое мы делали, было общее дело и имело мировое значение. Мы выполнили свой долг до конца, и не мы виноваты в исходе этой борьбы. Виновен весь мир, который смотрел на нас и не помог нам.

Но Гайто уже не хотелось ни просить, ни требовать. Ему хотелось жить свободно и выбирать свой путь самому, как тогда, в детстве, когда они с отцом мечтали отправиться в путешествие на корабле и составляли самые невероятные маршруты.

– Маму мы с собой не возьмем, — среди резких и четких слов генерала доносило эхо голос отца. — Она боится моря и будет только расстраивать храбрых путешественников.

– Пусть мама останется дома, — вторил его детский голос.

– Итак, мы, значит, плывем с тобой в Индийском океане. Вдруг начинается шторм. Ты капитан, к тебе все обращаются, спрашивают, что делать. Ты спокойно отдаешь команду. Какую?

– Спустить шлюпки!

– Ну, рано еще спускать шлюпки. Ты говоришь: закрепите паруса и ничего не бойтесь.

– И они крепят паруса. — Его детский голос уже звенел.

– Да, сынок, они крепят паруса, — устало вторил отец.

Продолжением этого путешествия стал его отъезд на бронепоезде. Он *сам* решил уйти в белую армию. Потом, в Новороссийске, когда Врангель объявил, что каждый волен решать: плыть ему за границу или жить с большевиками в России, он *сам* решил отправиться в Константинополь. Но здесь, в Галлиполи, выбирать было не из чего и никто от него никаких решений не ждал. Все решалось где-то наверху, а главное, — страшно долго. Дни тянулись бесконечно, и в этой дымке, сотканной из ожидания, тоски и уныния, все ясней и ясней проступали черты будущей жизни — прозрачной, радостной, легкой… Надо было только сделать усилие, и, казалось, все изменится… Но каким должно быть это усилие, Гайто не знал. Он уже ничего не боялся, но он не мог больше «крепить паруса», он был готов «спускать шлюпки». Открыв блокнот, который в первые же дни выпросил у штабного офицера, чтобы время от времени вносить туда необходимые записи, Гайто медленно вывел:

«Тяжелое, братья, солнце над Дарданеллами. Вот я сплю и вижу во сне Галлиполи, плевки белой пены на гальку и длинный черно-желтый берег. Там, в этой голой стране, где голодают оборванные дикари, где пашут на ослах и коровах, где грязь — вязкая, как оскорбления, и тягучая, как передовые статьи газет, — мы жили лагерем побежденных солдат. Мы были побеждены: революцией и жизнью.

С берега мы глядели на величественные контуры трансатлантических пароходов, везущих разбогатевших буржуа из Стамбула в Европу и дальше в Нью-Йорк. Мы бросались в море, но вода не принимала нас. Мы голодали. Однажды я проглотил кусок терпкой галлиполийской глины: и вот до сих пор этот комок, прорастающий в моем сердце, давит на меня грузом желтого отчаяния голода и тяжелой памятью о земле, где я должен жить» («Повесть о трех неудачах»).

Торжественность слога ничуть не смущала Гайто. Он был уверен: придет час — записи эти будут обнародованы и читатели проникнутся значительностью описываемых картин и настроений.

5

После извещения Врангеля о том, что Добровольческая армия официально признана армией, генерал Кутепов стремился резко повысить боевую подготовку войск. С этой целью было принято решение продолжать обучение молодого состава военному

ремеслу. Начали формироваться военные училища и офицерские школы. Всего в Галлиполи было создано шесть школ и четырнадцать училищ, в одно из них и был направлен Гайто. Он же совсем не желал получать профессию военного и продолжать карьеру по этой части. За дерзость и неподчинение вышестоящему начальству его чуть не отдали под суд, но товарищ его отца предупредил Гайто о тех неприятностях, которые ему грозят, и помог ему тайком, за взятку в размере дневного пайка, удрать на катере в Константинополь. «Там столько беженцев, среди них затеряешься, никто тебя искать не станет. Может, и своих кого встретишь», — напутствовал он Гайто. Потом перекрестил его и долго стоял на берегу — до тех пор, пока катер с мальчишкой не скрылся из виду.

Гайто было приятно, что его проводили крестным знамением. Он вспомнил, как перед отправкой на войну стоял перед матерью и та перекрестила его.

Руки ее дрожали, и так же тревожно вздрагивали ресницы. Хотя сам он креститься не любил, на службу в церковь почти не ходил, вторя отцу, недолюбливавшему священников. Правда, одного священника — своего первого законоучителя — Гайто запомнил на всю жизнь. Этот академик и философ казался ему человеком замечательным.

«Он не был педантом, — вспоминал о нем Гайто. — В пятом классе, когда я подолгу расспрашивал его об атеистическом смысле "Великого инквизитора" и о "Жизни Иисуса" Ренана, — тогда я читал "Братьев Карамазовых" и Ренана, а курса не учил и не знал ни катехизиса, ни истории Церкви, и он целый год не вызывал меня к ответу, — в последней четверти, однажды, поманив меня к себе пальцем, он тихо сказал: "Ты думаешь… я не имею никакого представления о твоих познаниях в катехизисе? Я, миленький, все знаю. Но я все-таки ставлю тебе пять, потому что ты хоть немного религией интересуешься"» («Вечер у Клэр»).

Несколько лет спустя его убили где-то на юге России во время Гражданской. Гайто на всю жизнь запомнил, как во время проповеди у него на глазах блестели слезы. Но отношение к этому добрейшему и умному человеку не могло изменить отношения Гайто к духовенству в целом, потому что еще раньше было в его жизни лицо отца, который перед смертью, задыхаясь, сказал: «Только, пожалуйста, хороните меня без попов и без церковных церемоний».

Но отца все-таки отпевал священник, и звонили колокола, которых он так не любил. На этом настояла мать, и маленький Гайтошка не сомневался в том, что она была права, так же как были правы ее руки, несколько лет спустя коснувшиеся на

прощанье его лба, груди и плеч. Он знал, что он не один такой; их было много, мальчиков, отправившихся на войну с напутствием отцов, в котором не было ни слова о Боге, но много о чести, и с горячим благословением отчаянно верующих матерей.

«Когда я уходил в Добровольческую армию, отец меня напутствовал так: "Ты идешь в армию драться за существующее. Сохранение существующего и есть основные долг и честь армии. Дело революционеров — разрушение существующего. Страна, принимающая разрушителей без сопротивления, — грош ей цена. Подняв оружие в защиту попираемого принципа "Россия", ты уже этим самым жестом доказываешь, что Россия жива. Я не знаю, кто из вас будет победителем. История привыкла к тому, что им оказывается разрушитель. Будем надеяться, что вы одно из редких исключений. Помни: ваше дело — дело чести. И еще: для тебя напоминаю. Есть два сорта людей, два мировоззрения, два полюса: сильные и слабые. Оружие сильных и, увы, их слабость – честь, прямота, великодушие и милосердие. Оружие слабых — и их сила — изворотливость, хитрость, вероломство, лицемерие. Я тебя готовил к мироощущению сильных. Старайся им быть. И еще одно: помни, всегда помни – лежачих не бьют. Неписаный закон "лежачего не бить"– не есть ли это первый "человечный" закон? Прощай, мой сын".

Напутствие матери было кратким: "Будь чист телом и душой, помни, что можешь в любой момент предстать пред Господом. Мерилом чистоты будет твоя совесть. Через нее не перешагивай". Вот. Мать дала мне эту иконку. Я ее всегда ношу в этом кармане, поближе к сердцу. Тело она мне уже спасла. Это — Святой Николай Чудотворец».

У Гайто стоял ком в горле, когда он слушал этот рассказ своего соседа по палатке. Он понимал его, каждое слово понимал, слышал торжественные нотки в голосе отца, неторопливые интонации матери… Володя уходил в Добровольческую армию из Киева, а гимназию заканчивал в Харькове, как и Гайто, только тремя годами раньше. Гайто живо смог представить и сдержанного Володиного отца, и печальную мать. У Гайто благодаря быстрому воображению рано развилась способность совершенно ясно понимать рассказчика, достоверно переживать переданные ему собеседником ощущения. Но теперь ему даже не нужно было прилагать особых усилий, чтобы прочувствовать все, о чем тихо нашептывал ему Володя в палатке. Чистота и прямота человеческих отношений, которые с детства помнил Гайто в своем доме и которые носил в своей душе Володя, искренние и благородные людские связи казались почти потерянными среди кровавых событий последних лет. И не было теперь вокруг этих

двух юношей ничего безусловного и настоящего, сравнимого с тем, что оставили они дома.

Глядя с катера вниз на убегающие волны, Гайто усмехнулся при воспоминании о недавнем посещении их лагеря епископом Вениамином. Епископ приехал в Галлиполи за неделю до приезда Врангеля для поднятия боевого духа. После торжественной службы в начале проповеди он сказал о том, что каждая молитва должна начинаться со слов: «Слава тебе, Господи». Вот и сегодня, продолжал он, служба началась с этих слов, а это может показаться странным, тем более что положение войск и ниспосланные Богом страдания таковы, что вам, казалось бы, не за что славословить Бога. Дальше епископ привел примеры из Жития святых и указал на жизнь и страдания благочестивых людей, у которых было немощное тело и великий дух. Увещевал солдат не роптать, а приободриться и подтянуться. Если они будут сильны духом и производить хорошее впечатление, то французы будут считаться с русскими и скорее состоится признание их как армии. Закончил он проповедь обещанием того, что история обессмертит их имена.

Бессмертие, за что? — спрашивал себя Гайто. За вши, голод и скуку? Нужно ли оно, такое бессмертие? Нет, подальше, подальше от таких «подвигов»! Терпение казалось ему наименее привлекательным из всех испытаний, требующих мужества.

«Тяжелое, братья, солнце над Дарданеллами. Перед бегством оттуда я пошел посмотреть на кладбище тех, кого судьба послала из России на бледный берег Галлиполи для утучнения чужой земли. И вот я вошел и увидел, что могилы стоят в затылок и рядами — как строй солдат, как рота мертвецов; без команды и без поворота. Они умерли по номерам и по порядку: к Страшному суду они пойдут привычным строем, и кара их будет легка, как служба часового», — продолжал Гайто в своем блокноте уже неровными, прыгающими буквами. И катер уносил все дальше и дальше от скучной бухты юношу, мечтавшего о поступках исключительных, героических, благородных и необыкновенных, которым до сих пор не нашлось места в его семнадцатилетней жизни…

А русские галлиполийцы обессмертили себя сами, оставив на территории крепости памятник. Приказом командования каждый должен был принести на русское кладбище по одному камню в память о всех погибших и выживших на этой земле. В результате получился огромный монумент — гора, сложенная из тысяч камней, похожих на склоненные друг к другу русские головы. Ее не разрушили ни морской ветер, ни жгучее турецкое солнце, ни пронизывающие зимние ливни, но через несколько лет каменные

головы рассыпались от ударов страшного землетрясения, и галлиполийцы, перебравшиеся в Париж, воздвигли точно такой же памятник на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.

Пятнадцатого ноября 1921 года, в день годовщины основания русского лагеря в Галлиполи, генерал Врангель учредил памятный знак: черный крест с белой каймой. На кресте стояли даты: 1920—1921 и названия частей в соответствии с местом расположения: Галлиполи, Лемнос, Бизерта. Врангель поблагодарил солдат за службу и добавил: «С Божьей помощью вы свободны, кто способен добывать средства к жизни, может идти куда угодно».

Восемнадцатого декабря 1921 года из Галлиполи уходил последний русский эшелон, с которым уезжал и генерал Кутепов.

Перед этим утром состоялся парад, после которого генерал обратился к стоявшим в строю: «Вы целый год несли на себе крест, теперь носите крест на груди в воспоминание пережитого». Стоя на корме парохода, Кутепов посмотрел на уходящий город и сказал офицерам: «Закрылась история Галлиполи. И, могу сказать, закрылась с честью».

У Гайто памятного креста не было, потому что история его галлиполийской жизни закрылась раньше: к тому времени он уже полгода как наслаждался и мучился константинопольской свободой.

НА ОСТРОВЕ

Я всегда был готов к переменам, хотя бы перемен и не предвиделось; и мне заранее становилось немного жаль покидать тот круг товарищей и знакомых, к которому я успевал привыкнуть.

Гайто Газданов. Вечер у Клэр

1

Итак, наш герой от лагерной муштры сбежал в Константинополь. У него не было ни четкого плана действий, ни конкретной цели, которая потребовала бы выработать такой план, у него было только пьянящее предчувствие путешествий, новых встреч, приключений, которые обычно будоражат воображение семнадцатилетнего юноши. И первые впечатления, как только нога Гайто вступила на константинопольскую мостовую, подтвердили ожидания: «Я в *Городе* !» В городе огромном, шумном, пестром, восточном и западном, странном, не похожем на тихие южные российские города, на строгую Северную столицу. Знал ли прежде Гайто такой город? Точно не знал. Да и кто мог бы тогда сказать, что знает его — Царьград, Константинополь, Стамбул? Кто мог бы утверждать, что знает подлинное лицо этого огромного мирового котла, где варились турки, греки, русские, англичане, французы, американцы, итальянцы? У каждого была своя история, у каждого было свое ощущение времени в этом городе.

В то время когда сотни тысяч русских заполонили узкие улицы древней столицы, город переживал не самые лучшие времена: турки потерпели поражение в Первой мировой, и потому в нем хозяйничал кто угодно, но не сами хозяева.

«Мы попали в Царьград в один из самых необычайных моментов в его длинной и трагической истории, полной разительных контрастов. Он все еще был столицей, но уже исчезнувшей империи; султан продолжал жить во дворце, его министры занимали свои посты, но ни он, ни они уже больше никем не управляли. Власть принадлежала союзникам, их патрули обходили побежденный город, их флаги победоносно развевались над главными зданиями. Никто не знал, что ожидает Царьград, будет ли он возвращен туркам, станет ли он вольным

городом или столицей возрожденной эллинской империи. Но пока кто-то и где-то занимался его судьбой, сам город продолжал жить своей кипучей жизнью.

Мы успели застать последние следы его вековой славы столицы Оттоманской империи. Временная оккупация союзниками предала ему особый, хотя и обманчивый, блеск, а присутствие русских изгнанников подчеркивало превратность судьбы народов — то победителей, то побежденных.

Сам город разделялся на несколько резко отличающихся частей. Его сердце было в Стамбуле, заселенном преимущественно турками и почти еще не затронутом европейской цивилизацией. Стамбул был сказочный город. Он был застроен высокими деревянными домами с резными решетками на окнах, закрывавшими от нескромных взглядов его женских обительниц. Его узкие улицы следовали прихотливому узору, то упираясь в тупики, то неожиданно оканчиваясь у входа в мечети. Его гордостью и украшением были эти величественные здания, с огромными куполами и высокими минаретами. Их окружали просторные дворы с фонтанами посередине и скрытыми галереями. В них царили молитвенная тишина и отрешенность от суеты и забот мира. Молчаливые фигуры турок сидели и лежали под их аркадами, наслаждаясь прохладой их сводов. Даже знаменитые крытые базары не нарушали спокойствия города. В их полумраке тонул шум толпы, острые запахи пряностей и восточных ароматов уносили в далекое прошлое, в нишах стен и в глубине своих лавок виднелись молчаливые торговцы, курившие кальян и изредка обменивавшиеся замечаниями со своими посетителями. Стамбул никуда не спешил, над ним все еще веял дух пораженной Византии…

Длинный Галатский мост соединял Стамбул с Пера и Галатой. Он был переходом между двумя мирами, повиновавшимися разным ритмам. Стамбул был погружен в созерцание прошлого, Пера и Галата жили сегодняшним днем. Стамбул остановился в раздумье, Пера и Галата неудержимо неслись вперед, стараясь обогнать друг друга. Их улицы кишел международной толпой, все куда-то спешили, что-то покупали и что-то продавали.

Всюду были крики, толкотня и неразбериха Востока». [4]

Так, по воспоминаниям семьи Зерновых, встречал Константинополь русских беженцев, спасающихся от большевистского насилия. Они желали свободы, и они ее обрели.

Они были свободны не только от коммунистического будущего своей родины, но и от ее драгоценного прошлого. Здесь

не было ничего, что напоминало бы о прежней желанной жизни. Хотя по инерции стали возобновлять свою деятельность довоенные российские учреждения и организации. Заработали Союз нефтепромышленников, Академическая группа, Земство городов. Все они рассчитывали в скором времени перебраться обратно в Россию. Но больше всего пользы русским беженцам принесли Белый и Красный Крест. Найти постоянный заработок было трудно, женщины еще кое-как перебивались рукоделием, уроками французского или английского. Особенно везло тем, кто выходил замуж за иностранных коммерсантов или офицеров из союзных войск. Англичане были чрезвычайно учтивы с русскими женщинами и чересчур заносчивы с русскими мужчинами. Бывшим офицерам из Добровольческой армии приходилось туго. Гражданских профессий они не имели, сбережений тоже; многие по-настоящему голодали. От смерти их спасали бесплатные обеды Красного Креста.

Тем не менее большинство из тех, кто прошел через военные лагеря вроде Галлиполи, Лемноса или Бизерты, попадая в Константинополь, чувствовали некоторое облегчение.

Турки, потерпевшие поражение в Первой мировой, довольно сочувственно относились к беженцам из России, как к собратьям по несчастью. Ценили они и уважение русских к их обычаям, храмам и традициям; наши солдаты никогда не оскорбляли турецких женщин.

Жизнь в Константинополе была чуть лучше, чем в лагерях. Городской госпиталь по сравнению с лагерными при посольстве был обеспечен всем необходимым. В них раненые лежали часто на полу, даже не перевязанные, а в городском госпитале были отдельные помещения для сестер и врачей, чистота. Да и больных становилось все меньше и меньше. С пропитанием в столице тоже было чуть проще. В лагерях ели в общих столовых пищу, которую было трудно переварить, а в Константинополе можно было нарваться на милость какого-нибудь турка, который вкусно накормит тебя в ближайшем ресторане да еще расскажет местную притчу.

Немало восточных легенд наслушался Гайто в первые недели своих стамбульских скитаний. В одной из местных кофеен услышал он легенду о садовнике и смерти. «К персидскому шаху пришел однажды садовник, чрезвычайно взволнованный, и сказал ему: дай мне самую быструю твою лошадь, я уеду как можно дальше, в Испагань. Только что, работая в саду, я видел свою смерть. Шах дал ему свою лошадь, и садовник ускакал в Испагань. Шах вышел в сад; там стояла смерть.

Он сказал ей: зачем ты так испугала моего садовника, зачем

ты появилась перед ним? Смерть ответила шаху: я не хотела этого делать. Я была удивлена, увидев твоего садовника здесь. В моей книге написано, что я встречу его сегодня ночью далеко отсюда, в Испагани».

Так на слух и на ощупь, минуя книжные шкафы, Гайто открывал для себя прежде неведомый мир восточной истории и философии. Турки охотно пускали русских в свои мечети, чувствуя со стороны «гостей поневоле» уважительное любопытство. Как-то Гайто наткнулся на шарлатана-экскурсовода, который подрабатывал тем, что знакомил с местными достопримечательностями тех русских, которые были при деньгах. Стоя у входа в храм Святой Софии, он на свой лад поведал историю его строительства.

Один из султанов велел своему строителю создать самую пышную, самую величественную мечеть с золотыми минаретами. Дал на постройку баснословную сумму. «Если сумеешь построить, сумеешь меня покорить своим созданием, награжу; если не сумеешь — выбирай между кинжалом, шнурком и ядом». — «Слушаю, повелитель». Строитель знал, что на постройку одних золотых минаретов суммы не хватит. Много дней спустя он предстал перед султаном: «Свет очей моих, великий повелитель правоверных, приди и взгляни на мое создание». Окинул взором султан чудо искусства и сказал: «Прекрасно твое творение, я им доволен, но ты меня обманул. Где золотые минареты?» — «Повелитель, но ты велел создать мне *шесть* минаретов». Разгневался султан и ушел из мечети, а бедный зодчий начал ждать посланца с ящиком: кинжал, шелковый шнурок, флакончик с ядом — на выбор. Но вместо вестника смерти пришел к нему великий визирь со своей свитой: «Великий султан, повелитель правоверных, да благословит его Аллах, благодарит тебя за созданный великий храм. Ты соорудил именно то, что он хотел. Он посылает тебе обещанное с благодарностью. Да будет благословенно имя Аллаха!» — и развернул изумленным зодчим несметные богатства. Прожил зодчий долго, умер глубоким стариком, а слава о нем жива и сейчас. Секрет оказался прост: на турецком языке слова «золото» и «шесть» звучат одинаково — «алты».

Много раз после этого Гайто обходил Айя-Софию, любовался ее минаретами и думал о судьбе бесстрашного зодчего, который сумел переиграть приближавшуюся смерть, и бедного садовника, который ей проиграл. «Бессмертие за художником!» — настойчиво повторял он себе.

2

«Константинополь был тогда самым необычным городом мира, такой же была наша жизнь в нем. Мы жили в Константинополе как в каком-то дурмане. Все мы были опьянены фантастической красотой города, весной, молодостью, свободой; мы вырвались от смерти к жизни, но смерть была еще так близка, что казалось, что эта жизнь должна опять оборваться, что она нам дана на краткий миг, который надо прожить, не пропустив ни одного мгновения… Семь лет — с 1914 года — мы не принадлежали себе и не видели личной жизни. Наконец мы объездили весь Босфор, осмотрели Константинополь, гуляли всю ночь Рамазана среди праздничной турецкой толпы, заходили в мечети. Константинополь так красив, сказочен и интересен, что мы буквально были влюблены в него», — вспоминали те же Зерновы.

Такие чувства вызывал Царьград у русской молодежи, пережившей Первую мировую, две революции и Гражданскую войну. Вот и Гайто поначалу был покорен Константинополем, со всей его круговертью и суматохой. «Мы гуляли, – вспоминал он в "Рассказах о свободном времени", — по улицам Константинополя, очень хорошего города. С европейских высот мы видели убогую яму Касим-Паши — рухнувшее величие могучей тысячелетней империи. Мы попадали в узкие переулки Стамбула, где маленькие ослы невымирающей древней породы возили на своих спинах связки дров и высокие корзины с провизией. Женщины с закрытыми лицами несли узкогорлые кувшины — это напоминало нам картинки из Библии. Неподвижные турки, целыми днями просиживающие в кофейнях, постигали, как нам казалось, самые сокровенные тайны Востока. Из этих тайн мы усвоили главное: искусство ничего не делать».

Но вскоре отсутствие постоянного занятия, а вместе с ним и пропитания, стало все больше и больше тяготить Газданова. Неразбериха улиц стала проникать в душу и порождать тревожные вопросы. Что же делать дальше? Куда следует отправиться? К счастью, слова старого отцовского друга перекрестившего его на прощанье, были пророческими: Гайто действительно сначала затерялся в городе, потом совсем было растерялся, но вскоре нашел «своих» — двоюродную сестру с мужем.

Аврора Газданова была первой балериной Осетии. Первой — потому что лучшей, и первой — потому что до нее балерин-осетинок не было. Как и многие балетные артисты до 1917 года,

она уехала оттачивать свое мастерство за границу, поэтому бурные вихри революции и Гражданской не коснулись ни ее хрупкой души, ни ее хрупкого тела. И вот теперь Аврора приехала на гастроли в Константинополь вместе с мужем Сеней Трояновым и встретила своего брата Гайтошку в бедственном положении. Выспросив у него все подробности его странствий, она выяснила, что Гайто гимназии окончить не успел и потому не получил свидетельства о получении среднего образования. Это означало, что дорога в университет для него была закрыта. Вместе решили, что нужно закончить гимназию, которая как раз открылась 1 января 1922 года в Константинополе для таких же, как Гайто, недоучек, сбежавших на войну. Аврора, вхожая в высшие круги русской эмиграции, похлопотала за брата, и его зачислили в седьмой класс (выпускным был восьмой).

Гайто был принят в русскую гимназию Союза городов, расположенную в запущенном дворце одного из турецких вельмож в Топ-Хане. Не только сама гимназия выглядела причудливо в стенах дворца, но и ученики поражали своим разнообразием. Вперемежку с мальчиками в гимназических курточках важно прохаживались юноши в кадетских гимнастерках, девочки в институтских пелеринках, мелькала великовозрастная молодежь в пехотной, кавалерийской, морской форме. Среди пестрой разновозрастной толпы Гайто быстро нашел гимназических приятелей, не подозревая о том, что судьба свяжет их на долгие годы.

Сам о себе Гайто с детства думал, что дружить не умеет. Не потому, что не умеет быть верным, хранить секреты или оказывать помощь. Он не умел дружить с той пушкинско-лицейской страстью, пламенностью, которая подразумевала нечто большее, чем близость интересов и взаимную порядочность.

«Я не любил откровенничать, — признавался он, будучи уже взрослым, — но так как я обладал привычкой быстрого воображения, то задушевные разговоры были мне легки. Не будучи лгуном, я высказывал не то, что думал, невольно отстраняя от себя трудности искренних признаний, товарищей у меня не было. Впоследствии я понял, что, поступая так, я ошибался. Я дорого заплатил за эту ошибку, я лишился одной из самых ценных возможностей: слова "товарищ" и "друг" я понимал только теоретически. Я делал невероятное усилие, чтобы создать в себе это чувство; но я добился лишь того, что понял и почувствовал дружбу других людей, и тогда вдруг я ощутил ее до конца. Она становилась особенно дорога, когда появлялся призрак смерти или старости, когда многое, что было приобретено вместе, теперь вместе потеряно. Я думал: дружба —

это значит: мы еще живы, а другие умерли. Помню, когда я учился в кадетском корпусе, у меня был товарищ Диков; мы дружили потому что оба умели хорошо ходить на руках. Потом мы больше не встречались — так как меня взяли из корпуса.

Я помнил о Дикове, как обо всех остальных, и никогда не думал о нем. Спустя много лет в Севастополе в жаркий день я увидел на кладбище деревянный крест и дощечку с надписью: "Здесь похоронен кадет Тимофеевского корпуса Диков, умерший от тифа". В тот момент я почувствовал, что потерял друга».

Так он напишет в двадцать шесть лет в первом автобиографическом романе «Вечер у Клэр», даже не подозревая, что эти слова окажутся справедливыми до самой его смерти. У него никогда не будет по-настоящему близких друзей, но будут те, кто «еще жив». Из тех, кто прошел Гражданскую войну в Добрармии, переболел возвратным тифом, получил благодарность Врангеля и остался в живых, в Константинопольской гимназии оказались двое: Владимир Сосинский и Даниил Резников. Вот с ними-то по принципу «мы еще живы, а другие уже умерли» и сошелся в ту пору Гайто. Вскоре Володя и Дода, как звали Даниила друзья, познакомили Гайто с Вадимом Андреевым — сыном знаменитого писателя Леонида Андреева. Они знали его еще по Константинопольскому Русскому лицею, в котором все трое обитали до открытия новой гимназии.

Газданов и Резников были ровесниками, они ушли на войну в шестнадцать лет, не успев закончить учебы. Отсутствие аттестата о среднем образовании оказалось для них очень кстати. Их сразу еще в Константинополе зачислили в гимназию. А Володя Сосинский, родившийся в 1900-м, был старше своих друзей на три года, у него уже было свидетельство об окончании реального училища в Бердянске, о чем он благоразумно умолчал и тоже вскоре попал на ученическую скамью.

Точно так же ради пристанища и пропитания скрыл свой возраст и аттестат Вадим Андреев.

Вместе с Гайто у них образовалась юношеская команда вроде четырех мушкетеров. Демократы по убеждениям, страстно приветствовавшие когда-то Февральскую революцию, пройдя сквозь пекло войны, они возвращались к мирной жизни, в которой главное место занимала литература. Стихи писали все.

– Вы стихи пишете? — спросил Андреева при первом разговоре Володя Сосинский.

Вадим замялся:

– Пишу. Вернее писал, вот уже год, как не написал ни одной строчки.

– У нас запишете, — с уверенностью заметил Володя.

Это было не данью моде, а естественным способом выживания. Разлученные с родиной, домом, семьями, почти не имеющие личных вещей, они имели единственное, что оставалось с ними во времена странствий, — память об атмосфере предреволюционных гимназических лет на юге России. У каждого за спиной были свои «вечера у Клэр», вроде тех, что провел в доме Пашковых Гайто. И как только выдалась возможность хоть ненадолго воскресить те чудные времена в обстановке размеренной учебной жизни, молодые люди вновь кинулись сочинять, декламировать, спорить так страстно, как это возможно только в юношестве. «Ни на какие литературные компромиссы мы не шли, каждый отстаивал свою любовь к тому или иному поэту — к Ахматовой, Сологубу или Есенину», — вспоминал Вадим Андреев. Маяковского в силу возраста они знали еще плохо, и споров о нем пока не возникало. Так среди знакомых «домашних» разговоров гимназия из места для ночлега превращалась в настоящий дом, где они ссорились, любили и откуда не хотелось уходить.

Всего в гимназии училось более пятисот человек. Учителя в ней были под стать ученикам: самые разные. Бывшие военные и инженеры преподавали точные и естественные науки. Языки — просто люди, хорошо изъяснявшиеся на французском, немецком и английском, без всякого специального образования. Особенно запомнилась Гайто странная немка из Риги, которая всегда ставила ему дурные отметки. «Почему вы не хотите работать?» — зло спрашивала она его по-немецки. А он только равнодушно пожимал в ответ плечами и садился на место с очередной двойкой. Но однажды она пригласила его к себе домой, угостила папиросами и показала свою вышивку: замок на берегу Рейна. Она рассказала, что вышивала по наитию, только спустя много лет оказалась в той части Германии, где действительно находился точно такой замок. Она сообщила своим спутникам, что знает точное расположение дверей и комнат внутри замка, и когда ее описание было проверено, все пришли в изумление, кроме нее самой. Она давно уже привыкла собственным воспоминаниям о прошлой жизни, когда она была маркитанткой у крестоносцев во время похода Фридриха Барбароссы еще в XII веке.

После этого Гайто изменил свое отношение к этой нервной и истеричной женщине. Успеваемость его не улучшилась, и они больше никогда не возвращались к тому странному разговору, но много лет спустя он нередко вспоминал ее рассказ и ощущал щемящую близость с этой немолодой, едва знакомой женщиной,

способной к таким далеким путешествиям в прошлое. Гайто больше никогда не встречал ее, потому что к концу лета их занятия закончились — в тот год программа в гимназии была ускоренной, летних каникул не было: ученикам, потерявшим из-за войны много драгоценного времени, нужны были аттестаты.

К декабрю 1921 года командование Добровольческой армии наконец добилось выдачи виз русским «константинопольцам» и был объявлен список стран, принимающих их к себе на работу и учебу. Началось великое переселение. Гимназия, в которой учился Гайто, из Турции переехала в Болгарию.

3

«Володя уезжал из Константинополя один, никем не провожаемый, без слез, без объятий, даже без рукопожатия. Дул ветер с дождем, было довольно холодно, и он с удовольствием спустился в каюту. Он приехал на пароход почти в последнюю минуту, и потому едва он успел лечь и закрыть глаза, как пароход двинулся.

— Надо все же посмотреть в последний раз на Константинополь». [5]

Так представлял отъезд своего будущего героя из Константинополя Гайто, лежа на верхней полке вагона, забитого недоучившимися гимназистами. Их гимназию переводили в болгарский город Шумен. До того, как им объявили о переезде, Гайто никогда не слыхал названия этого города, хотя в географии всегда был силен. Но Болгария была не такая уж большая страна, чтобы после пятиминутного изучения атласа они вместе с товарищами не отыскали неизвестный доселе город неподалеку от Софии. Как устроится его жизнь и что ему сулит переселение из «дикой азиатской страны», которой он считал Турцию, в братскую православию Болгарию, о которой он еще ничего не знал, Гайто не задумывался. Лежа на верхней полке, под стук колес он предвкушал, как начнет описывать все, что ему удалось повидать за те три года, что он провел вдали от дома. В сущности, единственными островками благополучия, которые мелькнули на его пути, заполненном кровью, голодом и скитаниями, были константинопольские дома тех немногих эмигрантов, которым удалось как-то обустроиться на новом месте.

К ним принадлежали его сестра и ее знакомые. Больше всего Гайто хотелось написать именно о них, сумевших продолжать

жить интересно и радостно, несмотря ни на что. Однако до того момента, когда он найдет в себе силы преодолеть давление «мрачной поэзии человеческого падения» и написать романы о драматических взаимоотношениях как таковых, где эмиграция будет лишь фоном, пройдет более десяти лет. А пока он обдумывал новые и новые сюжеты, поезд приближал его к Софии.

В Софии их продержали несколько недель и затем отправили, как и предполагалось, в Шумен. На Софийском железнодорожном вокзале их четверку мушкетеров ожидала первая потеря — Вадим Андреев отправлялся в Берлин. Его знакомой графине Бобринской удалось выхлопотать для него персональную стипендию Уитморовского комитета. У этого комитета была оригинальная история.

В 1920 году американский ученый и бизнесмен, специалист по византийскому искусству, изучал древние фрески в Константинополе. Там он познакомился с русскими беженцами и, проникшись сочувствием к их судьбе, решил помочь молодым русским эмигрантам получить образование за границей. Он вернулся в США, собрал средства для фонда, названного собственным именем, и учредил комитет, который и выдавал стипендии русским студентам для учебы в различных европейских университетах. И так как у Вадима на самом деле имелся аттестат, то он был вполне готов продолжать учебу в Берлинском университете.

Расставание было тяжелым и натянутым. Гайто, Даниил и Володя не знали, суждено ли им еще встретиться с Вадимом, и уж тем более не знали, чего им ожидать от маленького захолустного городка, в который их должен был увезти небольшой состав, курсирующий по местным болгарским дорогам.

На самом деле православная гимназия в Шумене была крупнейшим учебным заведением из тех, что образовались тогда по всей Болгарии для русских. Размещалась она в старой, еще турецкой казарме, которая за свой долгий век успела побывать и больницей, и лагерем для пленных. Когда первые ученики переступили ее порог, на воротах еще частично сохранилась надпись: «Преславска дивизиона болница». Видимо, во время войны 1914—1918 годов там был военный госпиталь. Местные старожилы поговаривали, что время одной из Русско-турецких войн в стене была замурована русская сестра милосердия и ее привидение ночами бродит по казарме. Его никто никогда не видел, но самые храбрые из старшеклассников не теряли надежды на встречу.

Казарма-крепость была построена четырехугольником – с большим внутренним двором. Одна из частей крепости была

закрыта, там находился какой-то склад, а остальная территория отводилась гимназии. Стены были крепкие, метровые, но под крышу во время метелей набивался снег, и его приходилось вычищать вручную, что было нелегко. Иногда на помощь приходило местное население. Гимназия была расположена в турецкой части города, и отношения у русских с турками сложились доброжелательные.

В самой гимназии держал лавку со всякими мелочами черкес Сангуров. Напротив ворот гимназии находилась лавка турка Хусню, еще дальше — кафе Измаила. У него был чай, кофе и вино, которое он тайно продавал самым взрослым гимназистам. Сам он к вину не прикасался, даже отворачивался при продаже. Был у гимназистов и «бай Ангел» — скупщик вещей, которые гимназисты загоняли ему, чтобы иметь возможность выйти в город. Продукты в Болгарии были довольно дешевые, а вот одежда ценилась на вес золота.

С коренными болгарами отношения были более официальными, связанными в основном с праздниками. Гимназический струнный оркестр играл на балах в Офицерском собрании. С музыкантами обычно шли любители потанцевать, помогая нести инструменты. На ежегодном Собрании во время парада русских гимназистов в качестве образцовых ставили впереди болгарских. За мужскими учебными заведениями шли женские — и тут русские девочки были впереди. В том, что гимназисты проходили отлично, не было ничего удивительного, ведь большинство учеников составляли «белые мальчики» – армейцы. Чего только стоила группа донских кадетов, застрявшая в Болгарии! Но и гимназистки, выехавшие с семьями и строю никогда не обучавшиеся, на радость своим однокашникам с армейским прошлым, проходили тоже безукоризненно.

Девочек было примерно шестьдесят из трехсот учеников. То, что гимназия была устроена по европейскому типу — с совместным обучением мальчиков и девочек — вдохновляло учащихся, но доставляло немало хлопот учителям. Романы возникали мгновенно, едва ли не с первых дней обучения. Особое оживление царило в старых стенах по субботам, когда в гимназии устраивались вечеринки. По случаю важных праздников давали даже балы. Для этого из столовой выносились столы, и зал украшали собственными руками, как могли. В той же столовой была сцена, на которой играли спектакли и давали концерты хора и оркестра.

«Больше пятидесяти лет спустя сгладилось из памяти, что было холодно зимой и голодно всегда. Вспоминаются фасоль во всех видах и тыквенная каша. Зато на Пасху разговены были на

славу. А какая красота — Крестный ход вокруг казармы. Раз я был ночным дежурным в пасхальную ночь и видел все с балкона: все в белом, много фонарей, замечательный хор», — вспоминал однокашник Гайто «шуменец» Алексей Воробьев.

Немалых усилий стоило учителям организовать такую жизнь своим воспитанникам. В первую очередь это было заслугой директора Анатолия Аполлоновича Бейера. Гайто сразу проникся к нему огромным уважением, которое пронес через всю свою жизнь.

В 1932 году Гайто, назвав Бейера Григорием Григорьевичем Мейером, напишет о нем в рассказе «На острове»: «Кажется, в России он был одним из преподавателей артиллерийской академии. В нем не было ничего военного или административного; но управлял он гимназией… так хорошо и умно, что не было ни резких мер, ни наказаний, — и все шло настолько прекрасно, насколько это вообще было возможно. Каждый гимназист пользовался такой свободой, что мог бы делать все, что захотел; но непостижимый секрет Григория Григорьевича заключался в том, что даже самые отпетые ученики ни разу не захотели воспользоваться этой свободой».

А через три года, в 1935-м, Газданов напишет о любимом директоре некролог, где назовет его уже подлинным именем: «Недавно в Буэнос-Айресе умер Анатолий Аполлонович Бейер… Его исключительный ум был совершенно высокомерия, на которое он имел право; он разговаривал с каждым учеником как равный и эффект получался безошибочный — было слишком стыдно потом не оправдать его доверие. Помню, как мы — нас было несколько человек – пришли к нему протестовать по поводу того, что в зале, который примыкал к нашему дортуару, постоянно устраивались танцевальные вечеринки; шум мешал нам заниматься. Он сказал: вот вы, конечно, люди глубокомысленные и занимаетесь литературой и отвлеченными проблемами – а это все молодежь, знаете ли, у них голова легкая, им танцевать хочется, вы их тоже поймите и пожалейте. И потом в конце концов, что вам мешает заниматься в другом дортуаре?»

Таким же Анатолий Аполлонович остался в памяти других выпускников. Алексей Воробьев вспоминал много лет спустя:

«Персонал был разный; мало бывших преподавателей, но от этого дело не страдало. Директором был Анатолий Аполлонович Бейер; думаю, что мы ему обязаны тем духом, который господствовал в гимназии. Старый военный педагог, воспитателем он, насколько знаю, никогда не был, но как он руководил этой массой, где и в одном классе разница в возрасте доходила до 6—7 лет! Время от времени он собирал всю

гимназию для бесед. У нас это называлось "директорская вечеринка". Вначале были проблемы, касающиеся всех, потом он отпускал младших, и тут многие из провинившихся чувствовали себя не в своей тарелке… В исключительных случаях он вызывал отдельных учеников. Говорил немного, но красноречиво, а то и просто постоит перед провинившимся, смотря поверх очков, и скажет: "эх ты" и все, а провинившийся готов был провалиться сквозь землю. Говорить он умел со всеми возрастами, а из старых знал, кому можно говорить, чтобы не разболтали, как бывало в тяжелые периоды».

Вторым учителем, которого Гайто запомнил на всю жизнь, был учитель словесности Валериан Лашкевич. Бывший депутат Государственной думы, помимо блестящего курса лекций он устраивал публичные читки. Кроме того, он был энциклопедически образованным человеком, и к нему можно было обратиться с любым вопросом, на который он подробно отвечал, к какой бы области он ни относился. В рассказе «На острове» Газданов назовет его Валентином Валентиновичем Рашевичем: «Он помогал всем, кто к нему обращался: нужно было решить сложную задачу — шли к нему; нужен был трудный перевод — обращались к нему же. И однажды наша одноклассница, готовившаяся к экзамену и плакавшая над совершенно непонятной теплотой, — никто не мог ей объяснить, что такое теплота, — пошла к Валентину Валентиновичу — по нашему совету; было решено, что если уж он не объяснит, то, значит, это — вне человеческих возможностей, и, поговорив с ней полчаса, Валентин Валентинович заставил ее понять теплоту. Как он этого достиг — было непостижимо. Ученица выдержала экзамен. — Это на вас вдохновение нашло, — сказал преподаватель. — Валентин Валентинович объяснил, — ответила она».

Другие учителя были не менее примечательными личностями. Преподаватель немецкого языка и математики в старших классах по профессии был военным инженером. В свободное от уроков время он учил гимназистов танцевать, а когда его дочь закончила гимназию, поступил на болгарскую службу инженером.

Закон Божий преподавал бывший полковой священник кавалерийского полка, кавалер Георгиевского креста. Спрашивал он строго, добиваясь не только знания, но и понимания церковных текстов. На плохие отметки не скупился. Книг в гимназии тогда было недостаточно, поэтому он сам помогал ученикам составлять конспекты.

Законоведение вел старший повар, юрист по образованию.

Его уроки превращались в блестящие лекции по истории права.

Бывали и забавные случаи: когда в шуменскую гимназию влили часть расформированной галлипольской гимназии, во дворе встретились два старых военных приятеля: «Жора, а ты как сюда попал, в каком классе?» — «Рад тебя встретить, я, видишь ли, преподаю математику…» Один теперь ученик, другой — преподаватель. А в военном лагере никто и не знал, что тот имел ученую степень. Через несколько лет его учебник был принят в болгарских правительственных гимназиях…

Всем преподавателям и тем, кто имел специальное образование, и тем, кто попал в педагоги случайно, приходилось нелегко. Мало того, что гимназистам надо было дать детям достойное образование, их надо было обогреть и накормить. Условия жизни поначалу были суровыми. Средства на содержание гимназии давал болгарский Земский союз, который и сам был не богат. Электричества до середины 1920-х годов не было, поэтому первые годы каждую осень директор объявлял перерыв занятий на две недели, чтобы заготовить дрова на зиму. Мыться ходили в местные турецкие бани раз в неделю. Свою баню построили шуменцы только через несколько лет. Больших денег на капитальный ремонт гимназии никто выделить не мог, поэтому ремонтировали частями, главным образом крышу, которая протекала после долгой зимы.

Выпускные экзамены проходили под наблюдением представителя болгарского Министерства народного просвещения. Обычно это был один из директоров шуменских школ. Его присутствие на экзаменах и подпись на аттестатах давали те же права, что и прошедшим полный курс болгарских правительственных гимназий, следовательно, и признание за границей. А это означало, что выпускники смогут учиться дальше и не останутся без куска хлеба.

« — Прочтите мне какое-нибудь русское стихотворение в переводе на болгарский, — спросил меня наш славный учитель словесности.

Я прочел:

Самотен кораб се белее
По синий морский пущенак…
Что се в стране далече рее,
Что бега той от родин бряг?»

Так описывал свой выпускной экзамен по болгарскому языку

Володя Сосинский. Он, как и большинство выпускников, болгарского выучить не успел и знал всего несколько строк, которые его и выручили. Получив золотую медаль, он добился стипендии Уитмора и тоже отправился в Берлин к Вадиму Андрееву, который уже вовсю описывал ему жизнь германской столицы, где в те годы сосредоточилась русская литературная эмиграция, и прелести немецкого студенчества. У Доды и Гайто золотых медалей не было, и настала пора новых расставаний.

После выпускного вечера в сентябре 1923 года Даниил Резников остался в Софии, а Гайто Газданов отправился в Париж. Незадолго до выпускного он прочитал на черной доске в коридоре объявление о том, что «металлургические, химические и автомобильные заводы Бельгии, Люксембурга и Франции предлагают подписать контракты». В реальности это означало, что вид на жительство надо заработать, просто так в гости Европа никого не ждет. Выбор Гайто естественным образом пал на Францию и на ее «нансеновский паспорт» [6].

НА ДНЕ

Полная независимость, новое окружение выбросили меня из гетто зарубежной России во Францию — и Франция эта была двуликой. Новый мир и блистал передо мной, и открывал свои язвы. Париж двадцатых годов — это целая эпоха, даже и без денег можно было быть ее свидетелем.

Зинаида Шаховская. Отражения

1

Добравшись в декабре 1923 года до Парижа, Гайто и не подозревал, что попал в город всей своей жизни. Он не догадывался о том, сколько страданий, любви, голодных дней и одиночества ждет его среди великолепий и трущоб европейской столицы. Он не знал, что через несколько лет совсем освободится от русского акцента, и это позволит ему постичь столицу с той доскональностью, что сравнима только с опытом патологоанатомов, чья компетентность определяется не любовью, а знанием. Тот Париж, который поначалу узнал Гайто, казался ему похожим на труп, который нельзя любить, но необходимо хорошо знать, если хочешь стать профессионалом. А он хотел. Он хотел писать, затем он сюда и приехал. Но в отличие от большинства своих старших коллег — писателей-эмигрантов, которые уже заработали себе имя в дореволюционной России, Гайто — типичный младоэмигрант — узнал сначала «французский» Париж, а потом уже «русский».

«Это был небольшой городок — жителей в нем было тысяч сорок, одна церковь и непомерное количество тракторов.

Через городок протекала речка. В стародавние времена звали речку Сенваной, потом Сеной, а когда основался на ней городишко, жители стали называть ее "ихняя Невка". Но старое название все-таки помнили, на что указывает существовавшая поговорка: "Живем, как собаки на Сене — худо!"

Жило население скученно: либо в слободке на Пасях, либо на

Ривгоше. Занималось промыслами. Молодежь большею частью извозом — служила шоферами. Люди зрелого возраста содержали трактиры или служили в этих трактирах: брюнеты — в качестве цыган и кавказцев, блондины — малороссами.

Женщины шили друг другу платья и делали шляпки. Мужчины делали друг у друга долги.

Кроме мужчин и женщин, население городишки состояло из министров и генералов…

Общественной жизнью интересовались мало. Собирались больше под лозунгом русского борща, но небольшими группами, потому что все так ненавидели друг друга, что нельзя было соединить двадцать человек, из которых десять не были бы врагами десяти остальных. А если не были, то немедленно делались.

Местоположение городка было очень странное. Окружали его не поля, не леса, не долины, — окружали его улицы самой блестящей столицы мира, с чудесными галереями, музеями, театрами. Но жители городка не сливались и не смешивались с жителями столицы и плодами чужой культуры не пользовались. Даже магазинчики заводили свои. И в музеи и галереи редко кто заглядывал. Некогда, да и ни к чему — "при нашей бедности такие нежности"».

С этими печальными картинами из жизни русской эмиграции в Париже, иронично обрисованными Надеждой Тэффи в «Городке», Гайто познакомился не сразу. Не то чтобы он не знал русских ресторанов и кафе, где собиралась публика победнее или побогаче, или адресов литературных салонов и объединений, штаб-квартир русских партий или организаций. Он мог их узнать, но он не был туда вхож, не был своим, он пришел «ни от кого», не имея ничьей рекомендации. А в русской эмиграции наличие нужных знакомств для молодого соотечественника подчас было важнее, чем знание языка для странника, оказавшегося в чужой стране. В силу юных лет обзавестись на родине важными знакомствами он не успел, а семья его была не из того круга, чтобы можно было воспользоваться связями, возникшими еще в салонах Петербурга или Москвы. Не было двери, в которую можно было бы постучаться и услышать в ответ: «Как же, как же, помнится, мы с вашим батюшкой на охоте ох-хо-хо! А вы были тогда еще в коротеньких штанишках. Забавно, забавно…» Никто не писал ему рекомендательных писем, которые можно было бы отнести в дом на тихой респектабельной улочке, сделать вдох перед тем, как нажать звонок, и отдать горничной, которая сообщит, что хозяина, к сожалению, нет дома, но она обязательно передаст. Потом ждать с волнением ответа и наконец получить

приглашение зайти для личного знакомства и услышать: «Да, место есть …жалованье небольшое, но верное». Этого всего Гайто, как и большинство его ровесников, не имеющих за спиной ни славы, ни высокого аристократического происхождения, не знал.

В «гетто зарубежной России» Гайто проложит себе дорогу позже. А пока он, как алжирец или тунисец, должен был доказать французскому правительству, что его не зря пустили на родину мушкетеров, которых он так любил в детстве.

2

Гайто начал осваивать Париж с окраин. Первые картины из жизни люмпен-пролетариата он наблюдал в Сен-Дени. Сейчас это вполне приличный пригород Парижа с университетом, стадионом и аэропортом имени Шарля де Голля. А в те годы там было портовое место, куда приходили на разгрузку торговые баржи. Гайто взяли в артель грузчиком, но работал он там недолго. Такая грубая и изматывающая работа действовала угнетающе не только на его юное тело, но и на юный дух. После разгрузки уже одной баржи его покидали все мысли, стремления и желания, кроме одного: лечь прямо на песке, закрыть глаза и не шевелиться как можно дольше. С наступлением холодов даже это скромное желание стало неосуществимо.

Продержавшись две недели, он сбежал из артели и стал искать работу в районах, соседствующих с Сен-Дени. Однако там вакансий было еще меньше. И Гайто опять вернулся туда, откуда сбежал, но уже не в порт, а на железнодорожную станцию. Там потребовались мойщики паровозов. За ночь нужно было все закончить, чтобы утром к чистому локомотиву присоединить состав. Работа была черной в буквальном смысле, но не такой тяжелой, как прежде.

С рассветом Гайто возвращался в барак к «коллегам», которые презирали его за душевную утонченность, чувствительность, плохо скрываемую гордость во взгляде темных глаз. Темные южные глаза в бараке, где ночевал Гайто, не были редкостью — среди чернорабочих находилось много выходцев из Африки, Востока и Южной Европы, но редко кто из них смотрел так сурово и неприязненно при хамстве и пошлом юморе, которым развлекались обитатели Сен-Дени.

Однажды ночью он ворочался с боку на бок, мучаясь от бессонницы. Мозг его давно требовал отдыха и сна, но ноющее от перенапряжения тело никак не хотело успокоиться. Гайто

пытался заставить его повиноваться сну, отдавал самому себе мысленно команды, но мешал бред соседа за перегородкой, который во сне оставался таким же бессмысленно грубым, как на работе и в жизни. Каждую ночь он громко стонал и называл свою подружку Марго — пьяницу и торговку гнилыми овощами, оставшимися после разгрузки барж, — всеми ругательствами, на которое было способно его убогое воображение. Несмотря на скудный словарный запас общеупотребительных слов и сильный акцент – сосед был выходцем из румынских крестьян — Гайто не раз поражался его изобретательности по части тех слов, которые были обращены к Марго. За время тесного (даже слишком тесного, как казалось Гайто) ночного соседства он успел узнать все мыслимые и немыслимые подробности интимной жизни этой парочки. Поначалу это казалось даже забавным. К чему Фрейд, думал Гайто, учение о подсознании, теория снов, когда все обескураживающе просто: жизнь и видения — одно, и как бы ученый австриец прокомментировал такое единство? Той февральской сырой ночью Гайто вдруг ясно понял, что ни тело, ни душа его не перестанут метаться на этом старом продавленном матрасе, пока он не дойдет до станции, ставшей ему сколь родной, столь и ненавистной, пока не сядет на пригородный поезд и не покинет Сен-Дени навсегда.

Чуть только потеплело, измотанный мойщик покинул Сен-Дени, со всеми его резкими звуками: скрипом барж, воем труб, криками торговок, скрежетом вагонов и стуком колес. Он не стал ничего никому говорить, не предупредил даже своего работодателя Франко, бесцеремонного офранцузившего итальянца с враждебным взглядом. Он просто однажды не вышел на работу. Сказавшись больным и дождавшись, пока в бараке никого не останется, кроме одного безнадежного араба, который умирал от «гниения», как сообщили его соотечественники, Гайто собрал все свои нехитрые пожитки и побежал прямиком к станции, услышав издалека призывный гудок поезда, отправлявшегося в город, и вскочил в закрывающиеся двери последнего вагона. Доехав до Северного вокзала, он пересел в метро и только выйдя в Шатле — самом сердце Парижа, вздохнул с облегчением и надеждой. Пройдя несколько кварталов, Гайто остановился у Сены и долго стоял, опершись на парапет. Он смотрел то на мутную воду, то на застывший слева Нотр-Дам и мучительно выбирал между желанием размышлять о вещах отвлеченных и необходимостью спланировать действия хотя бы на ближайшие дни. Где найти ночлег, с чего начинать поиск работы, кого из знакомых можно разыскать – все это нужно было решить в ближайшие часы, не дожидаясь, пока на город спустится

вечер. Однако и торопиться ему не хотелось. Гайто пересек остров, на котором возвышался собор, и двинулся прямо к Сорбонне. Бродя вокруг здания университета и прислушиваясь к разговорам студентов, которые возвращались после занятий по домам, Гайто почувствовал, что это и есть то место, где ему стоило бы задержаться. Володя Сосинский, как уитморовский стипендиат, уже учился в Сорбонне. Сюда же собирался Дода Резников. Ждали приезда Вадима из Берлина. Гайто был не прочь сесть с ними снова на одну скамью. Но пока он совершенно не представлял, как это сделать. «При первой возможности надо будет разузнать о студенческих стипендиях. А пока пора двигаться на Монпарнас». Там всегда было много русских, среди которых Гайто надеялся найти хоть какие-нибудь вести о заработках и дешевых ночлежках.

Минут через сорок быстрого шага Гайто уже подошел к кафе «Ротонда» и услышал, как выходящая девушка с прямым и ясным взглядом почти революционным тоном говорила своим спутникам по-русски: «Это в декадентском Петрограде русские писатели и поэты могли, живя в своей стране, иметь достаточно денег, чтобы не работать чернорабочими, и, как пифии, предчувствовать наступающий развал империи. Мы же находимся здесь на положении пролетариев самого низшего разряда, без страны и без прав. Мы не можем позволить себе быть декадентами. Если мы хотим выжить и что–то сделать за нашу жизнь или из нашей жизни — мы должны бороться, только работа и упорство могут нас спасти».

Гайто печально улыбнулся ей вслед: он-то как раз затратил последние, оставшиеся у него усилия на то, чтобы избежать работы.

«Выжить, бороться… — что она вкладывает в эти слова?» Позже Гайто не раз встречал на Монпарнасе эту пламенную девушку и слушал ее неизменно верные речи. Юная княгиня Шаховская была человеком искренним и с чистой душой.

Она была младше Гайто всего на три года, но, глядя на нее, Газданов чувствовал себя почти стариком. Зинаида Шаховская, как и большинство русских парижан, тоже прошла сквозь скитания в поисках покоя и постоянного угла, однако, воспитанная в большой и дружной семье, она обладала уверенностью, свойственной только человеку внутренне защищенному, чего не было у Гайто. В тот вечер никого из знакомых он не нашел и отправился ночевать в ближайшую доступную ночлежку. Пока он шел по коридору до своей комнаты, находившейся в самом дальнем углу, из-за дверей доносилась такая же громкая ругань, как в бараках Сен-Дени. На секунду

Гайто остановился и прислушался: он не слышал акцента, ни румынского, ни славянского, ни арабского. Он услышал «арго» — язык парижских улиц.

3

Гайто не мог даже предположить, к каким последствиям приведет его бегство из портового района и что уготовила ему судьба на ближайшие два года. Да и не хотел предполагать. Он только знал, что обратной дороги нет и что любая неизвестность лучше, чем однозначный финал обитателей Сен-Дени. Большинство из них умирало от истощения и неизлечимых болезней, не дожив до тех лет, когда смерть кажется если не желанной, то по крайней мере естественной. Гайто не раз про себя отмечал, что мертвецами они становились намного раньше, чем приезжал катафалк. Взгляд этих людей становился неподвижным и непроницаемым после первого же года тусклой, безрадостной жизни, на которую они себя обрекали или их обрекала судьба.

Эти стремительные метаморфозы были особенно заметны среди выходцев из крестьян, которые приезжали в Париж на поиски лучшей жизни и навсегда застревали в смраде и копоти северных районов. Простота души и здоровье, игравшее на их лицах, быстро исчезали, превращаясь в тупое равнодушие, оттеняемое желтоватым цветом кожи. Гайто не раз поражался тому, как мало можно было бы рассказать о их жизни, если бы кому-либо пришло в голову занять себя подобным трудом. Когда в соседнем квартале умерла знакомая проститутка, Гайто тут же придумал рассказ не о ее судьбе, а о процессе ее умирания, потому что сам процесс был значительнее, сложнее и длиннее всей ее незамысловатой жизни. Рассказ был так и назван — «Биография»:

«Жизнь моей соседки была очень проста. Соседка перестала смеяться только незадолго до смерти. Это была обыкновенная проститутка, лет двадцати пяти, с красными руками, короткими пальцами, почти без ногтей, узловатыми мускулами на крепких крестьянских ногах, очень сильно раскрашенным лицом и резким голосом. Жила она несложно, никогда ни о чем не думала, читала романы с цветными обложками, штопала себе чулки, носила плохие платья и вообще существовала так, как ей подсказывали инстинкт и необходимость… Судьбой своей эта женщина была вполне довольна, работой своей горда; она искренне презирала,

например, людей, принужденных десять часов проводить на фабрике: они больше уставали и меньше зарабатывали».

Когда ее увозили на катафалке, Гайто смотрел ей вслед из окна и сокрушался о том, как страшно и тоскливо умирать. В тот момент ему казалось, что у него самого лицо стало приобретать такой же нездоровый оттенок, что и у покойной. С беспощадной ясностью Гайто понимал, что ближайшие годы жизни в Париже не прибавят ему ни здоровья, ни сил, ни, тем более, оптимизма.

Так оно и было. После побега из Сен-Дени начались бесконечные поиски работы и дешевых ночлежек. Гайто хватался за самую разную работу: брал переводы, преподавал языки, писал репортажи, вместе с Вадимом Андреевым пытался заняться мелким бизнесом. Однако ни одно из начинаний не принесло пусть небольшого, но постоянного заработка. Когда платить за ночлег было нечем, а мелкие деньги растягивались на неопределенный срок до очередного случайного заработка и предназначались только на еду, Гайто случалось неделями ночевать в метро и в переходах. И как ни крути, выходило, что стабильный заработок могли дать только руки, а не голова. В какой-то момент Гайто убедил себя, что это, в конце концов, справедливо. Ведь голова не может работать постоянно и не всегда слушается приказов, а руками управлять намного легче — они могут работать механически. И Гайто пошел наниматься на автомобильный завод «Рено», где уже отработал свое, не выдержав механического труда жестянщика, Володя Сосинский и где по-прежнему оставалось много русских.

БЬЯНКУРСК

Нужно своими глазами увидеть Бьянкур, этот франко-русский город, прибежище для тех, кто потерял родину. Площадь Жюль-Гед очень напоминает Вавилонскую башню, где уживается, не смешиваясь, столько языков. Здесь и китайцы, и славяне, и итальянцы, и чехи, и словаки. Но русских — больше всего.

Шарль Ледре

Юго-западный пригород Парижа Булонь-Бьянкур образовался в 1925 году от слияния двух районов: шикарных построек, граничащих с Булонским лесом, и промышленного центра Бьянкура. К концу 1920-х годов это место стало самым многонаселенным пригородом Парижа, четвертую часть которого заполнили иностранцы. Когда Гайто переехал в Бьянкур и поступил сверлильщиком в автомобильный цех, он был удивлен тому, как много русских и особенно украинцев оказалось среди работающих на заводе. В толпе, которая спешила по утрам к проходной, каждый четвертый был из России и почти всегда — офицер. Большинство были людьми семейными, а потому смирными в быту и исправными налогоплательщиками. Поначалу в Бьянкуре русские селились только в пятнадцатом квартале, но потом число их росло и росло так, что город даже стали называть на русский манер — Бьянкурском.

Жизнь здесь была иной, чем в обычных бедных пригородах. Среди рабочих много было людей образованных, принадлежавших в России к среднему сословию, потому они старались сохранять тот образ жизни, к которому привыкли. Отмечали церковные праздники по старому юлианскому календарю, которого придерживается Православная церковь, устраивали русские школы для детей и помогали друг другу как могли. В то время в Бьянкур зачастили социологи, этнографы и любознательные журналисты, чтобы посмотреть, как сумели устроиться необычные эмигранты. Самый большой поток рабочих рук из России принял завод «Рено» в 1924 году, а к тому времени, когда на завод устроился Газданов, про русских уже говорили как про сложившуюся единую команду. К команде этой благоволило начальство, но ее недолюбливали остальные рабочие, особенно политически активные французы и выходцы из Западной Европы.

«Про них известно, что они: а) не зачинщики в стачках; б) редко обращаются в заводскую больницу, потому что у них здоровье железное, видимо обретенное в результате тренировки в двух войнах, большой и гражданской; и в) исключительно смирны, когда дело касается закона и полиции: преступность среди них минимальна, поножовщина – исключение, убийство из ревности — одно в десять лет, фальшивомонетчиков и совратителей малолетних, по статистике, не имеется».

Так выглядели русские рабочие в многочисленных описаниях и отчетах французских журналистов, полиции и социологов, посещавших Бьянкур. Но поначалу никакого единства среди русских не было. Казаки держались отдельно, украинцы отдельно, выходцы из Москвы и Петербурга вообще плохо умели объединяться. Даже в рабочих столовых у каждого «полка» был свой стол. Только через несколько лет совместного проживания и совместной работы различия стали постепенно стираться и появился единый ритм жизни — жизни в Бьянкурске.

В пригороде открылось несколько десятков русских ресторанов и кафе, которые использовались как залы для общественных и политических собраний, самодеятельных и профессиональных спектаклей и даже церковных служб. Митрополит Евлогий, проводивший службы в залах, смежных с рестораном, вспоминал, что верующим приходилось молиться под звуки вылетающих пробок шампанского и звон посуды. По субботам он читал лекции на самые разные темы. В бараке на улице Насьональ, где находилась русская церковь, собиралось множество народу, чтобы после тяжелой трудовой недели вернуться хоть ненадолго в прошлое и вспомнить о прежней, интеллектуальной жизни. Вскоре на улице Point-du-Jour открылся настоящий Свято-Николаевский бьянкурский приход, о котором торжественно сообщили в газетах.

Со временем русские начали сами создавать себе новые рабочие места. Эмигрантские газеты пестрели объявлениями на русском с французскими адресами:

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ю. П. МОРАЙТИНИ. Проводка – исправление – арматура ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ 6, av.de la Porte du Point-du-Jour».

Появились магазины с необходимым для русского квартала набором товаров: баклажанная икра, фаршированный перец, водка, карамель «Москва», пирожки с традиционными начинками, расписные деревянные ложки, иконы. На улицах зазывали вывески:

ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ МАГАЗИН И СТОЛОВАЯ СТАМБОЛИ

РУССКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ «ЖЮЛЬЕН»

Ю. ПОПРАВКА, бывший мастер Фанкони и Либмана в Одессе. Специальность: всевозможные сорта шоколадных конфект, пастила, мармелад, тянучки, клюква в сахаре, медовые и мятные пряники. Принимаются заказы на куличи, пасху, кренделя, расстегаи и ватрушки.

CAVIAR VOLGA

ИКРА ЗЕРНИСТАЯ, ПАЮСНАЯ, КЕТОВАЯ ТАРАМА

ГРИБЫ РУССКИЕ МАРИНОВАННЫЕ

КОНСЕРВЫ, СЕМГА ГОЛЛАНДСКАЯ И АНГЛИЙСКАЯ

ПРОДАЖА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

В Бьянкур потянулись все, кто чувствовал себя хоть как-то причастным к тому новому жизненному укладу, который сложился стараниями русских эмигрантов.

«Мои родители не говорили по-русски и не чувствовали себя русскими, но они переехали в Бьянкур с Монмартра, потому что мой отец умел готовить пасху и печь куличи, русский хлеб и булочки с маком, и здесь была обширная русская клиентура», — вспоминал один из врачей, лечивший рабочих с завода «Рено». Постепенно люди стали уходить с завода, устраиваясь на работу полегче — в парикмахерские, мастерские. Женщины нанимались официантками и швейными мастерицами.

С середины двадцатых годов Бьянкурск стал жить совершенно самостоятельной жизнью, о чем был снят фильм «Дневник русской эмиграции». Гайто удалось попасть на его премьеру, которая была устроена студией Пате в 1928 году на одном из благотворительных балов, организованных Союзом писателей и журналистов. На пленке он узнал и своих коллег по цеху, и соседей по кварталу, и просто знакомых из русских ресторанов.

Благодаря работе на заводе Гайто удалось легализоваться во Франции — получить долгожданную «карт д'идантите» – французский паспорт. Зайдя первый раз в префектуру с необходимыми документами — справкой с места жительства, фотографией, налоговым сбором, — Гайто был уверен, что дальше будет дан ход формальной процедуре, в которой от него уже мало что зависит. Но усатый француз, по виду выходец из северных деревень, долго расспрашивал его о причинах переселения во Францию, о месте работы, об образовании, имеющихся родственниках и о том, собирается ли мсье перевозить их в Париж.

Чиновник даже не подозревал, какой болезненный вопрос он затронул: Гайто только недавно возобновил переписку с матерью, и та присылала ему письма, полные нежности и тоски. «С удовольствием бы перевез, но не вижу никакой реальной

возможности это сделать». — Гайто нехотя и скупо отвечал на вопросы блюстителя порядка, иногда невпопад, чем вызывал подозрение и провоцировал полицейского спросить что-нибудь еще. Гайто не понимал, какое дело этому человеку до его собственной судьбы и до его родственников.

Разрешение на работу он получил вместе с нансеновским паспортом от Министерства труда еще в Болгарии, когда заключал рабочий контракт. И теперь единственное, что он хотел, — это бумагу со смешным названием «ресеписсе» — временную регистрацию, которую автоматически должны были через три месяца обменять на «карт д'идантите», если, конечно, за это время он не натворит что-нибудь опасное для французского буржуазного общества. Но усатый страж все не унимался и больше получаса мучил Гайто вопросами о его намерениях относительно работы и учебы. Наконец ходатайство было принято и через три с небольшим месяца Гайто почувствовал некоторое облегчение, когда почтальон принес уведомление о том, что m-r Gazdanoff должен зайти в префектуру для получения соответствующего документа.

Но и после легализации Гайто не торопился покинуть Бьянкур и завод «Рено», хотя у него уже появились намерения сменить образ жизни. Сбылась его давняя мечта — Гайто приняли в Сорбонну, но получить студенческую стипендию было непросто. В отличие от правительств Чехословакии и Германии руководство Франции не было столь щедрым по отношению к русским эмигрантам и уж совсем не заботилось о повышении их интеллектуального уровня. К тому же большинство из них не имело полного набора необходимых для поступления документов. Сам по себе этот факт никому не казался удивительным: люди, попавшие во Францию через столько стран и войн, могли растерять по дороге все, что угодно. Да и кто из солдат, уходивших на фронт, брал с собой аттестат о среднем образовании? Кто из них знал, что им не суждено будет вернуться на родину?

Поэтому для русских был придуман компромиссный вариант: от них не требовали подлинных документов, но они должны были либо получить их заново, либо восстановить при поручительстве русского консула. Аттестат об окончании гимназии, полученный в Шумене, Гайто, конечно, сберег, и тем не менее незадолго до того, как решался вопрос о распределении стипендий, ему было необходимо повидать консула.

Маленький старичок с огромной седой бородой сердито сказал Гайто:

– Ничего я вам не дам. Откуда я знаю, кто вы такой? Может

быть, вы профессиональный преступник, может быть, убийца, может быть, бандит. Я вас вижу первый раз в жизни. Кто вас знает в Париже?

- Никто. Здесь у меня есть несколько товарищей, с которыми я учился, но они все такие же, как и я, никто из них вам лично не известен, и ничто вам не мешает предположить, что каждый из них тоже профессиональный преступник и убийца, и еще к тому же мой сообщник.

– Зачем вам эта бумага?

– Я хотел бы поступить в университет.

– Вы? В университет?

– Да, если вы все-таки дадите мне эту бумагу.

– Для этого, батюшка, надо иметь среднее образование.

– У меня есть аттестат зрелости.

– И по-французски знать надо.

– Я знаю.

– Где же вы могли научиться?

– Дома в России.

– Бог вас знает, — сказал он с сомнением быть, – может вы и не бандит, я ведь этого не утверждаю категорически, у меня нет для этого фактических данных. Покажите-ка мне ваш аттестат.

Он посмотрел его, потом вдруг спросил:

-Почему средние отметки по алгебре и тригонометрии? А?

– У меня нет склонности к так называемым точным наукам.

– Ну хорошо, дам я вам бумагу. Но смотрите, на вашу ответственность.

– Хорошо, если меня арестуют и посадят в тюрьму, обещаю на вас не ссылаться.

Все это он опишет в романе «Призрак Александра Вольфа». Таким образом Гайто оказался в университете. Он взял несколько курсов по философии, экономике и юридическому праву и стал прилежно посещать лекции. Но потом выяснилось, что в его положении статус добросовестного студента — непозволительная роскошь. Помимо лекций требовались самостоятельные занятия, и в этом была главная трудность. На покупку недостающих книг у него не было денег, а просиживать часами в библиотеке Святой Женевьевы, как это делали отпрыски обеспеченных родителей, у него не было времени. Получалось, что студенческая жизнь, богатая интеллектуальными и эмоциональными впечатлениями, плохо сочеталась с заводским режимом и требовала иного источника заработка, который бы позволял сохранять больше сил и свободного времени. Гайто подумывал о том, чтобы стать шофером. Задача оказалась непростой, но решаемой.

Прежде всего необходимо было изучить устройство

автомобиля и научиться водить машину. Однако предстояло выполнить еще несколько формальных требований — получить «розовую карту», то есть разрешение на управление автомобилем на территории Франции. Такое разрешение выдавали на специальных шоферских курсах. Только после их окончания можно было наниматься в один из таксопарков. Все это требовало времени и денег, которые Гайто стал понемногу откладывать из скудной зарплаты.

Помимо практических соображений Гайто удерживала на заводе приятная компания: там он встретил нескольких старых знакомых из Харькова и завел новых приятелей, по большей части из офицеров. А однажды к ним в цех зашел человек с кавказскими чертами лица и прекрасным русским произношением, без южного говорка, к которому Гайто уже привык. Человек этот, принесший сверла, оказался осетином по имени Александр Сикоев. Гайто довольно быстро с ним сошелся. Александр рассказал Гайто о тех осетинах, что уже осели в Париже, и познакомил его с братьями Тибиловами, Иосифом Аликовым, а те в свою очередь, услышав фамилию Газданов, тут же вспомнили про балерину Аврору. Гайто потерял ее след после отъезда в Болгарию. Оказалось, что она тоже перебралась из Константинополя в Париж и иногда выступала с концертами.

Так спустя три года Гайто снова увидел родные лица и стал с радостью навещать по выходным сестру и ее мужа. Однако родственная идиллия длилась недолго: вскоре Аврора заболела чахоткой, прекратила выступления и стала медленно угасать. Ее смерть напомнила Гайто о родных сестрах, которых они с матерью похоронили еще до Гражданской войны, но здесь, на чужбине, утрата казалась непереносимой. Он потерял единственное родное существо, одним своим присутствием создававшее иллюзию человеческих связей, не зависящих от обстоятельств. Он долго не мог избавиться от чувства вины и бессилия перед этой нелепой смертью. Ни в чем не мог он найти успокоения. За последние десять лет это была первая смерть, которая ранила его настолько, что никакие повседневные заботы не позволяли ему отвлечься от воспоминаний о странном прозрачном цвете кожи на лице сестры в тот день, когда он покинул ее на рассвете за несколько дней до смерти. Каждое утро он подходил к сверлильному станку, но вместо резкого металлического звука ему слышался даже не шепот, а шелест ее губ и слабые вздохи. Единственное, что помогало ненадолго забыть ее обреченный взгляд, были отвлеченные размышления, которые существовали безотносительно тех событий, которые сопровождали Гайто последние дни. Мысли о море и расстоянии,

отделяющем одни части суши от других, уносили его далеко от Парижа и грустных судеб его обитателей.

Как-то вечером Гайто попытался поместить в рассказ свои воображаемые перемещения в водяном пространстве. Он так увлекся, что, казалось, совсем забыл о дешевой, грязной гостинице, где он сидит за старым скрипучим столом, о рабочем квартале, в котором находится эта гостиница, и об огромном городе, к которому примыкает этот рабочий квартал. Мысли его плыли по волнам, которые он пытался воспроизвести на бумаге, и еще немного усилий оставалось ему, чтобы воплотить свое плавание прямо на тетрадном листе, как звук хлынувшей воды из ведра, которое опрокинула соседская девчонка в коридоре, прервал наваждение. Гайто вздрогнул, перечитал написанный текст и выбросил его в корзину. Прелесть слов исчезла вместе с грохотом ведра, не было в них того завораживающего ритма, который стучал в ушах Гайто, пока он исписывал одну за одной желтые страницы дешевой тетрадки.

На следующий день Гайто принялся за рассказ, новый который назвал «Водяная тюрьма». Рассказ был мрачен, тяжел, и место его действия было все в той же гостиницу. Но он запомнил свое состояние в тот момент, когда записывал предыдущий рассказ, и очень надеялся пережить его вновь. Поэтому Гайто стал садиться за письменный стол почти каждый вечер. Занятия литературой на время отвлекли его от тягостных воспоминаний, но по-настоящему преодолеть ужас смерти Авроры он смог только тогда, когда изложил все события тех дней в рассказе «Гавайские гитары»:

«В то время сестра моя была тяжело больна и никакой надежды на ее выздоровление не оставалось. Случилось так, что ее муж уехал за границу на две недели, а я остался ухаживать за ней. Обыкновенно я сидел недалеко от ее кровати и рассказывал ей все, что мне приходило в голову. Она не отвечала мне, потому что ей было очень трудно говорить и одна сказанная фраза необычайно утомляла ее — как меня не утомили бы много часов изнурительной физической работы. Только глаза ее приобрели необыкновенную выразительность, и мне было страшно и стыдно в них смотреть, так как я видел, что она понимала, что умрет, и знала, что я это понимал…»

К тому времени Гайто написал уже около десятка рассказов, некоторые из них были опубликованы, но показать их сестре он не успел. Она умерла чуть раньше, чем из Праги ему прислали журнал с его именем в оглавлении.

НАЧАЛО

…и, очнувшись от забытья, прошедшего бесплодно для моей жизни, я открыл глаза и увидел, что живу в Париже: Сена, и мосты, и Елисейские поля, и площадь Согласия; и тот мир, в котором я жил раньше, зашумел и скрылся: стелются в воздухе призрачные облака, и стучат колеса, гудят шмели, играют музыканты, — а я стою почти без сознания и ищу свою кровать, книжки и учебник по арифметике, — и опять просыпаюсь и иду пить кофе; Сена, Елисейские поля: Париж.

Гайто Газданов. Превращение

1

В первые два года жизни в Париже Гайто почти ничего не писал, точнее, не записывал. Мысленно он сочинял постоянно. Склонность к этому появилась еще в детстве, но за годы странствий, с бесконечной сменой попутчиков и пейзажей, сочинительство стало его естественным состоянием, стержнем, позволяющим сохранить свою сущность. Кем только он не был за последние годы: солдатом, гимназистом, грузчиком, слесарем, бродягой, — и все, что напоминало ему о самом себе, — это были его память и взгляд на мир. Так, закрыв глаза, он начинал переплетать свои ощущения из прошлого с ощущениями настоящего и создавал тексты, которые не было ни сил, ни времени воспроизвести на бумаге. Он очень долго носил их в своей голове, пока наконец не понял: сочинительство из спасительного состояния превратилось в бремя, которое требует разрешения.

Хотелось сесть за письменный стол и поскорее избавиться от воспоминаний, прочно засевших в голове. После того как он увидел напечатанными некоторые свои непридуманные истории, потребность поделиться ими с кем-нибудь, найти хоть несколько читателей-собеседников возросла с необычайной силой. Слоняясь в выходные от одного кафе к другому, Гайто прислушивался к

разговорам знакомых и незнакомых литераторов, которые обсуждали возможности публикаций и изданий. Суммарный вывод из обрывков услышанных историй сложился в его голове довольно быстро: всякую надежду на достойные литературные заработки нужно оставить как несбыточную, почти неприличную мечту. На Монпарнасе было много ровесников, которые только начинали творить, но в материальном отношении положение молодых писателей было хуже, чем у любой другой «творческой группы», будь то художники, архитекторы, танцоры или музыканты.

Картины Ларионова, Гончаровой, Яковлева, Терешковича, Ланского уже были хорошо известны любителям живописи. Художники быстрее входили в культурную жизнь Франции. Язык красок не нуждался в посредниках. А писатели были связаны со словом, его неповторимой и непереводимой силой, которая часто угасала от прикосновения переводчика и совсем исчезала перед языковым барьером, отделявшим респектабельного французского буржуа, позволяющего себе покупать книжки в дорогом переплете, от харьковского гимназиста, мечтавшего увидеть свое имя на обложке.

Конечно, никто из начинающих сочинителей не стал бы противиться, если бы французские издательства обратили на них внимание и скорее согласились бы на плохой перевод и хорошую критику во французской прессе, нежели на хвалебные отзывы в русских эмигрантских газетах и полное отсутствие возможности издать собственные книги на родном языке. Однако публикация пусть даже в самом дешево издании для большинства молодых «монпарнасцев» оставалась несбыточной мечтой. Французы переводили только самых известных авторов — Ивана Бунина, Алексея Ремизова, Михаила Осоргина и Марка Алданова, отдавая предпочтение прозе. Несмотря на эту вполне объяснимую особенность вкуса французских издателей, среди русских начинающих литераторов все равно было больше поэтов, чем прозаиков, хотя это было и «непрактично». Пробиться в круг франкоязычных читателей поэту, пишущему на русском языке, было невозможно. Прозаику, при фантастическом везении можно было надеяться на удачный перевод и популярность хоть чуточку приближенную к той, которую имела русская проза XIX столетия в элитарных парижских кругах. Однако среди табачного дыма и кофейного аромата в монпарнасских кафе постоянно звучали новые стихи на родном русском, иногда на плохом и убогом, иногда на блестящем петербургском. Гайто не уставал поражаться тому, с каким упорством рифмовал строчки Вадим Андреев. Сам он не обладал не только подобным даром, но и желанием

попробовать себя в поэзии. Да и в характере его не было ни намека на близость к поэтическому миросозерцанию или к поэтическому образу жизни. Друзья и знакомые посмеивались над ним: «Вы, Гайто Иванович, по натуре прозаик во всех смыслах этого слова». Рано развившиеся в нем ирония и подчас цинизм забивали малейшие ростки восторженности и экзальтированности, которые подогревали энтузиазм молодых монпарнасских поэтов. В поэтических диспутах Гайто участвовал чаще в качестве наблюдателя, чем оппонента, все больше укрепляясь в мысли, что поэтом надо быть или гениальным, или вовсе не быть. Вспоминая то время сорок лет спустя, он скажет: «В том поколении, которое сформировалось в эмиграции, было гораздо больше поэтов, чем прозаиков, и были поэты действительно выдающиеся. Это потому, что поэзия — это литература в более чистом виде, чем проза, и которая не требует какой-то бытовой базы; поэтому поэтов было больше, и они были выше по уровню. А с прозой, конечно, дело обстояло более печально».

С возрастом Газданов станет снисходительнее и человечнее в оценках любого творческого усилия, но в двадцатые годы резкость его суждений оттолкнула от него немало тех. кто мог бы быть его союзником, единомышленником или просто другом. И потому в литературу он входил в одиночестве, и к тому же вдалеке от Парижа. Его писательская жизнь началась в Праге.

2

В середине двадцатых годов Прага была виднейшим центром русской эмиграции. Богословские, филологические, литературные объединения гремели на всю Европу. Произошло это во многом благодаря тому, что правительство Чехословакии вписало в бюджет отдельной строкой проект «Русская акция», который подразумевал поддержку образования, печатных органов и другой культурно-просветительской деятельности русских эмигрантов. Руководство Чехословакии щедро раздавало в гимназиях и университетах стипендии русским учащимся и студентам. В интеллектуальной среде этой страны существовало и врожденное чувство единства славянской культуры. Поэтому не было ничего удивительного в том, что для русских студентов, учившихся в Пражском университете, появился журнал «Своими путями». Деньги были выделены все тем же чехословацким правительством, а сотрудничали в нем учащиеся филологических

и исторических факультетов.

Первый раз Гайто послал в этот журнал сразу несколько рассказов в самые тяжелые для него времена — в период случайных заработков, предшествующих переезду в Бьянкур. Один рассказ — «Гостиница грядущего» — напечатали довольно быстро, но откликов критики не последовало, да и сам Гайто был не очень доволен выбором, который сделал редактор. Рассказ напоминал репортаж из дешевой гостиницы, в которой не раз ночевал сам автор. Этот «репортаж», явно усложненный по композиции и требовавший некоторых интеллектуальных усилий от читателя, выражал чувство Гайто, осознанное им с первых попыток записывания мыслей на бумаге, — текст, который никак не связан с его прошлой жизнью, где нет ни одного близкого ему героя, получается таким же чужим, как вся реальность, которую он пытается в нем описать.

«Я не понимаю вашего фрака, ваших реплик, звучащих анахронизмами, ваших песен на полуварварском языке. Можно подумать, что эти доводы обращены не к обитателю комнаты на пятом этаже в современном городе, а к привидению, явившемуся нарушать покой незащищенного человека. Я решительно предпочитаю парижские рефлекторы медному тазу Дон Кихота и фонари Елисейских Полей — кострам наемных убийц Валленштейна. Я протестую». Так говорил один из героев «Гостиницы грядущего», так ощущал себя среди соседей и сам Гайто.

Следующей публикации пришлось ждать ровно год. Журнал «Своими путями» имел общих сотрудников со «взрослым» изданием — «Воля России». Несколько рассказов Гайто сразу перекочевали к заведующему его литературным отделом Марку Слониму.

В эмигрантской жизни 1920-х — начала 1930-х годов «Воля России» занимала особое место. Это была ежедневная газета, редактируемая эсерами Лебедевым, Зензиновым и Минором. В конце 1921 года партия эсеров стала издавать в Париже «Современные записки», а «Воля России», оставшись в Праге, превратилась в еженедельник. К тому времени, когда в «Воле России» стал печататься Гайто, это уже был солидный толстый ежемесячный журнал. Многие парижские знаменитости чурались «Воли России», считая журнал слишком «левым». Зато те, у кого не складывались отношения с журналами-«парижанами», были чрезвычайно благодарны «пражской отдушине». Огромной поддержкой журнала пользовалась Марина Цветаева, с которой Марк Слоним был особенно дружен и которая с трудом печаталась в Париже. До 1932 года гонорар из «Воли России» был

ее основным писательским заработком. В редакцию, которая находилась в центре Праги возле Угольного рынка, почтальон ежедневно приносил сотни писем из Парижа. Большинство корреспондентов были начинающими авторами.

«Мы охотно помещали произведения Зайцева, Муратова, Осоргина, критические очерки Ходасевича и Шкловского, путевые заметки Андрея Белого, но меня особенно интересовала литературная молодежь. Мы "открыли" Поплавского и Газданова, отводили много места другим парижанам — поэтам и прозаикам — и привлекли к сотрудничеству в журнале таких еще не оперившихся пражан, как А. Эйснер, В. Лебедев, Н. Еленев, В. Федоров, Г. Хохлов и многих других независимо от их политических симпатий», — вспоминал в «Литературном дневнике» Марк Слоним.

Гайто до конца своей жизни испытывал благодарность по отношению к пражскому журналу. Это было место, где его сразу приняли. Во втором номере «Воли России» за 1927 год была опубликована «Повесть о трех неудачах», которая для молодого автора стала подлинной удачей: она стояла вслед за замятинским романом «Мы» и стихами Бориса Пастернака. Публикацию «Повести…» Гайто отмечал как дату рождения Газданова-писателя. С этого времени его фамилия стала появляться в оглавлении «Воли России» более или менее регулярно. С Марком Слонимом Гайто еще знаком не был, только слышал о нем от Вадима Андреева, который к тому времени уже успел побывать в Праге, и редактор журнала оставил о себе самое благоприятное впечатление.

Марка Слонима действительно горячо интересовали начинающие литераторы. И Гайто он запомнил сразу после первой публикации. Слоним обратил внимание на умение молодого автора бережно хранить воспоминания. По одной «Повести о трех неудачах» можно было бы без труда восстановить типичный эмигрантский путь автора: юность на юге России, Гражданская война, бегство в Константинополь, жизнь в военном лагере, прогулки по старому городу, ожидание смерти в нищете. Все постарался вместить туда Гайто. Вспомнил даже про галлиполийских «двенадцать апостолов», их споры у костра и непоколебимое уважение к русскому полководцу: «Прихожу вечером, швейцар удивляется — где, говорит, пропадаете? Я ему сказал независимо: "Бросьте, старик. С генералом Скобелевым, небось, незнакомы?"»

Было в рассказе и упоминание об одном из самых тягостных впечатлений детства: «И во враждебных зрачках окружающих я вижу то злобное пламя, которое испугало меня еще в детстве,

когда я встретил волка в лесу над Камой».

Гайто и сам не понимал, почему, пройдя сквозь ужас и жестокость Гражданской, сквозь голод и тиф Галлиполи, сквозь смрад Сен-Дени, в минуты, когда ему хотелось забытья и покоя, когда он закрывал глаза и представлял себе захватывающие равнинные просторы, заканчивающиеся густо-зеленым лесом на горизонте, когда казалось, он уже чувствовал своей кожей особенное дуновение ветра, который гнала на него далекая лесная чаща, каждый раз в этот самый сладостный миг перед ним возникали знакомые холодные глаза хищника, исполненные злобы. Казалось бы, были в его жизни встречи пострашнее, чем это минутное столкновение, но Гайто никак не удавалось избавиться от навязчивого воспоминания того взгляда и ледяного хрипа, вырывающегося из пасти. Гайто уже знал, что в своих книгах вернется к этому эпизоду столько раз, сколько потребуется, чтобы перестать холодеть при воспоминании о нем. Но тогда ему просто хотелось зафиксировать все, что ценно, дорого, важно, чтобы не пропало ни штриха из картин, оставшихся в его памяти.

Марк Слоним и не пытался понять, что в присланном ему рассказе осталось из общеэмигрантского, а что из глубоко интимного мира Газданова, но почувствовал и пронзительную боль, и сдержанный тон, которым автор этой болью делился.

«Газданов начал с рассказов о Гражданской войне, обративших на себя внимание не только сочетанием иронии и лирики, но и остротой слога и каким-то мажорным, мужественным тоном. Эмоция не переходила у него сентиментальность или слезливость», — писал Слоним о первых рассказах Гайто.

Через шесть номеров Слоним снова ставит «Воли России» его рассказ, и с этого момента имя Газданова на страницах журнала стало появляться примерно раз в полгода. В следующий раз «Рассказы о свободном времени» стояли в оглавлении сразу после Алексея Ремизова. Как и «Повесть о трех неудачах», «Рассказы…» состояли из трех частей. Место действия и время первого рассказа «Бунт» – Харьков времен революции. В «Слабом сердце» он описал историю взаимоотношений офицеров в Константинополе 1921 году. А «Смерть Пингвина» он сочинял уже о Монпарнасе середины 1920-х годов.

«Ты видишь, — говорил я, — вот это здание на другой стороне — это собор Парижской Богоматери. Посмотри на чудовища, слетающие с его карнизов, это даст тебе представление о дьявольски жестокой истории католицизма и о религиозном вдохновении инквизиторов. Немного дальше начинается квартал

Святого Павла, где живет еврейская, польская и русская нищета Парижа. В этом богатом городе много бедных кварталов. В частности, и мы живем не на самой лучшей улице. Но это ничего не значит; нам наплевать на паркетные полы, и ковры, и теплые комнаты, Пингвин. У нас есть традиции искусства и беззаботности, как теплый костюм».

Гайто знал, что под этими словами подпишется любой из его собеседников в «Ротонде», куда он тоже хотел заглянуть вместе с воображаемым Пингвином:

«Мы пришли однажды в "Ротонду", я и маленький китаец-жонглер, мой знакомый. Темные и далекие волны музыки раскачивались над столиками. Я обвел глазами надоевший круг: трубки, сигары, папиросы, кепки, шляпы, котелки».

Знал он, что наступит время, когда он соберется с силами и опишет все, что наблюдал и переживал в «Ротонде» каждый из ее завсегдатаев. Для этого нужен был роман, а роман требовал времени, которого у Гайто становилось все меньше и меньше. Работа на заводе стала мешать ему думать по ночам. Как-то раз, проведя бессонную ночь за столом, исписав мелким почерком десять листов кряду, отработав полную смену у станка, он шел на встречу с приятелем. Шел неторопливо, во-первых, потому что знал — приятель всегда опаздывает, а во-вторых, потому что чувствовал гнетущую сонливость после суток, проведенных на ногах. Он шел, будучи не в состоянии серьезно сосредоточиться на какой-нибудь мысли, и уже жалел, что не отменил назначенную, но, сущности, необязательную встречу, как вдруг резкий скрежет тормозов резанул его ухо, и через секунду он уже лежал на тротуаре. Водитель выскочил из автомобиля и стал кричать по-французски: «Вы что, оглохли?! Я сигналил вам так сильно, как только мог!» Гайто услышал знакомый акцент и ответил по-русски: «Простите, я действительно ничего не слышал». Водитель бросился его ощупывать, но Гайто попросил его не беспокоиться и ехать по своим делам. «Оглох? Нет, тебя давили. Это знак. Ведь ты шел, ни о чем не думая, не размышляя, ничего не слыша. Так можно не услышать голоса собственной судьбы. Надо будет сесть точно в такую же машину, как та, что пыталась меня отбросить на обочину. Обочину чего? Пока улицы, пока только улицы…» Так или примерно так думал Гайто, сидя на тротуаре и глядя в сторону удалявшейся машины. Через несколько минут он заметил, что уже бежит на встречу.

Приятель ждал Гайто с журналом под мышкой. Увидев его, сразу начал с поздравлений — в сдвоенном ноябрьско-декабрьском номере «Воли России» напечатали «Общество восьмерки пик».

Этот рассказ был особенно дорог Гайто. Он писал его с наслаждением, вспоминая последние годы в Харькове и ту лихую компанию, с которой он познакомился в бильярдной незадолго до прихода в город красных. Себя в рассказе он назвал так, как его действительно часто называли в сомнительных заведениях, которые он посещал тайком от матери.

«Следующим членом Общества восьмерки пик стал реалист Молодой. Вася Моргун познакомился с ним в бильярдной, проиграв ему перед этим четырнадцать партий. Он хотел расплатиться фальшивыми бумажками. Но реалист Молодой знал его давно и знал его профессию.

– Товарищ, — сказал Молодой, — ваши деньги действительно хорошо нарисованы. Только вы напрасно думаете, что меня можно дурачить. Я люблю другой сорт бумаги. Заплатите мне настоящими деньгами, или вы оставите здесь вашу шубу и шапку.

Несколько постоянных посетителей, по-видимому, хороших знакомых Молодого, подошли к бильярду и молча остановились. Вася быстро поглядел вокруг себя и понял, что положение безнадежно.

– Такой молодой и так разговаривает, — сказал Вася. — Что вы кушаете за обедом, товарищ?

– Вы мне платите деньги, товарищ Моргун, или потом вы сами будете жалеть.

- А, вы даже знаете мою фамилию? — удивился Вася. – Сколько вам лет, скажите, пожалуйста?

– Скоро пятнадцать, — ответил Молодой.

– Хорошо.

И Вася заплатил проигрыш настоящими деньгами.

– Вы свободны? — спросил он. — Мне надо с вами поговорить.

Они вышли. Вася помолчал, потом закурил и сказа

– Вы читали Шекспира, молодой человек? Или каких-нибудь других авторов? Вы вообще что-нибудь понимаете или вы сильны только в бильярде?

Молодой обиделся.

– Я читал, — сказал он, — Шекспира, Данте и Вольтера. Кроме этого, я читал Фейербаха, Юма, Спинозу, Шопенгауэра и еще нескольких философов, которые мало известны. В последнее время я прочел Ницше, Гюйо, Конта, Спенсера и первые пятьдесят страниц "Критики чистого разума”»

Все это была чистая правда: гимназист Газданов очень любил читать книги по философии и наблюдать за карманниками, фальшивомонетчиками и шулерами. «…то, что я постоянно бывал в обществе воров и вообще людей, находившихся на временной

свободе, от одной тюрьмы до другой, — не имело, казалось бы, особого значения, хотя и тогда уже можно было предполагать, что одинаково неизменная любовь к таким разным вещам, как стихи Бодлера и свирепая драка с какими-то хулиганами, заключает в себе нечто странное», — размышлял Гайто о своем характере времен знакомства с героями «Общества восьмерки пик».

Такой же странной казалась ему теперь собственная трогательная привязанность к харьковскому старику-букинисту, в пыльной лавке которого Гайто подолгу копался в поисках недостающих впечатлений. Однажды на базаре старика обвинили в воровстве, началась драка. Гайто вступился за букиниста и вызвал полицию, после чего дело закончилось миром. Именно тогда старый еврей предсказал ему скорый отъезд: «Не смотрите на меня с улыбкой, мы с вами больше не увидимся». Тогда слова старика показались ему только забавным замечанием и не больше. А теперь с этого предсказания Гайто начал повествование об «Обществе восьмерки пик», с нежной грустью вспоминая малейшие подробности того давнего разговора. Сейчас, совершая длительные прогулки по парижским набережным, Гайто неприятно было вспоминать ту беспечность, с которой он выслушал старика, даже не скрывая улыбки. Он и представить себе не мог, что через несколько лет воспоминания о тех годах станут самой долгожданной весточкой с родины.

Февральского номера «Воли России» за 1928 год Гайто ждал с особенным нетерпением: его рассказ «Товарищ Брак» стоял в оглавлении первым. Ждали этого номера и его друзья — выпуск был посвящен молодым парижским авторам. В нем были стихи Вадима Андреева, Бориса Божнева, Александра Гингера. Было напечатано великолепное стихотворение Бориса Поплавского «Черная мадонна», которое станет «визитной карточкой» поэта.

Владимир Сосинский выступил в журнале со статьей «О читателе, критике и поэте». Это был его ответ на развернувшуюся кампанию против молодой поэзии. Поддерживая авангардистов, он отмечал, что в эмигрантской литературе утрачена роль критика как примиряющего звена между писателем и поэтом. Но Марк Слоним как раз и пытался взять на себя эту примиряющую роль между молодыми поэтами и консервативными читателями. Он не уставал объяснять значение и ценность новой поэзии, стараясь сохранять объективность суждений. Гайто с интересом прочел все, что писали о его друзьях.

В литературном дневнике 1928 года Слоним писал о Вадиме Андрееве: «Андреев очень много работает над стихом, у него прекрасное влечение к сжатости, он избегает "обмана музыки" и презирает легкие эффекты дешевой напевности. Все это очень

хорошо — но в своем стремлении к торжественной значительности он прибегает к отжившему символическому словарю. Он любит важные слова: светозарный, потусторонний, неотступный, неотвратимый».

У Вадима и вправду иногда проскальзывала какая-то напыщенность, казавшаяся Гайто немотивированной, но были у него и строки, которые прочно врезались в память. Особенно нравилось Гайто андреевское «После смерти»:

Кто смертью назовет мое томленье,
И паруса, и ветр, и этот путь,
Исполненный такого вдохновенья,
Что я не в силах прошлого вернуть.

Смысл каждого слова отзывался в душе таким отчетливым и ясным пониманием, которое возможно между людьми с общим прошлым, настоящим и будущим. «Маму мы с собой не возьмем. — Не возьмем…» — эхом отдавались в его памяти слова отца. И снова перед его глазами плыла карта, лежащая на столе отца, шумели волны и скрипели колеса, везущие повозку с дорогим телом. Гайто опять показалось, что тогда вместе с гробом похоронили и его маленькую душу, которая очнулась от смертельного сна много позже, через несколько лет, уже в Харькове.

В то время Гайто писал «Превращение». Его герой Филипп Аполлонович был тяжело ранен и чувствовал сладостное приближение смерти. Однако доктор спас ему жизнь, которая была Филиппу Аполлоновичу отныне не нужна. Нет никакого Филиппа Аполлоновича Герасимова, есть только старик, согнувшийся в ожидании смерти. Когда же наступает настоящая смерть? Можно ли считать то, что происходит, жизнью? Именно это хотел понять Гайто, когда записывал монолог Филиппа Аполлоновича:

«Все, в чем я жил, ушло от меня на миллионы верст; и мне показалось бы нелепой мыслью, что вся эта сутолока эта жизнь с женой и сыном и массой других мелочей может ко мне вернуться. Я был во власти смерти: это лучшая власть, какую я знаю. Вы спрашиваете, почему я состарился?.. Я состарился потому, что я знаю смерть. Я могу поздороваться с ней, как со старым знакомым. Я зову ее по имени, но она не приходит. И почему вы думаете, — презрительно спросил он, — что она женщина? Смерть — мужчина».

Эпиграф к рассказу — строчки из бодлеровского «Плаванья» — нашлись сами собой. Они словно встали на свое место:

Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь!

В который раз Гайто мысленно возвращался к отцу.

3

Литературная жизнь в самом Париже приняла для Гайто форму общественных собраний и дискуссионных встреч. Париж был настоящим русским культурным центром, где собрались люди самых различных политических, религиозных и эстетических воззрений. К середине 1920-х годов среди русской эмиграции образовалось огромное количество комитетов, организаций, собраний и обществ, посещение которых стало настоящей профессией для некоторых. Среди эмигрантов появились «посетители», которые подкармливались на таких вечерах, записываясь то в один союз, то в другой и избегая уплаты членских взносов.

Заседания таких организаций, как Общество друзей еврейской культуры, Союз русских писателей и журналистов, Общество русских студентов для изучения и упрочения славянской культуры, проходили не реже двух раз в месяц, а если прибавить к ним собрания всевозможных землячеств Харьковского, Киевского, Крымского, Ростовского, да еще не забыть благотворительные концерты, то можно было почти каждый вечер рассчитывать если не на бесплатный ужин, то хотя бы на чай с печеньем в приятной обстановке.

Однако образовывались и исчезали организации и сообщества столь стремительно, что не успевал Гайто прочесть о них объявление в газете и собраться посетить очередное собрание, как тут же поступало сообщение, что данный союз переименован и заседание его перенесено на неопределенный срок. Подчас Гайто чувствовал, что у него не хватает сил следить за развитием эмигрантской жизни.

Вот, к примеру, хроника событий общественно-культурной жизни Парижа начала 1925 года:

3 января — театр «Одеон» представляет «Воскресение» Толстого.

4 января — русские скауты, детское утро-концерт.

16 января — вечер Клуба писателей.

23 января — литературно-музыкальный вечер писателя Алексея Ремизова.

14 февраля — открытие Русского театра. Пьеса Найденова «Дети Ванюшина».

16 февраля — вечер К. Бальмонта.

18 февраля — собрание Клуба писателей.

18 февраля — собрание Цеха поэтов.

23 февраля — встреча Сибирского землячества.

25 февраля — Русский театр «Вера Мирцева».

28 февраля — публичное собрание Клуба молодых литераторов.

2 марта – Сорбонна. Лекция проф. Догеля «Развитие науки международного права в русской литературе».

7 марта – торжественное собрание клуба молодых литераторов, посвященное 125-летию Е. А. Баратынского.

8 марта – вечер в честь Д. Мережковского. Концерт

Двадцать восьмого ноября 1926 года в особняке, расположенном в сквере Рапп, состоялось торжественное открытие Клуба русских писателей. Он образовался в Париже как преемник Московского и Берлинского клубов. Его постоянные заседания проходили на улице Виталь. Целью Клуба стало желание старших эмигрантов приобщить к дореволюционной культуре русскую молодежь. Поэтому Клуб устраивал завтраки в Татьянин день для бывших студентов Московского университета, где они могли бы поделиться воспоминаниями о студенческой юности. Для детей устраивались православные рождественские елки, отмечали День лицея. Были и юбилейные ужины для взрослых в честь поэта А.Плещеева, актрисы Е. Рощиной-Инсаровой, писателя И. Бунина. Гайто почти не бывал на этих празднествах, чувствуя себя слишком «старым» для рождественской елки и слишком юным для чествования А. Плещеева. О студенческой скамье в ту пору он только мечтал.

Немало эмигрантов привлекло в 1925 году первое заседание Общества друзей русской книги, которое объединяло библиофилов и библиографов. За первым чаем Михаил Осоргин рассказывал, как в эпоху военного коммунизма в Москве в книжной лавке писателей за прилавком работал Борис Зайцев, Владислав Ходасевич, Николай Бердяев. У Гайто, как известно, с книжной лавкой были связаны иные воспоминания. Слушая

рассказ Осоргина, он вспомнил опять своего старика-букиниста. Именно старая лавка вслед за библиотекой отца стала тем местом, где Гайто проникся магией слов, уносивших его в бесконечные странствия, о которых он столько мечтал в детстве. Поэтому Гайто была понятна и близка любовь к *книге* , сквозившая в рассказах собеседников, поэтому и журнал «Временник», который периодически выпускали друзья русской книги, Гайто читал с интересом.

Как-то раз в середине мая Газданов заглянул на литературный вечер, организованный Союзом галлиполийдев, куда были приглашены Борис Зайцев, Александр Куприн, Саша Черный. Войдя в зал, Гайто сразу же подумал, что напрасно он сюда пришел. Ему не хотелось ни с кем обниматься и никого узнавать. Через некоторое время ощущение отчуждения усилилось.

Никаких доблестных воспоминаний у него галлиполийское сидение не оставило. Вглядываясь в лица именитых писателей, выступавших на вечере, Гайто с грустью подумал, что их устами говорит милое достойное и, к сожалению, безвозвратное прошлое. Прошлое, к которому он не может быть причастным при всем своем желании. За спинами Зайцева, Куприна он чувствовал огромный прочный мир царской России, который не в состоянии уничтожить ни вихри революции, ни бури Гражданской, ни годы эмиграции. У Газданова и у его ровесников такого мира не было; он был разрушен еще до того, как появилась способность что-либо хранить и помнить. Больше к галлиполийцам Гайто не ходил.

Зато адрес по улице Данфер Рошро, 79 (rue Denfert-Rochreau) Гайто запомнил с первого раза и посещал этот дом регулярно. Там собирался Клуб молодых литераторов. Гайто узнал о нем от Вадима Андреева, который за год существования Клуба стал его завсегдатаем и уже привел в него Доду Резникова и Володю Сосинского. Конечно, они не забыли и про Гайто. Помимо уже известных имен — Бориса Зайцева, Георгия Адамовича, Михаила Струве, Георгия Иванова — там выступали и пока малоизвестные литераторы, все больше поэты: Борис Поплавский, Довид Кнут, Ирина Кнорринг, Антонин Ладинский, Семен Луцкий. На заседаниях клуба устраивались диспуты. Юрий Терапиано прочел свое «Слово о "Рождении Богов" Мережковского». Несколько раз обсуждали поэзию Блока. Сосинский не только читал свою новую повесть «Ита Вита», но и устроил настоящую словесную битву, выступив с докладом о новой поэзии «За и против».

Вскоре на литературных вечерах Клуба был образован Союз молодых поэтов и писателей, заседания которого проходили по

этому же адресу. Но Гайто стал активным членом союза только в 1927 году, после того как его стали печатать в Праге. Начиная с 30 апреля, Гайто посещал его собрания регулярно. А в начале ноября он уже публично читал свой рассказ «Общество восьмерки пик», предварительно объявив, что рассказ принят к публикации в ближайшем номере «Воли России».

Журналист Дмитрий Унковский в 1939 году, подводя итоги пятнадцатилетней деятельности Союза молодых поэтов и писателей, писал: «Эта своеобразная организация была вроде особой касты. Большой процент "объединения" — молодежь, немало и людей зрелого возраста. За 15 лет молодые успели даже устареть. Поэты и поэтессы несколько лет подряд заседали в кафе "Грийон" возле бульвара Сен-Жермен, выполнявшего в то время роль огромного книжного рынка, книжные магазины чуть ли не в каждом доме — настоящее царство книги. В кафе "Грийон" имеется подвальный зал, куда не проникает шум с улицы. Там и собирались русские поэты для чтения стихов. Администрация кафе предоставляла этот зал бесплатно с условием обязательной консомации: каждый должен был заказать что-нибудь: чашку кофе, стакан вина, кружку пива. Поэты читали друг другу стихи, выслушивая беспощадную критику, самые откровенные мнения. Не раз на этих собраниях раздавались реплики вроде "Ты ничтожество!", "Ты — бездарность!" или "Ты — гений!"

И это не мешало по окончании собрания ничтожеству и гению вместе дружески выпивать в каком-нибудь бистро на Монпарнасе, куда обязательно перекочевывали на из "Грийона" все участники собрания. Парижские поэты и поэтессы были люди трудящиеся. Состоятельные люди, как, например, Софья Прегель, среди поэтов — единицы. Довид Кнут служил на фирме, развозя на трехколесном велосипеде купленный клиентами товар. Газданов работал ночным таксистом. Станюкович — дневным. Екатерина Бакунина арендовала будку, в которой продавала лотерейные билеты. Терапиано работал в фармацевтической фирме упаковщиком. Софиев мыл стекла в магазинах и домах. Гингер работал инженером на фабрике своего дяди».

Но не только разница в материальном положении и образе жизни влияла на взаимоотношения «старших» и «младших» писателей. Могло показаться, что между ними существовала невидимая граница, переступать которую первые не очень хотели, а вторые не могли. Причин для этого было много, и первая из них та, что у старших и младших писателей было различное отношение к литературному процессу. Как заметил по этому поводу в «Воле России» Марк Слоним, «эмигрантская литература едва ли существует как некое органическое целое, обладающее

внутренним ростом, способное к какому-либо движению. Большинство крупнейших представителей эмигрантской литературы — Бунин, Куприн, Шмелев — принадлежат к поколению, сложившемуся еще в конце прошлого столетия (не говоря уже о Мережковском, Гиппиус, Бальмонте). Важно тут не то, что родились они в 70-е или 80-е годы, а то, что выступили они на литературную арену в девяностых, и к началу нынешнего века были уже сложившимися законченными художниками, занявшими определенное место в русской литературе. Большинство из них не участвовало в литературной борьбе и в литературном развитии последних пятнадцати лет. Они еще перед войной были академиками в буквальном и переносном смысле этого слова».

Нельзя сказать, что со стороны «старших» не было реальных попыток объединения интересов. Одной из них стали заседания «Зеленой лампы» у Мережковских, которые проходили с 1927 по 1940 год каждое воскресенье с четырех до семи вечера. Горячий поклонник таланта Мережковского Юрий Терапиано так описывал историю рождения «Зеленой лампы»:

«Мережковские всегда интересовались новыми людьми.

Если кто-нибудь из еще не известных им молодых выпускал книгу или обращал на себя внимание талантливым выступлением на каком-нибудь собрании, существовал закон, в силу которого новый человек должен был быть представлен на рассмотрение Мережковским. Гиппиус усаживала его подле себя и производила подробный опрос: каковы взгляды на литературу и — самое решающее — как реагирует новый человек на общественные, религиозные и общечеловеческие вопросы. Подобный допрос заставлял смущаться и отвечать невпопад некоторых талантливых, но застенчивых писателей. Случалось, что какой-нибудь находчивый эрудит, поверхностный и безответственный, пожинал лавры на двух-трех воскресеньях. Но Мережковских не так-то легко было провести: через несколько встреч тайное становилось явным и овцы отделялись от козлищ».

По свидетельству Терапиано, Мережковские в 1927 году решили создать нечто вроде «инкубатора идей», род тайного общества, где все были бы между собой в заговоре в отношении важнейших вопросов, чтобы впоследствии перебросить мост в более широкие эмигрантские круги. Вот почему было выбрано название «Зеленая лампа», вызывающее воспоминание о петербургском кружке в начале XIX века, в котором участвовал Пушкин.

Первое заседание «Лампы» состоялось 5 февраля 1927 года в помещении Русского торгово-промышленного союза. Открывал

собрание Владислав Ходасевич. Сообщение, которое он торжественно зачитал на заседании, как и заключительное слово Мережковского «Есть ли цель у поэзии», позже поместили в виде стенографического отчета в журнале «Новый корабль».

В первые годы аудитория «Зеленой лампы» была довольно эмоциональной, что рождало горячие споры. Многие впали у Мережковских в немилость, временную или постоянную, за отношение к «Зеленой лампе». Одним из таких «немилых» стал и Гайто. Однажды Мережковский высказал это вполне определенно:

– Христос завещал нам любить врагов наших. Газданов мне не враг. И я его не люблю!

Гайто платил ему тем же. Он с горечью понимал, что среди «старших» писателей он не находит близких себе людей. Свои эстетические разногласия он сформулировал довольно быстро. Причины личностной неприязни он решится сформулировать много позже. А тогда, покидая «Зеленую лампу», он был убежден, что время все расставит на свои места.

4

Совсем иначе чувствовал себя Гайто на заседаниях «Кочевья» — литературного объединения, созданного Марком Слонимом в 1927 году, когда он перебрался в Париж. Причины, по которым Марк решил оставить Прагу, были прежде всего личные: его девушка Лариса Бучковская была сбита автомобилем, принадлежавшим председателю Совета министров Чехословакии. Полиция пыталась скрыть обстоятельства ее смерти, но Марк пытался придать этому делу огласку. Дело дошло до слушаний в парламенте. История была крайне неприятна: расследование личной трагедии постепенно приобретало политический характер. После тяжких разбирательств Слониму захотелось покинуть Чехословакию, да и отношения у русской эмиграции с прежде дружественным правительством становились натянутыми, что впрямую сказывалось на финансировании. Сначала Слоним бывал в Париже урывками, проводя по три месяца то во Франции, то в Чехословакии. И уже во время своих кратких приездов стал собирать молодых литераторов, сотрудничавших в «Воле России». К 1932 году журнал в Праге закрылся, и Марк окончательно осел в Париже.

Поначалу «вольнороссовцы» собирались на улице Сен Бенуа возле Сен-Жермен, в ресторане Варэ «У маленького Сен-Бенуа».

Про Варэ говорили, что он был не то денщиком, не то лакеем Гийома Аполлинера. В его ресторане бывали и Андре Жид, и Дюгамель, собирались там музыканты и художники, работавшие у Дягилева. Затем решено было «перекочевать» в нижний зал таверны «Дюмениль», которая находилась на Монпарнасе в доме 73. Собрания «Кочевья» стали чрезвычайно популярными, как среди молодых, так и среди маститых литераторов, интересующихся культурой не только русской эмиграции, но и Европы, Америки, Советской России. Желание быть на «передовой» интеллектуального процесса порождало горячие споры, от которых не мог удержаться и сам организатор собраний Слоним:

«На многолюдных собраниях царила полная свобода слова, и ей охотно пользовались ораторы, принадлежавшие к самым различным течениям. Однажды Святополк-Мирский, прославлявший роман Фадеева "Разгром" — роман действительно хороший, хотя и подражательный, — громко заявил, что за несколько его глав готов отдать всего Бунина. Я не выдержал и крикнул: "Дмитрий Петрович! Да вы ведь, вероятно, этого и не думаете, а говорите нарочно, чтобы раздразнить гусей!" Он ухмыльнулся, но промолчал. Этот умный, тонкий и блестящий критик любил поражать своими парадоксами. За его пророчество, что Чехова перестанут читать через десять лет, я назвал его литературным самодуром».

«Кочевье» было одним из немногих эмигрантских объединений, где действительно не «брезговали» советскими писателями, старались относиться к ним непредвзято, обсуждая на заседаниях Владимира Маяковского, Михаила Зощенко, Бориса Пильняка, литературную группу «Перевал». Сюда приходили все, кто хотел уловить направление движения мировой литературы.

Посетители «Кочевья» старались следить за новыми интересными писателями Запада. В бурную дискуссию вылилось обсуждение популярнейшего нашумевшего романа Дейвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерли». Отражение фрейдистских комплексов и откровенность, по мнению некоторых критиков, близкая к порнографии, к бульварному роману, вызывали немало нареканий в адрес англичанина со стороны «умеренных» и восторг со стороны «крайне левых». Большинство сходилось на том, что на русском языке так еще не пишут, но «стоит ли?» — этот вопрос остался открытым. Как только вышел роман Луи Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи», Гайто сразу вызвался сделать доклад об этой удивительной книге французского писателя, которого он сразу почувствовал и принял как своего. Он и не предполагал, что всего через несколько лет

сам напишет роман, который встанет в один ряд с селиновским «Путешествием».

Вместе с тем одной из главных задач «Кочевья» была попытка понять и угадать значение и назначение эмигрантских писателей. Является ли эмигрантская литература самостоятельным древом или засыхающей ветвью в современной литературе? Что в ней осталось от русской классики прошлого столетия, а что она позаимствовала от современных европейцев? Ответы на эти вопросы искали «кочевники», объявляя темы: «Чего мы хотим? В поисках литературных направлений», «Западничество и восточничество в русской литературе», «Спасение или гибель. Влияние русской литературы на эмиграцию».

С первых заседаний Газданов стал одним из активнейших членов объединения. Здесь он читал свои новые произведения. Только его рассказам и работам было посвящено более двадцати собраний. Первое из них состоялось в мае 1928 года, когда Слоним предложил провести закрытое собрание и разобрать те несколько рассказов, которые Гайто уже успел напечатать в «Воле России». Жестко, сурово и хлестко обсуждали его товарищи «Общество восьмерки пик», «Гостиницу грядущего», «Рассказы о потерянном времени». Уже тогда Гайто понял, насколько различны у «кочевников» представления о назначении

Литературы, о критериях художественности. Большинство из них имело похожие судьбы, интеллектуальный багаж и образ жизни, но каждый стремился к своему «идолу». Гайто задумал написать манифест: что есть искусство подлинное и что подделка. Он писал статью во время летнего перерыва в заседаниях общества. В июне вся общественная жизнь Парижа замирала. Те, кто имел хоть немного денег, старались уехать из столицы,

спасаясь от жары и духоты. Для Гайто это был первый год работы таксистом, он только начал выплачивать долг за приобретенный в ренту автомобиль, и потому никаких сбережений на летний отдых у него не оставалось. Стараясь выкроить немного времени между тем часом, когда спадал зной, и ночью, когда ему нужно было садиться за баранку — на закате он выбирался на могилу Мопассана, что неподалеку от Монпарнаса, сидел там часами и сочинял текст, который хотел отчеканить осенью своим собратьям по «Кочевью». Ему было двадцать пять лет, и он уже понимал, что он ищет в литературе, чего ждет от нее и зачем ему нужно писать. В ноябре Газданов читал на заседании «Чувство страха по Гоголю, Мопассану и Эдгару По».

Это была его первая статья, ставшая программной на

ближайшие годы. В ней Газданов утверждал, что подлинным искусством можно считать только то, что являет собой образец искусства фантастического, то есть далекого от мира реальных и определенных понятий. «Искусство фантастического, — полагал Газданов, — возникло после того, как люди, его создавшие, сумели преодолеть сопротивление непосредственного существования в мире раз навсегда определенных понятий, предметов и нормальных человеческих представлений… Для того, чтобы пройти расстояние, отделяющее фантастическое искусство от мира фактической реальности, нужно особенное обострение известных способностей духовного зрения — та болезнь, которую Эдгар По называл болезнью сосредоточенного внимания».

Лишь немногие художники, считал Гайто, в действительности обладают этим зрением, среди них: По, Мопассан, Гоголь, Достоевский.

«Достоевский испытал переживания осужденного на смерть и ужасные эпилептические припадки; Гоголь был снедаем тем беспрерывным духовным недугом, который довел его до безумия; Мопассан, записавший в рассказе "Орля" мысли сумасшедшего, собственно, вел дневник своей же болезни; Эдгар По провел свою жизнь точно в бреду».

Их болезнь, по его мнению, была связана прежде всего с чувством неминуемого приближения смерти. Газданов предполагал, что многие книги остались бы ненаписанными, если бы им не удалось преодолеть свой страх. И именно потому подлинное искусство абсолютно иррационально, что в его основе — предчувствие смертельного ужаса. Таким образом, Гайто, определяя взаимоотношения со смертью, определял свою задачу как художника.

Через год, следующей осенью, он вернулся к этой теме в докладе «Миф о Розанове». Указывая на множество идеологических и эстетических противоречий, связанных с именем прославленного философа, Газданов расценивал творчество Василия Розанова как процесс медленного умирания. И с этой точки зрения, считал Газданов, книги и статьи Розанова — это агония умирающего, к которой неприменимы традиционные критерии последовательности взглядов. Газданов видел заслугу Розанова как художника именно в том, что ему удалось передать ряд эмоциональных колебаний, связанных с умиранием.

Именно в этом ключе рассматривал Гайто свое творчество. Он ощущал себя в положении художника перед лицом смерти, и потому духовное одиночество — неизбежное следствие этого

положения — неотступно преследовало его.

В начале 1930-х Гайто совершает важнейшие шаги на пути преодоления собственной отверженности. Движения, предпринятые, казалось бы, в разных направлениях, — создание текста, за которым последует посвящение в писатели, и вступление в масонскую ложу, — имели не только общую внутреннюю мотивацию; им способствовал один и тот же человек, влияние которого на судьбу Гайто оказалось огромным.

САДОВНИК

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне…

Александр Блок

1

В жизни Гайто Газданова знакомство с Михаилом Андреевичем Осоргиным было самым ценным результатом посещения литературных собраний конца 1920-х годов. Как помним, отношения со «стариками» у него складывались сложные. Но Осоргин — фигура особая. Достаточно лишь заметить, что ни при жизни, ни после кончины о нем никто не мог сказать ни одного дурного слова. Более того, не хотел. Случай для русского литературного зарубежья уникальный, едва ли не единственный.

«Михаил Андреевич тогда выглядел совсем молодым, а было ему, вероятно, уже за пятьдесят. Светлый, с русыми гладкими волосами шведа или помора, это был один немногих русских джентльменов в Париже… Как это объяснить, что среди нас было так мало порядочных людей? Умных и талантливых — хоть отбавляй! Старая Русь, новый Союз, эмиграция переполнена выдающимися личностями. А вот приличных душ мало».

Этот словесный портрет, оставленный Василием Яновским, точно передает облик Осоргина, как он отразился в памяти многоликой эмигрантской общественности. Авторитет Михаила Андреевича был неоспорим.

Однако не только незапятнанная репутация явилась причиной для уважения и интереса со стороны Газданова к Михаилу Осоргину. Изящность — самое точное слово по отношению к Осоргину, найденное Борисом Зайцевым, — наиболее точно отражало ноту, на которой держался Осоргин. Изящный в быту, в человеческих отношениях, в литературной

деятельности, он умудрялся сочетать искренность и деликатность, то есть на практике умел отстаивать свои позиции, не обижая собеседника. Во многих вопросах позиции Осоргина Гайто уже разделял, но душевным качествам у него только учился.

Немаловажную роль сыграло и внимание Осоргина к Газданову; внимание подлинное, без поверхностного покровительства, основанное на душевной близости и понимании. Непостижимую благожелательность встретил Гайто со стороны человека, чьи грани жизни и характера узнавал на протяжении десяти с лишним лет знакомства.

Михаил Андреевич Осоргин родился в Перми, осенью 1878 года. Фамилия отца его, кстати, была Ильин — фамилия простая, словно прячущаяся среди многих таких русских фамилий. Позже обстоятельства заставят писателя сменить родовую фамилию на псевдоним Осоргин.

Юридический факультет Московского университета, адвокатская практика, партийные рефераты. Активное членство в партии эсеров и участие в революции 1905 года приведут Осоргина в тюрьму. После шести месяцев одиночки, выпущенный под денежный залог, он вынужден был эмигрировать – путешествие на запад, в Италию, вместо путешествия на Восток – тема его, быть может, лучшей книги «Времена».

В 1916 году он возвращается в Россию — уже иную, совсем не похожую на Россию десятилетней давности. Тот же путь – через Финляндию проделают и иные, вернувшиеся из долгой отлучки, люди, чтобы переустроить русский мир. Осоргин с восторгом встретил это переустройство в 1917-м, а в 1921-м эти же люди в лице власти приговорили его как КР – контрреволюционера — к высшей мере наказания. Спасло его лишь заступничество известного полярного исследователя Фритьофа Нансена, и расстрел был заменен ссылкой в Казань.

Весной 1922 года Осоргину было разрешено вернуться в Москву. Увидев однажды возле своего дома машину с чекистами, скрылся, несколько дней провел в больнице, но, не видя выхода, сам отправился на Лубянку. Там ему был объявлен приговор: высылка с обязательством покинуть пределы РСФСР в течение недели, а в случае невыполнения — высшая мера наказания. Высылали на три года, на больший срок не полагалось, но с устным разъяснением: «То есть навсегда». На прощанье следователь предложил в очередной раз заполнить очередную анкету. На первый ее вопрос: «Как вы относитесь к Советской власти?» — Осоргин ответил: «С удивлением», как писал он во «Временах» — своем автобиографическом повествовании. Там же

Осоргин заметил: «Следователя, которому было поручено дело о высылке представителей интеллигенции, который всех нас допрашивал о всяком вздоре, кто-то спросил: "Каковы мотивы вашей высылки?" Он откровенно и мило ответил: "А черт их знает…"»… И 30 сентября 1922 года среди более трех десятков «внутренних эмигрантов» — философов, богословов, писателей, историков — Осоргин был выслан из Советской России навсегда.

Итак – опорные точки. Два отъезда, две войны, жизнь, уместившаяся между 1878 годом и годом 1942-м, когда он ляжет во французскую землю.

Осоргинские «Времена» и есть рассказ об этой жизни, увиденный с этих опорных точек. Автор писал: «Вообще не буду рассказывать — мне хочется рождать образы прошлого, дав им полную свободу. Мы живем в последовательности дней, месяцев и годов; но, оглядываясь на прошлое, мы видим путаницу событий, толпу людей, нагромождение сроков и дат. В бывшем есть реальное и есть кажущееся, прежде важное стало ничтожным, маленький случай вырос в Гималаи, легкий мотивчик песни запомнился в укор стершейся в памяти симфонии. В воображении я ищу друга, тех времен, молодого и полного надежд, и он, потирая старческую поясницу, досадливо кивает мне издали на друзей позднейших, давно заменивших его: я ищу женщин, но их карточки выцвели, съеденные солнцем и временем, и даже от прежних икон остались только потухшие лампадки с плавающими в деревянном масле мухами. Есть счастливцы, прожившие весь свой век в одном доме, в одной квартире, все в тех же комнатах, стены которых дышат их дыханием и привычно отражают звуки их слов; их письменные столы, регистраторы, ящики их комодов, кладовые наполнены прекрасной рухлядью вещественных доказательств их быта. Другим удается по всему свету таскать за собой огромный, по углам лоснящийся кожаный чемодан с наклейками гостиниц, таможен, с царапинами сотни вагонных полок и багажный складов,— чемодан, вмещающий самое ценное, ветхое и новое; трогательную собственность».

Задолго до фултоновской речи Черчилля [7] Осоргин говорит: «Здесь я опускаю железный занавес».

Книга прерывается на моменте отъезда, прощания с той жизнью, в которую уехавшие никогда не вернутся.

Однако есть и иная, тайная жизнь, не рассказанная в книге. Это особый мир левобережного Парижа, ставший несколько десятилетий спустя колыбелью студенческих волнений 1968 года. Призрачен мир этой части города — старое и новое мешаются, масон идет рука об руку с философом, хасид соседствует с

убежденным католиком. Но к этой стороне жизни Осоргина мы вернемся позже, лишь заметим, что влияние, которое оказал Осоргин на свой круг русского Парижа, огромно. Оно так же загадочно, как тайные доктрины.

Он возделывал свой сад — в переносном и прямом смыслах. Растил сад на парижском пустыре.

2

Банальности вроде «дети — цветы жизни» не рождались в сознании Осоргина, но относился он к юным дарованиям именно как к хрупким и нежным растениям, которых надо подпитывать любовью. По отношению к ним он был наблюдателен, проницателен, великодушен и терпелив.

С целью практической помощи начинающим литераторам Осоргин затеял в конце 1920-х годов издательство «Новые писатели», в котором должны были печататься малоизвестные авторы. Реальных денег у него на это не было. Благодаря своему непререкаемому авторитету он получал небольшие суммы, которых хватало только на дешевое издание небольшого тиража без выплаты гонорара. Для начинающих прозаиков и это уже было немало. Ибо хорошо было известно, что в целом к концу 1920-х — началу 1930-х годов ситуация с книгоиздательством в эмиграции сложилась неблагополучная.

Тираж зарубежной книги (романа) редко превышал 1000 экземпляров, тогда как по официальным справкам в одном Париже насчитывалось до двадцати тысяч состоятельных и даже богатых русских. А еще через несколько лет средний тираж упал до 300 экземпляров. Издание книг не окупалось — типографские расходы покрывались только 400—450 экземплярами. По большей части книги издавались на средства писателя, в чистый ему убыток.

Но не только авторам было не по карману издать собственную книжку — многие читатели не могли ее купить. Книга в 10—12 печатных листов (160—192 страницы) стоила от 15 до 25 франков (при том, что обходилась она издателю в 4 франка экземпляр, то есть книги продавались в 4—6 раз выше себестоимости).

Спасти русскую эмигрантскую литературу могло только меценатство, но и оно в те годы среди богатых соотечественников в Париже потеряло популярность. Тот, кто обладал большим состоянием, уже успел куда-нибудь вложить свои деньги.

«Король жемчуга» Леонард Розенталь, родом из Владикавказа, переехавший в Париж задолго до революции, к этому времени уже построил для русских детей-сирот приют и политехникум, скупил на Енисейских Полях несколько роскошных кафе и не изъявлял ни малейшего желания поддерживать писателей.

Нефтепромышленник Абрам Осипович Гукасов (Гукасянц) уже издавал газету «Возрождение», что требовало постоянных вложений. Газета платила еще и гонорары своим авторам, среди которых числились такие признанные мастера, как Надежда Тэффи, существовавшая в основном за счет регулярных фельетонов в газете, или Владислав Ходасевич, литературные обзоры которого являлись для него основным источником заработка. Таким образом, Гукасов внес свою лепту в поддержание отечественной словесности, а вопрос с литературной молодежью считал вне своей компетенции.

Нефтепромышленник — миллионер Степан Григорьевич Лианозов время от времени выплачивал разовые денежные премии литераторам. Но в издательские дела мало кто хотел влезать — ненадежно, да и нерентабельно.

И когда Осоргин затевал новое дело, он, конечно, обо всем знал и на коммерческий успех особых надежд не возлагал. Но все же он попытался сделать все возможное и в 1929 году выпустил две книги — «Мальчики и девочки» Ивана Болдырева и «Колесо» Василия Яновского.

«В 1929 году мне было двадцать три года, — рассказы Яновский, — в моем портфеле уже несколько лет лежала рукопись законченной повести — негде печатать!.. Вдруг в "Последних новостях" появилась заметка о новом издательстве — для поощрения молодых талантов: рукописи посылать М. А. Осоргину, на 11-бис, Сквер Порт-Руаяль.

А через несколько дней я уже сидел в кабинете Осоргин (против тюрьмы Сантэ) и обсуждал судьбу своей книги. “Колесо" ему понравилось. Он только просил его почистить»

Следующей после книги Яновского по плану должна была идти книга Газданова «Вечер у Клэр».

Накануне Гайто читал Осоргину несколько отрывков, и тот, даже не запомнив, как следует, название, сразу оценил будущее произведение по достоинству и предложил Газданову издать роман. Но денег за него не обещал.

И тут появился на горизонте Яков Поволоцкий. Он основал здесь, в Париже, издательство еще в 1910 году и даже открыл отделения в Москве и Петербурге. Во время войны, конечно, было не до русских книг, однако уже в 1919 году издательство

возобновило работу. За последние десять лет дела у Поволоцкого шли не особенно хорошо и для повышения интереса со стороны читателей и главным образом меценатов издательство решило обратить на себя внимание открытием новых талантов. Газданову обещали выплатить серьезный гонорар, и Гайто дрогнул. Он отдал роман Поволоцкому, а Осоргину написал покаянное письмо, в котором просил своего старшего друга простить ему «измену» и объяснял ее затруднительным материальным положением.

Накануне Нового 1930 года консьержка передала Гайто коротенькую записку от Осоргина с просьбой зайти к нему вечером для беседы.

Гайто двигался не спеша, стараясь не поскользнуться на липкой слякоти — в конце декабря в Париже шел снег, превращавшийся в жижу, едва соприкоснувшись с землей. Но не это было главной причиной его неторопливости.

Гайто отправился к Осоргину в состоянии, близком к обморочному. Ситуация, когда его порядочность стояла под сомнением, была для него мучительна. Он никогда не решился бы изменить своему слову, если бы не имел твердого убеждения, что каждый труд должен быть оплачен. Собственно, эту позицию, вместе с извинениями, он и постарался изложить в письме к Осоргину. Но Гайто не был уверен, поймет ли его Михаил Андреевич, и потому ничего кроме тревоги и беспокойства по дороге до дома Осоргиных испытывать не мог, а уж предполагать благоприятных последствий визита не мог тем более.

Осоргин сам открыл дверь и с первых слов был так дружелюбен, что все внутреннее напряжение, которое испытывал Гайто, исчезло мгновенно. Михаил Андреевич поздравил Гайто с выходом замечательной книги, заметив, что с пониманием относится к выбору автором издательства. И сразу без обиняков предложил отправить книгу на отзыв Максиму Горькому. Гайто был несколько ошарашен подобным предложением. Ему показалось сомнительным, чтобы Горький захотел читать книгу неизвестного эмигрантского писателя.

В ответ Осоргин хитро улыбнулся и пожал плечами: «Обычно он читает все, что я ему посылаю».

Газданов шел домой окрыленный, вдыхая парижский воздух, который на несколько мгновений даже показался ему почти таким же зимним и морозным, как в сибирские времена их первого с отцом путешествия. И хотя он прекрасно осознавал иллюзорность своих ощущений, но он был рад самой возможности возникновения каких бы то ни было иллюзий, от которых успел отвыкнуть за десять лет странствий.

И тому, что в эти минуты он ощущал себя избранным, а не просто безликой, анонимной единицей среди сотен тысяч русских вольных или невольных эмигрантов, осевших здесь, – и этой иллюзии он был благодарен в тот чудесный вечер.

Но больше всего он, конечно, был благодарен самому Осоргину. Необъяснимая доброта и деликатность Осоргина вызывали удивление. Если бы Гайто знал тогда Осоргина чуть ближе, удивляться бы ему не пришлось.

О чем же не знал Гайто, возвращаясь домой со Сквер Порт-Руаяль?

Во-первых, он не знал о том, что задолго до покаянного письма Гайто кто-то заранее шепнул Осоргину о продаже «Вечера у Клэр» другому издательству. Во-вторых, он не предполагал, что Михаил Андреевич, не понаслышке знакомый с жестокой нуждой, сразу простил Гайто и потому никакой обиды на молодого автора не держал. И в-третьих, не дожидаясь извинений Гайто и даже не запомнив точного названия его произведения, Осоргин уже заведомо готовил Горького к чтению романа.

8 ноября 1929 года, то есть за полтора месяца до выхода книги, он сообщал Горькому: «У нас тут (точнее — в Берлине) объявился неплохим писателем Сирин; проглядите в последней книге "Современных записок" его "Защиту Лужина". Он же написал роман "Король-дама-валет". И еще я жду немало от Г. Газданова, книжка которого ("Вечера у Кэт") скоро выйдет в "Петрополисе"; автор еще очень молод, студент».

Осоргин считал Горького одной из самых замечательных и несомненных фигур первой трети XX века. «Мимо Горького, — писал Осоргин, — история русской литературы и даже русской революции никоим образом пройти не может». Их взаимная симпатия отражена в переписке, начатой по инициативе Горького. В 1924 году он предложил Осоргину участвовать в журнале «Беседа». Журнал издавался в Берлине, и Горький надеялся на пересылку части тиража в Россию. Тогда же Осоргин, которого никогда не покидало «лирико-психологическое» (как выразился редактор «Современных записок» М. Вишняк) желание вернуться на родину хотя бы пером, выслал Горькому первую часть своего неоконченного «Сивцева Вражка».

Алексей Максимович ответил благожелательным письмом, содержащим подробный анализ текста. «Искренне желаю Вам удачи, — заключал Горький, — и меня сильно волнует Ваше начинание, значимость коего я понимаю».

В тот момент Осоргин очень оценил поддержку профессионала. С тех пор их корреспонденция стала постоянной. Письма по большей части были посвящены литературе.

Обсуждали всех авторов, достойных внимания, — как советских, так и эмигрантских. Общественно-политических тем почти не касались, за исключением одного эпизода в 1926 году, связанного с личностью Дзержинского.

После смерти чекиста советские газеты напечатали некролог «Максим Горький о товарище Дзержинском». Событие это послужило началом разрыва русской эмиграции с Горьким. Эмигрантская печать не стала разбираться в том, что никакого некролога Горький не писал, а текст был взят из его частного письма другу Я. С. Ганецкому, в котором он присоединялся к мнению своей супруги Е. П. Пешковой: «Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его». В ответ на эту публикацию с резкой критикой самой позиции Горького по отношению к главному советскому палачу выступили газеты Парижа, Берлина, Праги. Осоргин же публиковать публичных гневных посланий к писателю не стал, но написал ему личное письмо, в котором изложил свое мнение. На этом их двухлетняя переписка должна была бы прекратиться. Однако и в этой ситуации деликатность Осоргина сыграла свою роль. Тон письма был таков, что ни обиды, ни неприязни оно вызвать не могло.

«Я знаю, — писал Осоргин, — что судить можно только того человека, которого знаешь близко, и что душа человека потемки, и что действующий согласно с голосом совести прав и нравственен даже тогда, когда он душит ребенка и насилует мать, — все это я твердо знаю и проповедую. Знаю также тяжкий путь, пройденный Дзержинским, и его бескорыстие личное. Видал его мало, говорил с ним только раз, и то три слова. Но, Алексей Максимович, – но Марата, Робеспьера и других героев гильотины я только издали и литературно могу почитать людьми и даже героями. В приближении они, конечно, злодеи. Не потому злодеи, что убийцы. Террорист в моих глазах не злодей, но только "красный" террорист, революционный; а "белый", то есть власть имеющий, убивающий от имени и правом государства, равен убийце вульгарному, а впрочем, много его хуже…

Это не политическое мое суждение, а человеческое. Вообще же мне очень досадно, что письмо Ваше опубликовано, — легко объяснимо письмо, написанное друзьям об общем товарище. Лет десять спустя я бы прочел его с большим удовольствием — тогда оно будет нужно. Сейчас оно страшно бьет по нервам матерей, жен, детей и даже взрослых, мужественных людей. Екатерина Павловна пишет: "…любили все, кто знал". Понимаю. Допускаю. Но допускаю для тех, кто знал не менее близко, право глубокой ненависти и вековечного отрицания. Нужно сначала решить, стоит ли счастье поколений капли крови ничтожнейшего из

людей. Идя этим путем, мы возведем в святые всех Александров и Николаев, которые были недурными отцами, симпатичными пьяницами и добрыми полковниками. Впрочем, это и делается.

Вообще же, по-моему, проблемы нравственности не настолько сложны, чтобы заниматься эквилибристикой и оправданием садизма. Франциск Ассизский — понимаю, а остальные — отчаянная литературщина. Ну зачем, скажите, тащить Ленина в рай? Зачем его памяти любовь потомства, эта наивная надстройка? А вот — на моей памяти — Дзержинский со товарищи убил старичка рабочего и Алешу, пасынка Бориса Зайцева. Этим прямой ход в рай, но хотелось бы защитить их от нежелательных там встреч».

Горький не только не обиделся на это письмо, но и продолжал заверять Осоргина в своей дружбе и уже по возвращении в Москву старался поддерживать в нем иллюзии возможных публикаций в России эмигрантских писателей. С этой целью он просил Осоргина информировать его обо всех литературных новинках зарубежья. Была ли позиция Горького откровенным лукавством, или, зная о заветной мечте любого писателя за границей — быть признанным на родине, – он бессознательно пытался облегчить коллегам их изоляцию, об этом не узнает ни Осоргин, ни те, о ком Михаил Андреевич неоднократно Горькому писал. Но, памятуя о благодатном воздействии горьковских отзывов на писательскую душу, Осоргин регулярно высылал в Россию книги, и Горький – надо отдать ему должное — читал их с честным вниманием.

Таким образом, ничего не зная о длинной и драматичной предыстории отношений между двумя мастерами, Гайто не мог предполагать, что давно попал в список, поданный Осоргиным «на благословение» самому значительному, как он считал, из живых русских писателей.

Осоргин послал газдановскую книгу в начале февраля 1930 года и сопроводил ее следующим письмом:

«Вы уже получили, дорогой Алексей Максимович, книжки Болдырева и Яновского. Сейчас Вам послана книга Гайто Газданова "Вечер у Клэр"…

Книга Гайто Газданова (Газданов — осетин, очень культурный паренек, сейчас кончил университет), по-моему, — очень хороша, только кокетлива; это пройдет. Кокетливы "прустовские" приемы, само название. Но на него обратите серьезнейшее внимание, Алексей Максимович. Хорошо бы его в России напечатать — и вполне возможно, не это, так другое. Он по-настоящему даровит. От него я жду больше, чем от Сирина. В числе немногих "подающих надежды" он мне представляется

первым в зарубежье. Умница. Человек скромный, без заносчивости и прилипчивости. Его как-то затирали (ни "Современные записки", ни "Последние новости" не печатали). Правда, его первые рассказы больше говорили об озорстве и "оригинальности", чем о серьезном творчестве. Мне он нравится тем, что умница и очень независимый во взглядах своих человек. Его немного боятся и не очень любят.

Мне очень приятно знакомить Вас со здешними "начинающими". А им важен Ваш отзыв и Ваше внимание».

Об этом письме Осоргина Гайто никогда не узнает. С мнением же остальных критиков познакомится весьма подробно — в эти дни имя Газданова появится на страницах литературных разделов всех эмигрантских изданий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОБРЕТЕНИЕ
1929-1939

ВРЕМЯ ТРИУМФА

Пускай и счастие и муки
Свой горький положили след,
Но в страстной буре, в долгой скуке —
Я не утратил прежний свет.

Александр Блок

1

Если бы Гайто спросили, какой год считать в его жизни звездным, вряд ли он смог бы вразумительно ответить на этот вопрос. 1929-й — когда был написан его первый роман? Или следующий 1930-й — когда на него обрушилась слава? Или тот далекий 1917-й — когда он влюбился в Клэр? Или дымный 1919-й — когда он ее покинул? Неизвестно. В эпиграфе к роману, который Гайто выбрал из Пушкина, это время названо так:

Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой…

И это правда. Сквозь множество дат свершилось его превращение в настоящего художника, ибо только в этом случае неразделенная любовь приносит вдохновение, а затем успех. Обычно люди после подобных потрясений ничего, кроме горя и досады, не испытывают. Гайто же предпочел грустную дату — десять лет как он расстался с Клэр — отметить созданием романа. И здесь же, на его страницах, вернуть ее себе, на несколько мгновений ощутив все то, что в действительности являлось недостижимым. Попытка была удачной дважды: герой романа получил взаимность возлюбленной, а его создатель — признание критиков и читателей.

Все, что у Гайто связано с романом «Вечер у Клэр», можно было расценивать как знак судьбы. Начинающий автор за пару

месяцев без мучительных переписываний, редактирований создает филигранный, завораживающий текст, от которого невозможно оторваться, и еще не закончив последней страницы, он уже имеет два предложения от издателей по поводу публикации романа отдельной книгой. Книга, изданная тиражом всего в тысячу экземпляров, немедленно поступает во все русские магазины Европы и дальше — триумф! Ни одного скептического отзыва. Ведущие критики эмиграции сливают свои голоса в один хвалебный хор. В начале 1930 года на книгу откликнулись издания Парижа, Берлина, Праги, Риги. За роман проголосовали Георгий Адамович, Владимир Вейдле, Николай Оцуп, Марк Слоним, Петр Пильский.

Когда через пятьдесят лет вдова Михаила Андреевич Осоргина возьмется редактировать библиографический справочник, посвященный Газданову, и обнаружит в нем длинный перечень хвалебных критических статей на «Вечер у Клэр», она с удивлением воскликнет: «Неужели в те годы произведение молодого писателя могло вызвать такой резонанс?!» Но уж кто меньше всего этого ожидал, так это сам Гайто, с удивлением читающий о себе строки, подписанные фамилиями, некоторые из которых известны еще с дореволюционных времен:

«У Газданова недюжинные литературные и изобразительные способности, он один из самых ярких писателей, выдвинувшихся в эмиграции» (Марк Слоним «Воля России» 1930, № 5/6).

«Вечер у Клэр» позволил Газданову занять едва ли не первое место в ряду молодых писателей» (Михаил Осоргин «Последние новости», 1930, 6 февраля).

«Газданов… как бунинский Арсеньев… пренебрегает фабулой и внешним действием и рассказывает только о своей жизни, не стараясь никакими искусственными приемами вызвать интерес читателя и считая, что жизнь интереснее всякого вымысла. Он прав. Жизнь, действительно, интереснее вымысла. И потому, что Газданов умеет в ней разобраться, его рассказ ни на минуту не становится ни вялым, ни бледным, хотя рассказывает он, в сущности, "ни о чем"… Общее впечатление: очень талантливо, местами очень тонко, хотя еще и не совсем самостоятельно…» (Георгий Адамович «Иллюстрированная Россия», 1930, 22 февраля).

«Как и у Пруста, у молодого русского писателя главное место действия не тот или иной город, не та или иная комната, а душа автора, память его, пытающаяся разыскать в прошлом все, что привело к настоящему, делающая по дороге открытия и сопоставления, достаточно горестные» (Николай Оцуп «Числа», 1930, № 1).

Лучше всех о романе Газданова написал опять-таки Осоргин.

«В первой книге редкий писатель не автобиографичен, — замечал он в своей рецензии, — прежде чем перейти к чистому художественному вымыслу, нужно расквитаться с собственным багажом. Поэтому первая книга не делает писателем, – она может оказаться лишь счастливой случайностью. Но возможности в ней уже даны — и я считаю (охотно рискуя напрасным увлечением), что художественные возможности Гайто Газданова исключительны.

"Вечер у Клэр" — рассказ о жизни юноши, которому ко дням гражданской войны едва исполнилось шестнадцать лет и который, не окончив гимназии, был втянут в водоворот российской смуты, но приключений в книге мало, центр рассказа не в них. Дело в внутренних рассуждениях рассказчика, юноши несколько странного, который "не обладал способностью немедленно реагировать на происходящее" и как бы плыл по течению, пока не выплыл за пределы страны, где способность к этим рассуждениям сложилась. Рассказу придана форма романтическая — введена в него ранняя любовь к полуфранцуженке, привлекательной и пустой Клэр. С "Вечера у Клэр" — вечера полных любовных достижений — начинается рассказ, то есть как бы с конца, так как этот вечер — только повод для воспоминаний о жизни, пока им завершившейся. Самый литературный прием не нов, но он применен здесь с большим искусством. Сюжет рассказа развертывается с особой тонкостью и незаметно увлекает читателя из парижской квартиры Клэр в Россию, на десятилетие обратно, в обстановку детства и отроческих лет героя, в его семью, в среду людей, как будто случайных, в рамки явлений, как будто единичных — но отлично рисующих эпоху и создающих основу настоящего романа.

Клэр появляется на сцене редко, как бы мельком, как лишний штрих жизни, и все-таки она необходима. С большой художественной "простотой" рисует Газданов ряд цельных и оригинальнейших характеров (отец, мать, педагоги, офицеры, солдаты), ко всем подходя не внешне, а с внутренней оценкой, которая крепнет по мере развития мироощущений рассказчика. И в искусном кружеве рассказа незаметно ставятся и не всегда решаются сложнейшие духовные проблемы и жизни, и смерти, и любви, и того неразрешимого узла событий, который мы одинаково можем назвать и судьбой и историей».

Первое время Гайто и самому казалось удивительным, что его глубоко интимные переживания, связанные с детством и юностью в провинции, с дымными днями войны, найдут такой горячий отклик даже со стороны тех столичных особ, в жизни которых

первая любовь давно скрылась за завесой времени, а ужасы Гражданской мелькнули только в окне спального вагона.

Допускал ли Гайто такой поворот событий? Нет. Он всегда думал, что фраза «на следующий день он проснулся знаменитым» есть лишь устаревший штамп, не имеющий отношения ни к реальности вообще, ни к его личной судьбе в частности. Предыдущие десять лет скитаний, судьбы молодых русских прозаиков в эмиграции не позволяли ему надеяться даже на одну треть последующего везения. То, что книгу удалось выпустить лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств, было понятно сразу. Но то, что она вызовет одобрительную реакцию как со стороны литературных «консерваторов», так и со стороны «демократов»… – это было поистине странным. Несмотря на отмеченное всеми влияние модного Пруста, ни один рецензент не умалял достоинств книги и приходил к заключению — талантливая новая проза, по-русски так еще никто не писал.

Одобрение критиков казалось Гайто тем более странным, что он-то знал: общее умозаключение о западной ориентации прозаика Газданова, выведенное из прустовской манеры и образа главной героини, абсолютно ошибочно. Клэр – одно из самых дорогих воспоминаний, оставшихся от России, — он сделал француженкой из «меркантильных» соображений. Так было легче Коле Соседову найти ее в Париже. А Пруст? С Прустом получилось смешно.

Услышав многократно о влиянии Пруста на собственный роман, Гайто твердо решил прочитать все семь романов знаменитого француза. Прежде у него просто не хватало времени, чтобы идти в библиотеку, и денег, чтобы купить собрание сочинений. Он лишь однажды признался, что, работая над «Вечером у Клэр», не читал Пруста. Его признание вызвало столь ироничные улыбки собеседников — кто же в то время не читал Пруста! — что, не желая быть заподозренным в писательском кокетстве, Гайто сразу же обратился к творчеству модного прозаика.

25 февраля 1930 года он специально пошел на встречу русских и французских писателей, посвященную творчеству Марселя Пруста. Докладчиками были француз Ренэ Онерт и Борис Петрович Вышеславцев. Последний, юрист и философ по образованию, уже был приват-доцентом Московского университета, когда Гайто только учился ходить в Петербурге, в доме на Кабинетской улице.

В эмиграции Вышеславцев оказался, как и многие другие ученые, чем-то не угодившие советской власти, в 1922 году. Сейчас ему было за пятьдесят. В Париж он переехал из Берлина

вместе с Религиозно-философской академией, в которой читал лекции в 1922-1924 годах. В Париже его тут же пригласили на должность редактора в издательство YMCA-Press. При этом он нередко разъезжал с лекциями по разным странам.

Говорил Вышеславцев великолепно. Он развивал свою мысль со смакованием логических деталей и вместе с тем превозносил жизнь саму по себе. И вот это жизненное начало он и одобрял в Прусте, вместе с тем отмечая, что русская эмоциональная культура выше западной… Собственно, именно это и было близким Газданову, и он еще больше захотел прочитать Пруста.

Он приобрел все его книги и читал в короткие минуты отдыха за рулем, при свете уличного фонаря, дожидаясь очередного клиента. Дома он читал его лишь перед сном. Большую часть времени Гайто уделял работе над своими сочинениями.

2

Конечно, никто из старших критиков не ощутил бы всей силы авторских переживаний, если бы в романе «Вечер у Клэр» не было главного — рождения нового стиля, который во многом определялся автобиографическим героем-повествователем. Это был причудливый случай, когда герой обязан автору, автор — герою. Чем обязан герой, понятно. Своим рождением. А вот чем был обязан ему автор? С появлением Николая Соседова Газданов как прозаик стал узнаваем. Соседов играл роль хранителя подлинных событий и иллюзорных мечтаний, пережив все, от чего не мог освободить свою память Гайто — смерть отца, расставание с матерью, насмешки Клэр, — и воплотив в жизнь то, чему не суждено было случиться никогда, — обретение любви Клэр в Париже.

Роман начинается с описания нескольких парижских свиданий Клэр и Соседова, которые заканчиваются, как деликатно выразился в своей рецензии Осоргин, «полным любовным достижением» героя. Пытаясь осознать значительность происходящего, Николай мысленно возвращается к событиям десятилетней давности, когда он покинул Клэр, и восстанавливает историю всей своей предыдущей жизни с появления на свет довоенных картин двадцатого года, заканчивающихся моментом отплытия из Крыма.

«Под звон корабельного колокола мы ехали в Константинополь; и уже на пароходе я стал вести иное

существование, в котором все мое внимание было направлено на заботы о моей будущей встрече с Клэр, во Франции, куда я поеду из старинного Стамбула. Тысячи воображаемых положений и разговоров роились у меня в голове, обрываясь и сменяясь другими; но самой прекрасной мыслью была та, что Клэр, от которой я ушел зимней ночью, Клэр, чья тень заслоняет меня, и когда я думаю о ней, все вокруг меня звучит тише и заглушеннее, — что эта Клэр будет принадлежать мне. И опять недостижимое ее тело, еще более невозможное, чем всегда, являлось передо мной на корме парохода, покрытой спящими людьми, оружием и мешками. Но вот небо заволоклось облаками, звезды сделались невидны; и мы плыли в морском сумраке к невидимому городу; воздушные пропасти разверзались за нами; и во влажной тишине этого путешествия изредка звонил колокол — и звук, неизменно нас сопровождавший, только звук колокола соединял в медленной стеклянной своей прозрачности огненные края и воду, отделявшие меня от России, с лепечущим и сбывающимся, с прекрасным сном о Клэр…»

И эта надежда на сбывающийся сон была самым сокровенным из того, что подарил герой своему автору, который на самом деле, как мы знаем, в отличие от повествователя, уплывал в полную неизвестность и навсегда. Николай Соседов рассказал и сохранил все, что хотелось сберечь, и достиг всего, чего хотелось достичь.

Поэтому, как ни приятны были хвалебные отзывы эмигрантских критиков, с большим волнением Гайто ждал реакции тех, кто мог реально оценить автобиографичность и сокровенность его романа. К таким посвященным читателям относился дальний родственник Гайто, известный юрист и публицист, в прошлом городской голова Владикавказа, в настоящем доцент Восточного семинара Берлинского университета — Гаппо Баев. В 1930 году он был едва ли не первым осетином, от которого Гайто получил восторженный отзыв на книгу.

«Мне особенно дорого Ваше внимание, — ответил ему Газданов, — внимание человека, столько знающего и помнящего и для которого то, что я написал в книге, не является пустым звуком и не представляется как результат моей фантазии. Я был рад вашему письму и по той причине, что пишучи по-русски, не зная даже родного языка, я все-таки чистокровный осетин по рождению, и внимание моего почтенного родственника и соотечественника лишний раз подчеркивает мою связь с осетинами и Осетией».

В романе не было ни одного осетинского имени или

названия, так что Гаппо Баев был одним из немногих, кто способен воспринять часть повествования, связанную с Осетией Он узнал и намеки на историю дома на Кабинетской, и на боевого деда Саге. Он помнил и Столовую гору, узкие пыльные дороги Владикавказа, роскошные южные сады, манившие своими душистыми плодами, кудахтанье кур за заборами, отдыхающих в тени от раскаленного солнца собак, лениво поднимающих то одно, то другое ухо, когда проходишь мимо…

После письма Баева Гайто еще раз убедился в том, что его книгу должны увидеть на родине, — там ее читали бы иначе. Но думать об этом всерьез он начинал тогда, когда к хвалебному хору, прославляющему роман, присоединяется еще один чрезвычайно весомый голос. Осоргин вручил Гайто письмо из Сорренто.

«Сердечно благодарю Вас за подарок, за присланную Вами книгу. Прочитал я ее с большим удовольствием, даже — с наслаждением, а это — редко бывает, хотя читаю я не мало.

Вы, разумеется, сами чувствуете, что Вы весьма талантливый человек. К этому я бы добавил, что Вы еще и своеобразно талантливы. Право сказать это я выношу не только из "Вечера у Клэр", а также из рассказов Ваших — из "Гавайских гитар" и др. Но — разрешите старику сказать, что было бы несчастием для искусства и лично для Вас, если б сознание незаурядной Вашей талантливости удовлетворило и опьянило Вас. Вы еще не весь и не совсем "свой", в рассказах Ваших чувствуются влияния, чуждые Вам, — как мне думается. Виртуозность французской литературы, очевидно, смущает Вас и, например, "наивный" конец "Гавайских гитар" кажется сделанным "от разума". Разум — прекрасная и благодетельная сила в науке, технике, но Лев Толстой и многие были разрезаны им, как пилою. Вы кажетесь художником гармоничным, у Вас разум не вторгается в область инстинкта, интуиции там, где Вы говорите от себя. Но он чувствуется везде, где Вы подчиняетесь чужой виртуозности словесной. Будьте проще — Вам будет легче, будете свободней и сильнее.

Заметно также, что Вы рассказываете в определенном направлении — к женщине. Тут, разумеется, действует возраст. Но большой художник говорит в направлении "вообще", куда-то к человеку, который воображается им как интимнейший и умный друг.

Извините мне эти замечания, м.б. не нужные, знакомые Вам. Но каждый раз, когда в мир приходит талантливый человек — чувствуешь тревогу за него, хочется сказать ему нечто "от души". Почти всегда говоришь неуклюже и не очень понятно. А мир — жесток, становится все более жестоким, очевидно, хочет довести

жестокость свою до "высшей точки", чтоб уже освободиться от нее.

Будьте здоровы и очень берегите себя.

Крепко жму руку. А. Пешков.

P.S. У меня был еще экземпляр "Вечера", вчера послал его в Москву, изд. "Федерация". Вы ничего не имеете против? Очень хотелось бы видеть книгу Вашу изданной в Союзе Советов. А. П.».

Доброжелательный отзыв Горького окрыленный Гайто отправил матери во Владикавказ, оставив себе лишь фотокопию на память. Сам же не замедлил с ответом.

«Глубокоуважаемый Алексей Максимович, — пишет он в марте 1930-го, — не знаю, как выразить Вам свою благодарность за Ваше письмо. Признаться, я не думал, что Вы столько читаете и помните, что можете упоминать даже "Гавайские гитары". И когда мне говорил М. Слоним: "О, вы не знаете, Горький все читает" — я думал, что "все" – это значительные новости литературы, но не мелкие рассказы молодых и неизвестных авторов, особенно печатающихся в не распространенном журнале. Я особенно благодарен Вам за сердечность Вашего отзыва, за то, что вы так внимательно прочли мою книгу и за ваши замечания, которые я всегда буду помнить. Многие из них показались мне сначала удивительными — в частности, замечание о том, что рассказ ведется в одном направлении — к женщине — и что это неправильно. Я не понимал этого до сих пор, вернее, не знал — а теперь внезапно почувствовал, насколько это верно.

Очень благодарен Вам за предложение послать книгу в Россию. Я был бы счастлив, если бы она могла выйти там, потому что здесь у нас нет читателей и вообще нет ничего. С другой стороны, как Вы, может быть, увидели это из книги, я не принадлежу к "эмигрантским авторам", я плохо и мало знаю Россию, т.к. уехал оттуда, когда мне было 16 лет, немного больше; но Россия моя родина, и ни на каком другом языке, кроме русского, я не могу и не буду писать.

Вы советуете мне, дорогой Алексей Максимович, не быть увлеченным своей собственной книгой и тем, что я ее написал. Эта опасность для меня не существует. Я вовсе не уверен, что буду вообще писать еще, у меня, к сожалению, нет способности литературного изложения: я думаю, что если бы мне удалось передать свои мысли и чувства в книге, это, может быть, могло бы иметь какой-нибудь интерес; но я начинаю писать и убеждаюсь, что не могу сказать десятой части того, что хочу. Я писал до сих пор просто потому, что очень люблю это, — настолько, что могу работать по 10 часов подряд. Теперь же вообще у меня нет матерьяльной возможности заниматься литературой, я не располагаю своим временем и не могу ни читать, ни писать,

работаю целый день и потом уж совершенно тупею. Раньше, когда я имел возможность учиться — что я делал до сих пор — я мог уделять целые долгие часы литературе; теперь это невозможно — да к тому же я вовсе не уверен в том, что мое "литераторство" может иметь смысл.

А то, что я напечатал только за границей, очень обидно, у меня мать живет во Владикавказе и преподает там иностранные языки, французский и немецкий; я у нее один — ни детей, ни мужа у нее не осталось, они давно умерли. Она знает, что я выпустил роман — а я даже не могу ей послать книгу, так как это или вовсе запрещено, или, во всяком случае, может повлечь за собой неприятности. Я не видел ее 10 лет; и я представляю себе, как она должна огорчаться тем, что не может прочесть мою книгу, которая ей важна не как роман, а как что-то, написанное ее сыном. Кстати, я думаю, что книга моя вряд ли может выйти в России: цензура, по-моему, не пропустит.

Когда я только начинал вести переговоры об опубликовании своего романа, я думал о том, что непременно пошлю Вам книгу, но не укажу адреса, — чтобы Вы не подумали, что я могу преследовать какую-нибудь корыстную цель — хотя бы цель получить Ваш отзыв. Но я только хотел подчеркнуть, что если Вы думаете, что здесь за границей в силу политических причин вся литературная молодежь относится к Вам с оттенком хоть какой бы то ни было враждебности — то я не хотел бы быть причисленным к тупым людям, ослепленным и обиженным собственным несчастьем. И еще поэтому же я особенно думал о том, что не напишу адреса. Но потом я узнал, что Вы постоянно переписываетесь с М. А. Осоргиным — и это все изменило.

Простите меня за несколько сбивчивое письмо. Но помните ли Вы, как Толстой говорит о разнице между тем, когда человек пишет "из головы" и "из сердца"? Я пишу из сердца — и потому у меня так плохо получается.

Я бесконечно благодарен Вам за Ваше письмо. Желаю Вам – Вы достигли всего, о чем может мечтать самый знаменитый писатель, Вас знают во всем мире – желаю Вам только счастья и еще долгой жизни, и я никогда не забуду Вашего необычайно ценного ко мне внимания и Вашего письма».

С этого момента тайные надежды на издание романа в России приобрели для Газданова конкретные основания и повлекли за собой целый ряд иллюзий о возможности возвращения домой.

В начале 1930-х представления о событиях в СССР были еще не настолько определенными, чтобы вопрос «где лучше жить и писать?» решался русскими литераторами однозначно. Это было время рассуждений, подобно тем, что озвучивал приехавший из СССР Исаак Бабель, сидя в парижском кафе: «У меня семья, — жена, дочь, — я люблю их и должен кормить их. Но я не хочу ни в каком случае, чтобы они вернулись в советчину. Они должны жить здесь на свободе. А я? Остаться тоже здесь и стать шофером такси, как героический Гайто Газданов? Но ведь у него нет детей! Возвращаться в нашу пролетарскую революцию? Революция! Ищи-свищи ее!»

Одновременно тот же самый вопрос — где жить и где писать? — задавал себе и сам Гайто. Об этом задумывались и Вадим Андреев, имевший уже две книжки стихов, и Иван Болдырев, автор «Мальчиков и девочек». Да и сам Михаил Андреевич Осоргин не хотел признавать необратимость изоляции. Он долгое время сохранял советское гражданство и даже получал гонорары за переводы пьес, которые шли в СССР. Но в середине 1930-х выплаты прекратились. Горький прокомментировал это так: «Запрещение правительством переводить литгонорары за рубеж касается не только Вас персонально, а имеет общий характер, и, как мне сказали, не может быть отменено». С кончиной Горького оборвется последняя нить, связывающая Осоргина с Россией. Но это будет позже.

А пока он вполне разделял желание молодых авторов утвердиться в России и, как мы знаем, всячески этому способствовал. Впервые обреченность своих замыслов Михаил Андреевич почувствовал после трагической смерти Ивана Болдырева.

В Париж Болдырев приехал много позже других, в конце 20-х. В Советской России он успел до этого окончить среднюю школу и даже несколько лет проучиться на химическом отделении физико-математического факультета Московского университета. И все же что-то у него не заладилось с советской властью, после чего – арест, ссылка в Нарымский край, бегство оттуда, нелегальный переход границы. Парижская жизнь начинается с везения – Михаил Осоргин выпускает его «Мальчиков и девочек».

Однако успеха книга не имела. Повесть Болдырева напоминала советскую книжку какого-то Огнева «Дневник Кости Рябцева». И у того, и у другого речь шла о советской школе, о мальчиках и девочках. Почти так о мальчиках и девочках писала Лидия Чарская лет двадцать пять-тридцать назад и потому это выглядело несколько старомодно.

Отзывы на книгу подействовали на Болдырева удручающе. Гайто был с критиками согласен, но Ивана Андреевича искренне жалел. Его судьба производила на Газданова гнетущее впечатление. Болдырев с трудом переносил парижское одиночество и очень тосковал по матери, оставшейся в России. При встрече на улице окликать его было бесполезно; у Болдырева развивалась глухота. А ведь на жизнь он зарабатывал частными уроками. Как это было возможно, Гайто не понимал.

Обо всем этом он вспоминал, стоя у постели Ивана Болдырева, принявшего огромную дозу веронала. Спасти его уже было нельзя. Знакомая Гайто со времен Гражданской войны свинцовая пленка уже заволакивала глаза умирающего. Взгляд Гайто случайно упал на лежащую у постели книгу: то ли кто-то ее раскрыл, то ли сам Болдырев держал ее в руках незадолго до принятия рокового решения. Роман Осоргина «Свидетель истории» лежал открытым на авторской надписи, видимо, завершавшей какой-то разговор: «Иван Андреевич, и все-таки нужно ехать в Россию. М. Осоргин, 29 апреля 1933 г.».

Внутренне Гайто был согласен с обоими. Для него вопрос стоял именно так: или жить, но в России, или умереть в Париже. Об этом он пишет матери во Владикавказ. Та находит в себе силы ответить сдержанно и мудро: ее саму удивляет, что, несмотря ни на какие тяготы существования, мысль о самоубийстве никогда не посещала ее. Что же касается возвращения в Россию, то она просит его не торопиться.

«Я лично с удовольствием отдала бы жизнь за то, чтобы тебя увидеть, услышать твой голос, посмотреть на тебя, побыть с тобой хотя бы несколько месяцев, — писала мама, — так что “желать”, чтобы я то же чувствовала, что и ты, от свидания нашего – не надо, mais tu ne reviendras que dans un an, n’est ce pas? Pas avant. Все надо обдумать, иметь все необходимое на руках».

Но Гайто настораживала фраза, написанная ею по-французски: «но ты ведь вернешься только через год, не так ли? Не раньше». Мать старалась привлечь его внимание и давала понять, что не все темы можно обсуждать открыто. И Гайто решил дожидаться более определенной ситуации.

В следующем письме мать опять добавляет: «P.S. Обязательно надо иметь письма от А.М. Это непременное условие, Не надо ничего делать опрометчиво, все нужно делать обдуманно и спокойно. Целую крепко. Мама.

P.P.S. Неужели мы свидимся???»

Понимая, что фотокопии старого письма для советских чиновников может быть недостаточно, Гайто пишет в Москву. Напомнив о благожелательном отношении Горького к его

творчеству, Газданов коротко рассказывает о себе, поскольку не рассчитывает, что пожилой писатель помнит все перипетии его жизни: «Сейчас я пишу это письмо с просьбой о содействии. Я хочу вернуться в СССР, и если бы вы нашли возможность оказать мне в этом Вашу поддержку, я был бы Вам глубоко признателен.

Я уехал за границу шестнадцати лет, пробыв перед этим год солдатом белой армии, кончил гимназию в Болгарии, учился четыре года в Сорбонне и занимался литературой в свободное от профессиональной шоферской работы время.

В том случае, если бы Ваш ответ — если у Вас будет время и возможность ответить — оказался положительным, я бы тотчас обратился в консульство и впервые за пятнадцать лет почувствовал, что есть смысл и существования, и литературной работы, которые здесь, в Европе, ненужны и бесполезны».

Вскоре вместо ответа Гайто узнал из газет о кончине Горького. И лишь спустя много лет в архиве Горького будет обнаружен черновик последнего его письма Газданову:

«Желанию Вашему возвратиться на родину — сочувствую и готов помочь Вам, чем могу. Человек Вы даровитый и здесь найдете работу по душе, а в этом скрыта радость жизни».

Увы, этих ободряющих слов Газданов никогда не прочтет. Само письмо Горького исчезло.

Смерть Горького положила конец надеждам на публикации и возвращение писателей в Россию. Гайто еще попытается обратиться в советское консульство с просьбой рассмотреть вопрос о въезде, приложив к документам горьковский отзыв на свой роман. Но ответа не последует. Таким образом, прекрасные инициативы Осоргина не получили продолжения в судьбе Гайто – в 1936 году вопрос о возвращении на Родину будет закрыт. Зато иные осоргинские чаяния в это время нашли куда более успешное воплощение.

БРАТСТВО ВОЛЬНЫХ КАМЕНЩИКОВ

Вступление профана в братство не есть одно из многих его житейских предприятий, а есть полный разрыв с прошлым и начало новой жизни — новое рождение.

А. Мазэ. Независимая ложа «Северные братья»

1

В следующие два года после триумфа «Вечера у Клэр», когда шум вокруг фигуры Газданова стал стихать, в его жизни произошло событие внешне незаметное, однако не менее значительное, чем посвящение в писатели. Он вступил в масонское братство.

Анкетные данные, на которые опирается повествование о судьбе любого человека, — происхождение, образование, военная служба, работа, профессия, семейное положение — с членством в масонской ложе никак не связаны. Никаких формальных последствий вступление в братство не имеет, и потому рассказать о биографии Гайто, не касаясь этого факта, можно. Представить же его образ и характер, обходя молчанием тайную сторону его жизни, нельзя. Впрочем, и осветить ее достаточно полно не представляется возможным. Все подлинное в масонской деятельности остается неуловимым, а те факты, что прежде считались покрытыми завесой таинственности, на поверку оказываются хорошо известными и мало что объясняют в этом загадочном объединении.

Мы не будем затрагивать ни историю возникновения масонского ордена в Европе, ни историю основания лож в России. Мы не будем касаться тем, начинающихся со слова «масонство», далее неизбежно — «… и православие», «… и сионистский заговор», «… и Февральская революция», «… и союз с большевиками». Для удовлетворения такого рода интереса существуют более информированные источники. Мы обратимся лишь к периоду, который был назван летописцами истории франко-русского масонства «сказочной эпохой рю де л'Иветт». Свидетелем этой эпохи и стал Гайто.

При всей таинственности масонских организаций адреса, обозначенные как места собраний братьев, найти в парижском

справочнике было не труднее, чем адрес Английского клуба. Поэтому с середины 1920-х годов словосочетание «улица Иветт дом 29» в сознании русского эмигранта прочно ассоциировалось с тайным братством. Оно было таки же привычным, как для современных москвичей дом Булгакова на Патриарших прудах, — не многие в нем бывали, но с чем он связан, знают все.

Дом на парижской улице Иветт сыграл в судьбе нашего героя не менее значительную роль, чем дядин дом на Кабинетской в Петербурге или дом Пашковых в Харькове. Он стал местом рождения брата Газданова.

В 1917 году русским масонам, имеющим на родине более чем вековые корни, «по техническим причинам» пришлось на время прервать свою деятельность. И только через несколько лет в Париже, придя в себя, вольные братья возобновляют свои собрания.

Среди прочих в Париже в январе 1925 года возобновит свою работу и ложа «Северная звезда», основанная графом Орловым-Давыдовым сразу после революции 1905 года в Петербурге. В 1932 году ее членство, по рекомендации Михаила Осоргина, пополнится братом Газдановым.

Самостоятельной Великой русской ложи не существовало. Были лишь русские отделения Великих лож Франции, и потому, по замечанию Георгия Орлова, автора «Галереи масонских портретов», русское масонство во Франции никогда не было едино. «Были, — пишет он, — русские ложи в Великом Востоке Франции, "пристанище социализма и антиклерикализма". Были в Великой Ложе Франции, где обосновалась большая часть примкнувшей к масонству русской интеллигенции, родовой знати, крупных промышленников. Были и в Великой Национальной Ложе Франции, когда — уже в середине шестидесятых годов — патриархи "угасающего" русского эмигрантского масонства перешли из Великой Ложи в Великую Национальную Ложу… Были и независимые ложи, не входившие ни в одну Великую Ложу, были даже смешанные Ложи, куда был открыт вход женщинам…» [8]

Собирались они в масонских храмах на улице Кадэ и на улице Пюто. Однако через некоторое время русским ложам захотелось иметь свое пристанище, и их выбор остановился на полузаброшенном особняке на улице Иветт.

«В смысле вместительности дом был как раз тем, что нужно, — вспоминал брат Владимир Вяземский, — отличный сад, обширный су-соль (подвал. — О. О.), кухни; весь первый этаж мы превратили в обширную столовую…

На самом верху была огромная, необъятной вышины студия,

которую решено было обратить в храм, но представлялись огромные трудности, чтобы этот храм соорудить. Эта самая чудная, самая курьезная, самая замечательная страница в истории русского зарубежного масонства. В эмиграции, в изгнании, без технических знаний, без денег, мы задались целью сделать то, что сотни лет тому назад делали пионеры-монахи, строившие такие чудеса, как Соловецкий монастырь с одним "посохом и благословением". И мы создали — на диво пораженным посетителям французам – лучшее масонское помещение во Франции… Никогда не забуду брата Кочубея на высоченной лестнице, с огромными ножницами, режущего и вывешивающего дивные синие бархатные занавеси наверху в храме, брата де Витта, нашедшего где-то и устанавливающего чудные две колонны А и Б при входе. Другие рубили эстраду, плато офицеров; ваш покорный слуга в солопете их окрашивал, а по ним братья Сафонов и Добужинский писали соответствующие символы. Другие занимались садом, подвальными помещениями, столовой. Брат Половцов пожертвовал огромное количество книг для библиотеки; создан был винный погреб. С невероятной быстротой все было готово в несколько месяцев, и Иветт наконец открыла дверь блестящим докладом брата Тесленко о старообрядцах — нечего говорить при каком энтузиазме и каком переполнении всех помещений».

Воодушевление, с которым строилась обитель русских масонов, было вполне сопоставимо с вдохновением юных ленинцев, в это же самое время обустраивающих коммуны в Советской России. Однако не случайно автор вспоминает про иных пионеров — «пионеров-монахов». К ним они были ближе, ибо на рю Иветт строили жизнь духовную. И чуть ли не половина русского окружения Гайто хотела быть причастной к этому виду строительства. В отличие от массовой коллективизации, охватившей в то же самое время СССР, «масонизация» русской диаспоры в Париже носила всегда добровольный характер. Никто никого в ложу на аркане, конечно, не тянул, но мода на масонство, безусловно, была, и причин тому было несколько.

Иногда к желанию приобщиться к вольному к вольному братству примешивался откровенно меркантильный характер. Особых финансовых затрат членство не требовало — ежемесячные взносы равнялись 15 франкам, — а польза могла быть существенной. Считалось, что там, где бессильны связи профанские, то есть национальные, денежные, бюрократические и т.д., могут помочь связи братские. Вполне откровенно об этом рассказал в воспоминаниях «Я унес Россию» автор «Ледяного похода», писатель Роман Гуль, вступивший в братство в надежде

выхлопотать визы для семьи брата, желавшего перебраться из Германии во Францию. Гуль обратился за помощью к видному масону Мануилу Маргулиесу.

«Я, вам, конечно, очень сочувствую в вашем трудном положении и хотел бы помочь, — ответил тот. — Но реально помочь я вам могу только своими масонскими связями. Вот вы, например, упомянули имя депутата от Лот-и-Гарони Гастона Мартэн, я его знаю как масона и могу обратиться к нему с просьбой похлопотать о вашем деле в министерстве внутренних дел. Но все это я могу сделать, конечно, если вы вступите членом в нашу ложу. Тогда я могу хлопотать о вас, как о брате.

— Мануил Сергеевич, — сказал я, — скажу вам откровенно, о масонстве я не имею никакого представления. Все, что я о масонстве знаю, это по "Войне и миру" Толстого. Помните, как Пьер Безухов встречается в Торжке, кажется, с большим масоном Баздеевым, и тот вовлекает его в масонство.

— Ну, это старина-матушка! — с улыбкой перебил меня Маргулиес. — Я с вами буду совершенно откровенен, ибо хоть мы и не были знакомы, но я вас знаю как писателя, у нас много общих друзей, отзывающихся о вас очень хорошо. Я состою досточтимым мастером в ложе "Свободная Россия" в "Великом Востоке Франции". Я основал эту ложу. И "Великий Восток Франции" стремится основать как можно больше русских лож как духовный и политический противовес большевизму. Пока у нас только две ложи "Свободная Россия" и "Северная звезда", где досточтимый мастер Николай Дмитриевич Авксентьев, которого вы хорошо знаете. Скажу заранее, чтобы парировать ваше впечатление от описания Толстым ритуала посвящения Пьера Безухова в масоны. Во Франции испокон веку существуют два масонских Посвящения — "Великий Восток Франции" и “Великая ложа Франции”. Между ними есть разница в том, в “Великой Ложе Франции” ритуал гораздо сложнее. Там блюдется “шотландский ритуал”. У нас все это значительно упрощено. Короче скажу, наше объединение больше с политическим, антибольшевистским уклоном. И если вы вступите к нам в ложу, то встретите многих своих знакомых».

Забегая вперед, скажем, что виз для родственников Роман Гуль так и не получил, ибо слухи о масонском всемогуществе оказались сильно преувеличенными. Да и судьбы иных русских братьев подтверждали, что членство в масонской ложе редко кому приносило удачу в делах профанских. А успехи в карьере или финансах были чаще следствием таланта или везения, нежели посвящения в духовное братство.

Да и в литературных делах масонские связи мало что

решали. Пустым славословием на страницах журналов братья не занимались, взглядов своих из соображений корпоративности не меняли, предпочитая сохранять объективность или просто личные пристрастия.

При жизни Осоргина Газданов ни разу не откликнулся на его книги, поскольку при всем уважении к старшему другу он не считал его творчество большим вкладом в литературу, а лгать, льстить он не мог. И если на повесть Алданова «Бельведерский торс» он и написал положительную рецензию, то не потому, что ее автор был масоном, а потому, что считал его замечательным историческим писателем (о чем многократно заявлял в своих статьях уже после смерти Алданова). В то же время, высоко оценивая историческую достоверность его произведений, он признавал, что в отношении писательского мастерства Алданов уступает Алексею Толстому (автору «Петра Первого»).

Что касается творчества самого Газданова, то среди его рецензентов прежде всего бросаются в глаза имена масонов: Марк Слоним, Михаил Осоргин, Георгий Адамович, Антонин Ладинский. Легко заметить, что никто из рецензентов, братьев по ложе, не занимался восхвалением творчества брата Газданова, а подходил к нему с самой строгой меркой.

То есть в действительности оказывалось, кто с чем в братство приходил, тот с тем на Восток Вечный и отправлялся. «И в этом смысле, — признавался Роман Гуль, — мой прыжок оказался совершенно напрасным. Но о "прыжке" я не жалел, ибо встретил много интересных людей».

Действительно, на масонских собраниях встречались люди, которых мирская жизнь обычно друг с другом не сталкивала. На агапах – масонских ужинах – за одним столом вместе с бывшими офицерами, инженерами собирались и бывшие министры вроде Керенского, и настоящие аристократы вроде Вяземского, Шереметева, Орлова-Давыдова, и промышленники вроде Лианозова, и известные деятели культуры вроде Адамовича, Фондаминского, Алданова. Отсюда вполне объяснимы и иные мотивы, скорее психологического характера, побуждавшие русских эмигрантов вступать в масонские ряды. Их довольно просто изложил брат Пьянков в пересказе того же Романа Гуля:

«Все эти разговоры о "братской любви к людям", о "нравственном самоусовершенствовании", "о совокупном познании истины", "О Боге как существе всемогущем, вечном и бесконечном", все это словеса, прикрывающие суетность. Часто человек идет в масонство, чтобы не быть просто обывателем Иваном Ильичом, а стать неким "братом охраняющим входы" или "братом дародателем", и это льстит — чему? Его суетности. Наш

"брат" Н. Н. Евреинов правильно развивает теорию "театрализации жизни", так называемого "театра для себя". "Театр для себя" живет в каждом. И вот, когда Иван Ильич преображается из простого обывателя в "брата, охраняющего своды", он входит уже в какую-то роль. И роль эта ему нравится. Пусть экзистенциально он тот же Иван Ильич Перепелкин, но для себя он уже "брат дародатель" или "брат, охраняющий своды". И какие-то в миру знаменитые люди называют его, простого Ивана Ильича, своим "братом"».

Так или иначе, но благодаря исключительной веротерпимости и широте взглядов масонских лож в конце 1920-х – начале 1930-х в них шли молодые и старые, богатые и бедные, православные и иудеи, атеисты и язычники.

Но, упомянув о причинах вторичных, обратимся к основным, так как именно они побудили нашего героя вступить туда, куда его, презирающего ритуалы и обряды, будь то в церкви или на плацу, не могли бы заставить вступить ни мифические связи, ни желание приобщиться к сильным мира сего. Гайто интересовало масонство как таковое. И первое представление о нем он получил от Осоргина, утверждавшего, что «искусство без символов невозможно, а масонство есть искусство».

Гайто был художник, и потому он был готов прийти в ложу хоть сейчас. Он был уже почти брат. Чтобы пройти формальное посвящение, он последовал за Осоргиным на рю де л'Иветт.

2

Сам Осоргин называл себя приверженцем «осмеянного ордена русских интеллигентных чудаков». Применительно к его судьбе это выражение лишено кокетства. Оно скрывает от профанов намек на вполне конкретное воплощение — многолетний стаж служения масонскому ордену. Осоргин принадлежал к тем людям, которые превыше всего ставили независимость внутреннего мира, полагая это самой высокой нравственной ценностью. Именно эти идеи и привели его в масонство еще во время первой эмиграции до начала мировой войны. В 1914 году он был посвящен в масонство ложе «Venti Settembre» союза «Великой ложи Италии».

Во Франции он присоединился к членам самой многочисленной русской ложи «Северная звезда», которая была подчинена масонскому союзу «Великий Восток Франции». И вскоре занял видное место в ложе.

Вспоминая эту славную деятельность Михаила Осоргина, ставшего в 1938 году досточтимым мастером (одна из высших степеней), известный промышленник и меценат, брат П. Бурышкин писал: «Можно было бы думать, что редкий для эмиграции высокий культурный уровень состава ложи, наличие первоклассных ученых и писателей, с европейской и даже мировой известностью, выдвинут на первое место читанные в ложе доклады и имевшее место их обсуждение, придававшее ложе характер своего рода эмигрантской академии. <…> Но не эта сторона работы останется навсегда запечатленной в сердцах тех, кто был в ее рядах перед войной 1939 года. Та подлинная братская цель, которая соединила в одну семью большинство братьев ложи, будет самым дорогим и самым острым воспоминанием жизни ложи».

Быть может, столь восторженное обобщение несколько идеализировало жизнь ложи и всеобщую братскую любовь, царившую в среде масонов, но в основном характеристика Бурышкина, автора «Истории Досточтимой Ложи Северной Звезды», отражала реальность. Об этом же говорил и сам Михаил Андреевич Осоргин в одном из своих выступлений на заседании ложи: «Масонская работа, какова бы она ни была по ценности, занимает большую часть моей жизни и моих духовных интересов. Все мои личные связи, прежде бывшие, я прервал, оставив только связи с теми, кто мне стал близок по братству. Все, что я пишу, в той или иной мере, явно или тайно, связано с масонскими идеями, как я их понимаю. Если сейчас лишить меня Братства, то у меня останется только жена, которая занята ученой работой по русскому масонству, отчасти в силу моего же влияния. Могу смело сказать, что я пленник Братства Вольных Каменщиков, и вероятно, на весь остаток моей жизни».

Искреннее и трепетное отношение Осоргина к масонской деятельности сыграло не меньшую, а может, и более значительную роль в деле «воспитания новых кадров», чем все его блестящие доклады вместе взятые. В противном случае ни одно из составленных им масонских правил, ни одно из утверждений целей и задач масонства, которые он излагал своим ученикам, не было бы ими услышано.

1. Будем вместе.
2. Будем любить друг друга.
3. Будем говорить о благе свободы.
4. Будем уважать друг друга.
5. Будем устраивать памятные собрания после смерти друг друга.
6. Будем стараться не спорить друг с другом.

7. Будем собираться часто.
8. Платить взносы.
9. Будем не огорчать друг друга.
10. Будем читать доклады на всякие темы.
11. Будем соблюдать ритуалы.
12. Будем хранить тайны.

Эти правила, написанные рукой Михаила Андреевича, втиснутые в расхожие, простые до банальности формулировки, в устах брата Осоргина приобретали особое значение. Их соблюдение вытекало из главной цели масонства, которую Осоргин определял как познание Природы вещей. И теперь Гайто готов был принять и символы — «выраженное в образах наследие вековой мудрости наших предшественников», как называл их Осоргин, и ритуалы — условный язык, служащий оградой от профанского мира. И все, что прежде ему могло показаться детской игрой, — и знаки (прикоснуться правой рукой к левой стороне подбородка — знак молчания), и особые обращения в письмах, и обмены паролями при встречах, и агапы (стол подковой, в середине, то есть на Востоке — мастер; направо — Эксперт, налево – Второй Наблюдатель и Дародатель) — все наполнялось тайным смыслом, поиски которого и привели его в братство.

Но прежде чем пройти обряд посвящения, Гайто предстояло выдержать опрос: ответить, как он понимает, что такое Свобода, Равенство, Братство. Рассказать о своих взглядах на общество, государство, политику, литературу, искусство, мораль, философию, религию, науку. Кандидат в ученики (а статус ученика являлся первой ступенью посвящения) должен был представить свидетельство Префектуры о несудимости.

Опрос Газданов прошел блестяще, что явствует из его дела, которое заводилось на каждого вступающего в масонскую ложу с момента первого собеседования, в котором, как правило, участвовали три человека. Об этом же говорит и тот факт, что еще до официального членства в ложе, то есть до весны 1932 года, по сути он был уже принят в братство. 19 декабря 1931 года Гайто принимал участие в неформальной встрече масонов в одном из кафе на бульваре Монпарнас, где присутствующие оставили свои подписи на книге Жерара де Нерваля «Путешествие на Восток», которую решено было преподнести в качестве свадебного подарка одному из членов ложи «Северная звезда» — Александру (Исааку) Абрамовичу Островскому, женившемуся на Елизавете Моисеевне Кроль, дочери одного из руководящих деятелей масонской ложи. В этом памятном списке имя Газданова стояло вслед за именем Павла Николаевича

Переверзева, бывшего министра юстиции Временного правительства, масона высоких степеней и с большим стажем, а вскоре за его подписью следовали автографы братьев Акима Осиповича и Александра Осиповича Маршаков, членов «Северной звезды» с середины 1920-х годов. Таким образом, он уже был брат.

В масонство он был посвящен 2 июня 1932 года по рекомендации М. А. Осоргина и М. М. Тер-Погосяна. Его друзья В. Андреев и В. Сосинский, пришедшие в ложу чуть раньше, готовились к тому, чтобы принять следующую степень после ученика, — степень подмастерья. Сам Гайто получит ее ровно через год. Но еще будучи учеником, он уже становится активным помощником Осоргина, который был одержим новыми идеями.

По воспоминаниям П. А. Бурышкина, «брат Осоргин занимал место оратора в течение долгого времени и присутствовал на большом числе посвящений. Все его речи, как вообще его выступления, записаны, и собранные вместе дают наглядную картину тех первоначальных наставлений, которые оратор ложи давал вновь вступившим в масонский орден братьям. Своим постоянным общением с молодыми братьями брат Осоргин сделал чрезвычайно много для масонского воспитания и образования братьев».

Масонское воспитание, как и любая инициатива Осоргина, носило конкретный практический характер. Он не просто знакомил молодежь с целями и задачами вольного братства, для нее он решил создать специальную ложу. И в отличие от его мирского начинания – издательства «Новые писатели», – этот замысел оказался более плодотворным и жизнеспособным.

«Он отвергал иерархию и бюрократическую практику обоих французских послушаний как недостойную настоящего идеологически чистого и философски развитого масонства. Поэтому ему казалось необходимым создать сначала небольшую учебную группу братьев, в которой они, в особенности молодые по стажу братья, могли бы познакомиться ближе с символикой и историей масонства в условиях свободного живого обмена мыслей, в обстановке меньшей торжественности и более тесного общения. …Была и надежда на то, что влияние этой учебной группы в ее ложе, матери — "Северная звезда" — скажется на более тесной ее связи с ложами Великой Франции», — писал Георгий Орлов об инициативе Осоргина.

12 ноября 1934 года старшими масонами был подписан акт об учреждении ложи «Северные братья», которая просуществовала до 1939 года.

Несмотря на невозможность для нее, как ложи независимой,

собираться в одном из масонских храмов и на невозможность пользоваться административным аппаратом Великого Востока и Великой Ложи, «Северные братья» вели исключительно интенсивную и регулярную масонскую работу. Они собирались не два раза в месяц, как все ложи, а каждый понедельник и провели около 200 собраний.

Как вспоминал в своем отчете второй руководитель ложи брат Переверзев: «С первых дней беседы вырвались на вольный простор масонских исканий. Надо было о многом долго и жадно поговорить, надо было почувствовать друг друга в живом обмене мыслей, заглянуть поглубже в душу друг к другу, создать тот тесный братский союз, который связывает сердца нелицемерной любовью и дает силы и радость соборной работы».

Общее количество участников было 137 братьев. Одним из них, охваченных «идеальным каменщичеством» — душевным состоянием человека, активно стремящегося к истине и знающего, что истина недостижима, был наш герой.

«В этом блестящем успехе,— вспоминал брат Мазэ, — главнейшая заслуга принадлежит, конечно, основателю и первому руководителю ложи — М. А. Осоргину. В русском масонстве тех времен было немало исключительно блестящих деятелей общественности, представителей русской культуры, блестящих ораторов, но едва ли многим из них удалось бы создать эту совершенно своеобразную и независимую масонскую группу. И объясняется это оригинальным, вдохновенным и неформальным отношением брата Осоргина к Масонству. Он понимал братство Вольных каменщиков как сообщество людей, соединенных силами ищущих истину».

Это понимание передалось Гайто. Он соглашался с Осоргиным в том, что путь к совершенствованию человеческого рода лежит через самоусовершенствование при помощи братского общения с избранными и связанными обещанием такой же над собой работы. Иначе говоря: братство вольных каменщиков, то есть строителей, — это союз нравственной взаимопомощи. К своему членству в этом союзе Гайто относился чрезвычайно серьезно и старался по мере своих возможностей воплощать в жизнь все, что провозглашалось на заседаниях.

Документально зафиксировано его присутствие на заседаниях ложи, начиная с 1932 года и до конца 1960-х годов. Он делал доклады и участвовал в обсуждении докладов других членов ложи. 2 марта 1936 года он выступил с докладом «О юбилеях и безвременности масонства», 6 апреля того же года он сделал доклад «Об опустошенной душе».

Тем не менее ему не все было ясно относительно принципов

построения докладов и их тематики. Н. Н. Берберова, автор книги «Люди и ложи», обнаружила в Парижском архиве письмо Газданова, адресованное Мастеру его ложи, в котором он сетует на то, что братья-масоны его поколения (в том числе и он сам) не могут писать доклады, потому что «совершенно не знают, как их писать и о чем». Дело в том, что масонов старшего поколения становилось все меньше — они уходили на Восток Вечный, утрачивалась преемственность и снижалась мотивация для прихода более молодых людей, что было совсем неудивительно для такого традиционно замкнутого сообщества.

Гайто же остался верен вольному братству до конца своих дней, о чем свидетельствует его многолетний служебный путь в рядах масонов.

Впоследствии Газданов занимал следующие должности (избрание происходило в октябре-ноябре, а вступление в должность — с начала следующего года): оратора — в 1947, 1960 и 1966 годах; судьи — в 1948-м, привратника — в 1953-м, делегата ложи — в 1960-м, 1-го стража (второй по важности пост в ложе) — в 1963—1964 годах, досточтимый мастер (руководитель) ложи «Северная звезда» — в 1961—1962 годах.

Выполнение масонских правил стало неотъемлемой частью его жизни естественно и без внутреннего сопротивления. Он посещал панихиды по отправлявшимся к Вечному Востоку братьям. Он писал некрологи (как правило, они назывались «Памяти ушедших»). И часто эти некрологи являли собой великолепные образцы краткого литературного портрета, содержательного, образного и информативного, как те, что были посвящены М. М. Тер-Погосяну, А. С. Альперину. Память о почивших братьях Гайто будет хранить долгие годы и вспомнит о них позже, работая на радио «Свобода», и посвятит теплые и трогательные передачи М. А. Алданову, М. А. Осоргину, Андреа Каффи. С послевоенных времен сохранились его доклады, посвященные по большей части проблемам литературы:

12 декабря 1946 года — Писатель и коллектив (обсуждение доклада продолжалось и на заседании через две недели – 26 декабря 1946 года);

8 апреля 1948 года — Советская проблема (новый правящий класс);

8 марта 1951 года — Литература социального запада;

10 декабря 1959 года — О Гоголе (на эту же тему Газданов прочитал доклад и в 1961 году, однако точная дата выступления неизвестна в связи с утратой документов);

23 ноября 1961 года — О постановке русских пьес во французских театрах;

1961 год — О Чехове (точная дата не установлена);

12 апреля 1962 года — О книге М. А. Нарицы «Неспетая песня»;

6 июня 1963 года — О литературном творчестве М. А. Алданова (об Алданове Газданов сделал доклад в феврале 1967 года в связи с десятой годовщиной со дня смерти писателя);

28 ноября 1963 года — Посвящение и традиции.

Примерно 1965—1966 годы (точная дата неизвестна) – Роль писателя в современном мире.

А пока в начале 1930-х никто из близких Гайто не знал о его вступлении в ложу. Да и на творчестве это не сразу отразилось. Может быть, лишь добавилось новых красок на палитре жизненных впечатлений, что Гайто считал единственным преимуществом своей неустроенной жизни. Но духовное братство, которое он обрел в ложе, было несомненно более ценным и прочным, чем мнимое «единство взглядов», спонтанно возникавшее и стремительно исчезавшее, во время литературных заседаний на Монпарнасе. Он был согласен с Осоргиным, который не уставал повторять: «Весь смысл жизни — общение с хорошими людьми, союз душ, легкий и свободный». И Гайто Газданов постепенно обретал этот смысл. Несмотря ни на что.

ПЕЧАТНАЯ ЖИЗНЬ. «ЧИСЛА»

>

Все пишут, все печатаются, все издают. Графоманы, скифы, младороссы, скауты, калмыки, монархисты, волчата, Дети Лейтенанта Шмидта, суворинские сыновья, – валяй кто хочешь на Сенькин широкий двор. Толчея, головокружение, полная свобода печати. «Наш путь». «Наша заря». «Наш значок». «Стяг». «Флаг». «Знамя». «Знаменосец». «Вестник хуторян». «Вестник союза русских дворян». «Нация». «Держава». «Русский колокол». «Русский витязь». «Имперская мысль». «Эриванская летопись». Орган калмыцкой группы Хальмак «КовЫль». А о количестве «Огоньков» и говорить не приходится. И так, без перебоя, двадцать пять лет подряд, до «Советского патриота» включительно.

Дон Аминадо

1

Помимо масонской ложи тот же самый 1932 год привел Газданова в Союз русских писателей и журналистов. Имея за плечами множество рассказов и статей, опубликованных в журналах и газетах, и отдельно изданный роман, вступил он туда по праву. К тому времени он не только сам считал себя писателем, он им стал. Правда, вступление в Союз почти не сказалось на его благополучии и уж никоим образом не повлияло на его карьеру.

Союз русских писателей и журналистов существовал почти во всех центрах русского рассеяния: Париже, Берлине, Праге, Белграде, Варшаве. Во главе отделений, как правило, стояли видные фигуры. Парижский Союз возглавлял Павел Милюков,

берлинским руководил Иосиф Гессен. В Праге председателем Союза избрали Василия Немировича-Данченко. В 1928 году было решено провести первый съезд, объединяющий все уже организованные союзы. Местом встречи был назначен Белград.

В Югославии, как и в Чехословакии, существовало неразделимое братство славянских культур, русскую литературу знали и любили. Съезд проходил под покровительством короля Югославии. В честь русских писателей в королевском дворце был устроен торжественный прием. Однако практический результат от съезда был не очень велик. На съезде учредили издательскую комиссию «Русская библиотека», которая выпустила книги Бунина, Куприна, Мережковского, Шмелева, Ремизова, и без того находившие средства на издания, а молодых авторов в этой серии так и не напечатали. Другая серия — «Детская библиотека» была создана с целью воспитания национального духа у русских эмигрантских детей.

Помимо заботы о некоторых профессиональных и юридических интересах своих членов, Союзы активно занимались благотворительностью.

В Париже, где был самый многочисленный союз, каждый год для сбора средств устраивались писательские балы в гостинице «Лютеция». Здесь порой встречались непримиримые политические противники, избегавшие друг друга и видевшиеся только на публичных собраниях и похоронах. Так, на одном из писательских балов редактора «Последних новостей» Павла Николаевича Милюкова и редактора «Возрождения» Петра Бернгардовича Струве, постоянно полемизировавших и в эмиграции лично почти не встречавшихся, в виде особого аттракциона усадили за одной шахматной доской. Струве шахматным искусством почти не владел, но из тактических и дипломатических соображений, дабы не признавать себя побежденным заранее, от поединка отказываться не стал. Несмотря на низкий уровень игроков, взять на себя роль арбитра для поддержки этой благотворительной акции согласился знаменитый гроссмейстер Алексей Алехин. Зрелище, привлекавшее зрителей не спортивным, а скорее психологическим накалом, помогло устроителям внести свой взнос в общую писательскую кассу.

Бессменным секретарем парижского Союза был Владимир Феофилович Зеелер. О нем ходила слава предупредительного и внимательного человека. Газданов, как и большинство тех, кому приходилось получать пособия и ссуды от Союза, никогда не забывал о заботе Зеелера по отношению к молодым писателям. Владимир Феофилович был прекрасно осведомлен о

материальном положении каждого члена Союза и знал, что писательским трудом практически никто себе на жизнь не зарабатывал. Гонорары русских изданий были слишком малы и нерегулярны, а французы не жаловали русских писателей своим вниманием. А если и обращали внимание, то только на тех, чья литературная репутация уже давно состоялась.

Критик и публицист Шарль Ледрэ, испытывая искренний интерес к русской эмиграции, издал в 1935 году книгу «Три русских романиста — Бунин, Куприн и Алданов». Потом он считал, что к ним надо еще присоединить и Ивана Шмелева. Однако молодые оставались вне поля его зрения. А знаменитый парижский литератор Дени Рош, всерьез интересовавшийся русской культурой и немало поездивший по России, вообще отдавал предпочтение классике и старался побольше переводить Чехова и Тургенева.

Постоянным молчанием обходили эмигрантскую литературу и французские книгоиздатели. Так, известное французское издательство Галлимара, в ту пору игравшее роль своеобразного окна на французский книжный рынок, напечатало до 1940 года только троих русских авторов — Алексея Ремизова, Евгения Замятина и Владимира Набокова. После Нобелевской премии они обратили внимание и на Ивана Бунина. Других русских литераторов они знать не хотели. И нашим «монпарно» оставалось смотреть только в сторону эмигрантских изданий.

В 1927 году, отвечая на запрос одного депутата от либералов, министр внутренних дел Франции сообщил, что в Париже выходит 21 издание на русском языке. Цифра сама по себе показалась депутатам внушительной. Среди издательств были названы «Вол», «Возрождение», YMCA-Press, Поволоцкий, Парижская франко-русская печать, «Русская земля», «Родник», «Родина». Однако в отчете министра не было сведений о долговечности и масштабности русскоязычных проектов, и потому благодушная картина, успокоившая депутатов, не имела отношения к реальности. В 1920—1930-е годы издательства, журналы, газеты вырастали как грибы, но и жизнь они имели короткую, грибную. Многие из них закрывались, едва успев напечатать несколько громких авторов, и потому не успевали оказать существенное влияние на литературный процесс в эмиграции. Одним из исключений стало известное нам издательство Поволоцкого. В конце 1920-х и начале 1930-х директор этого издательства благоволил к младоэмигрантам и помимо Гайто Газданова напечатал Владимира Набокова, Ирину Одоевцеву, Вадима Андреева, Ивана Лукаша. Но такого рода удача улыбалась молодым не часто.

Не лучше обстояло дело и с периодической печатью, лишь изредка попадались незнакомые имена на страницах литературных разделов «Возрождения», «Дней», «Современных записок».

В 1928 году по инициативе Георгия Адамовича журнал «Звено» организовал для начинающих литераторов конкурс с целью публикации. В журнале был очень приличный литературный отдел, в котором сотрудничали Владимир Вейдле, Константин Мочульский. Гайто послал туда свои рассказы, но публикации не дождался, о чем даже пожалеть не успел — в том же году журнал закрылся.

Еще короче оказалась жизнь «Верст», которые прожили с 1926 по 1928 год, успев выпустить всего три номера, несмотря на представительный состав: главным редактором был Святополк-Мирский, он пригласил в журнал Ремизова, Цветаеву, Шестова. Несмотря на продекларированное стремление собрать лучшие достижения в эмигрантской советской литературе, в журнале первостепенное внимание уделяли столпам философии и сразу стали печатать Николая Бердяева, Льва Карсавина, Василия Розанова, Николая Федорова, а до молодежи дело опять не дошло. Очевидно, что ей нужен был свой печатный орган. И вот в то время, когда «Воля России» в Праге доживала свои последние дни, Париж облетела радостная весть — выпустили «Числа»!

2

И внешне и по содержанию журнал «Числа» был непохож на другие зарубежные издания. До сих пор его номера, большинство из которых можно найти в библиотеках России и Франции, вместе с запахом хорошей полиграфии хранят тепло и любовь, с которыми работали сотрудники над каждым новым выпуском. Красочные репродукции с любовью проложены тонким белым пергаментом. От хорошей бумаги, красивых шрифтов, широких полей веяло забытым благополучием, Петербургом и роскошью дореволюционного литературно-художественного журнала «Аполлон». За столь изысканный облик недоброжелатели сразу обвинили «Числа» в снобизме.

Однако яркая претенциозная внешность была не единственной особенностью, которая сразу определила значительность «Чисел» в эмигрантской литературе. На тот момент «Числа» были чуть ли не единственным изданием, публично заявившим о своей аполитичности.

«У бездомных, лишенных веры отцов или поколебленных в этой вере, у всех, кто не хочет принять современной жизни такой, как она дается извне, — обостряется желание знать самое простое и главное: цель жизни, смысл смерти. "Числам" хотелось бы говорить главным образом об этом. "Числа" должны, конечно, иметь ясное, недвусмысленное и твердое отношение к тому, что происходит в Советской России. Наша связь с эмиграцией не только в том, что сами мы эмигранты, эта связь — в разделении нами всех ее задач, но в сборнике не будет места политике, чтобы вопросы сегодняшней минуты не заслоняли других вопросов, менее актуальных, но не менее значительных».

Таков был главный пафос манифеста, опубликованного в первом номере 1930 года. Это заявление также вызвало откровенную неприязнь со стороны политически активной общественности, большинство из которой принадлежало, разумеется, к старшему поколению эмиграции. Этому вопросу был даже посвящен один из литературных вечеров, которые проводили «Числа» после выхода каждого номера.

Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, поначалу явно благоволившие к журналу, убеждали редакцию изменить главную линию, однако главный редактор Николай Оцуп вежливо, но твердо продолжал настаивать на заявленной позиции. Его горячо поддерживала молодежь, благодаря чему «Числа» до последних дней сохраняли последовательность в этом отношении: за исключением публикации одной интереснейшей статьи Семена Франка «По ту сторону правого и левого», журнал всегда воздерживался от текущей политики.

Другой очевидной выигрышной особенностью «Чисел» являлся их интерес к несловесным видам искусства — к живописи, скульптуре, музыке и танцу, и даже спорту. Статьи о музыке Артура Лурье, Николая Набокова, Раевского, статьи о балете, написанные Сергеем Лифарем, подробные публикации о живописи — все это составляло отличительную черту «Чисел». В первом же номере выходит блестящая статья Бориса Поплавского «Молодая русская живопись в Париже», где он рассказывает о своих друзьях — молодых живописцах Дмитрии Ланском, Абраме Минчине, Терешковиче, Блюме. Через несколько страниц Поплавский с не меньшим вдохновением, правда уже под псевдонимом Аполлон Безобразов, пишет о боксе, пытаясь показать специфику его эстетики.

Читающая публика была очарована, заинтригована и раздражена. Во всех этих «странностях» сразу улавливалось откровенное стремление вписаться в современный культурный процесс на Западе, ибо язык оставался в этом процессе последним

и непреодолимым барьером. Когда же речь заходила о красках, движениях, нотах и даже кулаках, национальные границы стирались и появлялось ощущение свежести, широты и новизны, которого так не хватало в спертом воздухе замкнутого эмигрантского мира. В отличие от «Верст», «Числа» на деле стремились собрать все лучшее, что родилось в эмиграции за последние годы. Но сделать это можно было только в том случае, если русские авторы и живописцы будут представлены на фоне тех имен, которые уже прочно утвердились на общеевропейском Олимпе, поэтому рядом с репродукциями Минчина, Блюма, театральными костюмами Гончаровой, скульптурами Лифшица были представлены картины Делакруа, Шагала, Вламинка, кадры из русских и американских фильмов.

Впрочем, литературный отдел тоже не желал ограничи ваться только русскими фамилиями. У «Чисел» не б ыло тем, табуированных временем или пространством. Печатались статьи Марины Цветаевой о Гёте, Георгия Федотова о Вергилии. Имена Джойса и Пруста не сходили с красочных страниц журнала. О них писали Сергей Шаршун, Юрий Фельзен, Борис Поплавский как о явлениях мировой культуры, таких же привычных и органичных, как Толстой и Достоевский.

«Что касается литературы, то кажется нам, что Джойс прожигает решительно все, даже Пруст перед ним кажется схематическим и искусственным, хотя, конечно, "Записок из подполья", "Бесов", "Смерти Ивана Ильича" и нескольких других книг не касается это опустошение. Но опустошение это несомненно огромно, ибо легко приложимы к Леопольду Блюму, крещеному еврею, сборщику объявлений слова Франциска Ассизского на смертном одре: "я знаю Иисуса Христа бедного и распятого, что нужды мне до книг"».

Так заканчивал Борис Поплавский свою статью, космополитичный тон которой был не принят среди литераторов старшего поколения, довольно настороженно относившихся к современным западным прозаикам. Впрочем, и в этом вопросе «Числа» сохраняли завидную последовательность. За время своего недолгого существования сборник провел анкетирование по нескольким темам, не преминув продемонстрировать в выборе вопросов и опрашиваемых лиц максимальную широту взглядов. С анкетой о месте Пруста в современной литературе, о месте Ленина в истории, об упадке русской литературы, о современной живописи обращались к литераторам русским и зарубежным, молодым и старым. И такой подход провоцировал обсуждения и подстегивал полемику вокруг журнала. Журнал обвиняли в беспринципности и всеядности одни, и хвалили за широту

взглядов и современное видение мира — другие. Одно было несомненным — благодаря этим качествам «Числа» в течение четырех лет опубликовали максимальное количество молодых имен, чем и заслужили благодарную память не только давно ушедших авторов, но и современных исследователей, ибо некоторые вещи и сейчас можно найти только на его страницах, до сих пор сохранивших цвет своего времени.

3

Когда Гайто держал в руках очередной номер «Чисел», он чувствовал, что душа его приемлет все то, за что ругали журнал недруги. Минусы, которые не уставали отмечать наиболее агрессивно настроенные критики, в глазах Гайто представляешь безусловными плюсами. Отсутствие политики? В условиях затянувшейся эмиграции серьезная политическая окраска казалась уже неуместной. Вопрос собственной партийной принадлежности и прежде не занимал его. Не был он ему интересен и сейчас, когда трезвый скептицизм разума боролся с душой, не покинувшей мечты о возвращении на родину.

Космополитичность в эстетике? Но разве в детстве он делил книжки на отечественные и зарубежные? Нет, он и до сих пор признавал лишь одно разделение — на интересные и скучные. А каково происхождение автора и в какой национальной традиции он работает, казалось ему вопросом второстепенной важности. Родина писателя находится вне области географии, а лишь исключительно в области языка. Гоголя, Мопассана и Селина он любил не за то, что они следовали литературным традициям своей страны, а за то, что они посредством родного языка приблизились к тайне души человеческой. И эта последняя и главная задача оставалась единственно ценной для самого Гайто, в душе которого теперь уже Россия и Франция были неразделимы.

Внешний лоск и претензия на изысканность? Он с улыбкой вспоминал рассуждение любимого Дюма о том, что тонкий, сверкающий белизной чулок, кружевной воротничок, изящная туфелька, красивая ленточка в волосах не превратят уродливую женщину в хорошенькую, но хорошенькую сделают красивой. Гайто был неравнодушен к хорошему переплету, благородной бумаге и всегда предпочитал покупать издания самого лучшего качества, прекрасно понимая, что дорогая кожа и красивый шрифт не превратят пустую безделицу в шедевр, но настоящему

художественному тексту, безусловно, придадут более совершенства и великолепия.

Было у «Чисел» и еще одно немаловажное техническое преимущество перед другими изданиями. Каждый номер поражал своей вместительностью – 250-300 страниц с очень насыщенным и богатым отделом заметок и рецензий, который благодаря двухстолбцовым страницам убористого шрифта умещал материала намного больше, чем казалось на первый взгляд.

Но все это меркло перед значительностью главного обстоятельства – в «Числа» был открыт доступ тем, кто после закрытия «Воли России» лишился возможности печататься. И здесь Гайто был полностью согласен с Георгием Адамовичем, который заметил о журнале: «Самое главное в нем – это, конечно, произведения и авторы, которые для журнала характерны, показательны, которые отчасти и составляют то новое, что “Числа” с собою несут».

«Распущенность прозы» или даже малейшие претензии на новаторство не позволяли молодым авторам публиковаться в консервативных журналах вроде «Современных записок». И как опять-таки заметил по этому же поводу Адамович, «литературный консерватизм — дело почтенное, нужное, в наши дни особенно, но несомненно все-таки вот что: рядом с "Современными записками" нужны были нашей здешней литературе и "Числа"».

По этим и многим другим причинам держать в руках книжки «Чисел» Гайто было почти физически приятно. Хотя частое упоминание его имени на страницах журнала тоже сыграло немаловажную роль. Гайто публиковал в нем свои рассказы, выступал в журнале как рецензент, на его произведения обращали внимание критики, писавшие о современной эмигрантской литературе.

Вскоре Газданова вместе с Набоковым и Фельзеном назвали лучшими прозаиками альманаха. О чем еще было мечтать молодому писателю? Только об одном — о процветании данного издания. А вот с этим как раз были проблемы. Гайто почти ничего не знал о финансовом источнике, питавшем «Числа», знал лишь, что положение альманаха не стабильно.

Первые четыре номера «Чисел» Николай Оцуп редактировал совместно с госпожой И. В. де Манциарли. Судя по тому, что никаких других литературных трудов, кроме путевых очерков об Индии и заметок о Кришнамурти, г-жа Манциарли не имела, ее присутствие в журнале было чисто формальным и связанным с требованием редакции французского журнала Cahier de l'Etoile, который первое время значился издателем «Чисел». Однако через четыре номера имя г-жи Манциарли с обложки исчезло, за ним

стремительно куда-то исчез и французский журнал, и «Числа» продолжали существовать за счет пожертвований частных лиц, которым издатели не забывали выражать благодарность на страницах очередного номера. Теперь деньги на выпуск каждого последующего номера предстояло собирать в индивидуальном порядке. И когда готовый номер отправлялся в типографию, никто не знал точно, выйдет ли следующий и когда. Довольно быстро редакции стало ясно, что на нерегулярные пожертвования хороший дорогой журнал, каким уже зарекомендовали себя «Числа» и к которому успел привыкнуть читатель, Спускать невозможно, и к ужасу постоянных читателей и второе после десятого номера «Числа» были закрыты.

Гайто переживал меньше, чем он сам от себя ожидал. Отчасти потому, что годы в эмиграции уже давно приучили его воспринимать неудачный ход событий как нормальное течение жизни. Отчасти потому, что его уже начали публиковать в «Современных записках», а старенький «рено» все-таки приносил доход, не зависящий от литературных обстоятельств. Тяжелее всех переживал закрытие «Чисел» Борис Поплавский. И это понимали все, кто регулярно читал журнал. Бориса публиковали там чаще других. Дело было даже не в том, что он был признан ведущим поэтом среди молодежи. «Числа» были его местом, где он реализовывал себя в том качестве, каком хотел. Статьи о живописи, музыке, боксе, эстетические манифесты, похожие на истерику, — все это он приносил в «Числа», словно выкрикивая в рупор накопившуюся боль. И вот теперь «литература правды о сегодняшнем дне, — как писал Борис в последнем номере "Чисел", — которая, как вечная музыка голода и счастья, звучит для нас на Монпарнасском бульваре», теперь эта литература смолкла, оставив яркий отзвук в эмигрантском литературном многоголосье. Благодаря «Числам» оказались навсегда связанными в истории эмигрантской печати имена Газданова и Поплавского. В действительности их связывало нечто большее — общая жизнь на Монпарнасе.

НА МОНПАРНАСЕ

Красивое и уродливое, умное и глупое, молчаливое и болтливое, талантливое и бездарное, все сталкивалось здесь в необозримом кавардаке и, сталкиваясь, высекало иногда поразительные и незабываемые искры — вспыхивавшие, секунду жившие и потом бесследно пропадавшие.

Илья Сургучев. Ротонда

1

В маршруте обитателей русского Парижа была одна протоптанная дорожка — на бульвар Монпарнас. Трудно эмигранту миновать это магическое место, а уж если он обладал натурой, хоть сколько-нибудь склонной к занятиям искусством, и вовсе невозможно. Ибо лицо Монпарнаса не имело национальности, а дух его был насыщен огромной творческой энергией. Если открыть наугад любые воспоминания о жизни Парижа 1920—1930-х годов, вряд ли сумеем найти автора, который умолчит о монпарнасской жизни. Да и захочет ли? Несмотря на утверждение Георгия Адамовича о том, что «Монпарнас есть несчастье, часть общего исторического несчастья — эмиграции», для многих «монпарно», как называли постоянных обитателей бульвара, был центром вселенной, со всем ее ужасом и счастьем. Они стремились туда, влекомые неведомой силой, невзирая на инстинкт самосохранения. По-разному сложилась судьба русских посетителей Монпарнаса. Те, кому удавалось оставаться зрителем в ежедневных представлениях, выжили и продолжали существовать по большей части достойно, сменив свои маршруты. Были и те, кто погиб, не сумев выбраться из воронки, в которую затягивал монпарнасский ритм. Вот как описывала его Зинаида Шаховская:

«Невероятно пестра стала моя жизнь и так увлекательна, что я почти не замечала бедности. Жила я в джунглях, в самом центре Монпарнаса, в общежитии рядом с "Ротондой" и "Домом", куда и ходила, как на спектакль, — не участником, а зрителем. Чашка кофе за стойкой или (немного дороже) вечером за столиком — вот и все, что для этого требовалось. Рано утром или после

работы народ подбадривался стаканом вина. Фауна же часов не знала. Тут и англосаксы, и скандинавы, группа испанцев; кто-то говорит: "Вот Пикассо!" А неподалеку Фернадо Баррей, бывшая подруга Пикассо, и Фужита с новой женой, Юки, розово-белой Помоной, рядом с которой еще желтее лицо мулатки Айши, излюбленной модели монпарнасцев, длинный Иван Пуни, грузный Сутин, толстый Паскин, Хемингуэй и Цадкин. Всё есть на Монпарнасе — и наркотики, и стаканы с перламутровым абсентом, и пикон-гренадин, и пьяницы, и проститутки, и мирные буржуа, которые, спустив железные ставни своих лавок, приходят на аперитив».

К таким же зрителям причислял себя Роман Гуль: «Я "одним боком" всегда любил и люблю богему. А "другим боком" — не очень, не чересчур. В качестве классического "монпарно" я не мог бы проводить тут ночи и дни, как проводили многие русские эмигранты — литераторы, художники, актеры. Почему я не мог превратиться в "монпарно"? Да, наверное, потому, что по нутру я человек земский, "толстопятый пензенский", и никак не превратим в эдакую столичную штучку… Помню, однажды сижу я в "Доме", подходит художник Сергей Шаршун, я его знавал по Берлину. "Что, говорит, вы один сидите? Там же, – он показал на дальний угол кафе, – вся литературная братия". Я в шутку говорю: "Не люблю толпы, Сергей Иванович"».

Если бы наш герой на склоне своих лет успел написать мемуары, то мы наверняка прочли бы у него похожие строки. Гайто, подобно «дикому Гулю» (как называл его Иван Пуни), не любил толпы и, подобно Зинаиде Шаховской, ходил на Монпарнас не участником богемы, а зрителем. Он всегда чувствовал себя чужим в этом всеобщем наркотическом опьянении, чем бы оно ни было вызвано — щепоткой кокаина, новыми стихами или общей возбужденностью. Абсенту он предпочитал молоко. Тем не менее он туда ходил, и ходил регулярно. Как мы помним, это было одно из первых мест Парижа, куда он отправился, сбежав из Сен-Дени:

«Дойдя до угла бульваров Распай и Монпарнас, я вспомнил, как по приезде своем в Париж я часто приходил сюда и смотрел на незнакомые, широкие улицы; и оттого, что я не знал, куда они идут и где кончаются, от этого недостатка чисто практических сведений, у меня создавалось такое чувство, точно я стою перед чем-то неизвестным: и сотни различных мыслей о парижских жизнях представлялись мне — в том туманном и чудесном виде, к которому тогда было привычно мое воображение».

Через пять лет в душе Гайто никакого «туманного и чудесного вида» от Монпарнаса и «парижских жизней», которые

он на нем наблюдал, не осталось. В силу своей непреодолимой тяги к здоровому образу жизни, к уюту и благополучию Гайто ощущал если не сожаление, то недоумение при виде молодых людей с налетом бесконечной усталости и болезненности на лицах.

В первые годы жизни в Париже, засиживаясь допоздна в кафе и бистро, Гайто принимал эту атмосферу всеобщего нездоровья за моду, которой почему-то следовало большинство, но которая, как и любая мода, хороша она или плоха, уступает место своей противоположности. На некоторое время Гайто покинул Монпарнас и старался там появляться как можно реже. Не то чтобы он совсем потерял любопытство к лицам и событиям — при всей своей неоднозначности Монпарнас был, бесспорно, нескучным местом, — скорее он потерял желание добавлять в общий хор обладателей неустроенных судеб и свой собственный грустный голос. В те времена, когда он ночевал в метро, ему было неприятно свое соответствие обитателям Монпарнаса. «Соединение нищеты и творческих амбиций подобно “сиамским близнецам”, которые волею судьбы стали неразлучны, страшно мучились от вынужденного соседства, потом смирились и даже обзавелись потомством, но так и не сумели избавиться от врожденного уродства», – думал Гайто, проходя мимо «Ротонды», «Дома», «Селекты» и отворачиваясь от окон «Куполи».

Но время шло, и Гайто удалось избавиться от нищеты, сев за баранку автомобиля. Жизнь приобрела размеренный ритм, появился режим работы, ночной – за рулем и дневной – за письменным столом. Эта внешняя устойчивость позволила ему снова вернуться в ту среду, которую он временно покинул, следуя инстинкту самосохранения.

«Бывал на Монпарнасе, но держался особняком и умный писатель осетин Гайто Газданов, человек не по-кавказски сдержанный, по тогдашней профессии шофер», – вспоминала о его появлении там Зинаида Шаховская.

Гайто действительно был сдержан, у него хватало на это силы. Конечно, ни окрепшее мастерство, ни успех первой книги, ни завоеванная популярность, ни постоянная «престижная» работа таксистом, никакая из этих составляющих по отдельности не могла вселить в него надежду на обретение внутреннего покоя, которого он не знал с тех пор, как отплыл от крымского берега. Но все эти обстоятельства вместе наконец заполнили то неустойчивое пространство, в котором он мучительно балансировал и в котором держался только благодаря отчетливой памяти ощущений прошлой жизни. «Вечер у Клэр» закрыл эту страницу жизни, и Гайто почувствовал, как вместе с этим стало

меняться его отношение к новым реалиям. Он заметил, что в нем появилось искреннее желание разглядеть нечто подлинное именно сейчас и здесь, а не там и не тогда. Он почувствовал в себе силы видеть, не морщась от отвращения или скуки — как прежде, когда пытался описывать французскую жизнь. И потому его уже не пугало наблюдение, что «мрачная поэзия человеческого падения» носила на Монпарнасе характер не временного, а постоянного явления. Так выглядело не лицо Монпарнаса, так выглядела монпарнасская душа. И сквозь вычурные позы, нелепые характеры и диковинные истории его завсегдатаев душа эта открывалась со всей прямотой и правдой трагедий, любви и искусства. И Гайто снова потянуло на Монпарнас.

2

Диваны, обитые красным бархатом, желтые абажуры с золотистой бахромой, меню с репродукциями Гарбари и Леру на первой странице и с исторической справкой — на последней; пожилые дамы в бриллиантах, мужчины в дорогих кожаных пиджаках, треск мобильных телефонов — ничего этого не было в «Ротонде» семьдесят лет назад, когда ее порог впервые переступил Гайто. Ничего подобного не было и тридцать пять лет назад, когда он посетил ее в последний раз. Десятилетиями обстановка «Ротонды» менялась от богемной к буржуазной и обратно. Газданов попадал туда именно в те времена, когда в «Ротонде» рождалась истина — в вине, в наркотиках, в стихах.

Современник Газданова, завсегдатай «Ротонды» прозаик Илья Сургучев, посвятивший знаменитому кафе целый роман, с любовью описывал обстановку на Монпарнасе:

«Сейчас на этом перекрестке растут четыре молодых дерева: зеленый квартет, как их здесь зовут. Когда-то мне казалось, что между ними незримо вырыт чудотворный колодезь, к водам которого устремляются люди со всех пяти частей света. Иначе нельзя было объяснить, чем влечет сердца этот самый обыкновенный типичный парижский угол Монпарнаса. Правда, над ним большой просторный кусок неба, благодаря гористости здесь чистый воздух; здесь провинциально, и широкие террасы кофеен напоминают пляжи; здесь не обращают внимания на одежду; здесь можно спеть песню и полицейский вам подтянет; здесь невидимой властью отменены мещанские законы о

нарушении общественной тишины и спокойствия; здесь, если вам не холодно, вы можете пройти по тротуару голым; до сих пор еще не растаяли и оказывают свое воздействие флюиды садов Бюлье и Фиалковой беседки; неподалеку, на кладбище, лежат кости Мопассана. Здесь пыталась привиться и не привилась продажная любовь: этому немало поспособствовало классическое целомудрие Латинского квартала. Это, пожалуй, единственное место в Париже, где в любви проявляют бескорыстие, любят преданно, нежно и, в случае подозрения, шумно дерутся на людях. Художник может за сотни тысяч продавать свои картины и критика может изойти в похвалах, но настоящая слава придет тогда, когда его признают здесь. Чтобы понять, в чем дело, надо просидеть здесь несколько лет подряд: случайному, торопливому и занятому посетителю такое времяпрепровождение покажется пустым занятием. Сначала все заварилось в тесном и бледном угловом кафе под названием “Ротонда”. Отличие этого заведения заключалось в том, что, спросив чашку кофе, можно было просидеть за ней целый день. У хозяина в запасе всегда была твердая бумага, цветные карандаши и акварельные краски…»

Действительно, «Ротонда» превратилась в сердце русского Монпарнаса задолго до того, как в Париж нахлынула волна русских эмигрантов 1920-х годов. Еще до Первой мировой войны в ней обосновались художники — выходцы из России, которым покровительствовали французы. В начале 1910-х годов вновь прибывшие художники снимали маленькие мастерские в районе Ля Рюш, что значит «Улей». Образ жизни обитателей Ля Рюш вполне соответствовал названию: маленькие ячейки-мастерские гудели от напряженной работы. Здесь собирались люди со всего мира, создавая своим присутствием интернациональный центр искусства. Марк Шагал, Пинхус Кремень, Михаил Кикоин, Хаим Сутин – их талант вырос и расцвел в Париже. На Монпарнасе они обрели подлинную славу. Шагал приехал в Париж вслед за своим учителем Львом Бакстом, вдохновленный его триумфом после оформления постановок «Шахерезады» и «Жар-птицы» в Парижской опере. Кремень, Кикоин и Сутин дружили еще со времен Виленской художественной школы.

«Каким огромным кажется Париж, — вспоминал Пинхус Кремень, — когда до этого видел только маленькие города и деревни! После стольких приключений поездов и метро я наконец добрался до своей новой Родины — Ля Рюш, этого огромного русского муравейника в пассаже Данциг».

Художники из России быстро сблизились с постоянными обитателями Монпарнаса, настоящая дружба завязалась у них с Фернаном Леже и Модильяни. Богатых и благополучных

обитателей в Ля Рюш почти не было, но относились художники друг к другу с большим сочувствием, поддерживали товарищей, как могли, делились последним, в буквальном смысле, куском хлеба. «В те времена мы много ходили пешком, и, случалось, от Ля Рюш или от порт де Версай шли до бульвара Сен-Мишель, чтобы разыскать там товарища и занять у него франк или пятьдесят сантимов. Когда нам перепадали какие-то деньжата, мы делились со всеми соседями. Питались мы маленькими белыми булочками, запивая их чаем, как это принято у русских. От полной нищеты нас часто спасал Модильяни. Он рисовал чей-нибудь портрет, продавал его и давал нам денег. На Монпарнасе у художников был еще один друг — Либион, бывший владелец "Ротонды", славный и добрый человек. Когда мы очень бедствовали, он покупал у нас картины».

Так Кремень описывал дух, царившим среди «монпарно» в начале 1910-х годов. С началом Первой мировой жизнь на Монпарнасе затихла. Как только наступал комендантский час – 9 часов вечера, — из кафе выдворялись посетители. Немецкие художники — завсегдатаи кафе «Дом», что стояло прямо напротив «Ротонды», разъехались кто куда. Многие уехали и в Америку. Некоторые французы ушли на фронт. Фернан Леже был отравлен газами, Аполлинер — тяжело ранен. Но в конце войны прежде затихший квартал снова вошел в моду, открылись новые кафе, восстановился дух интернационализма. Иностранцы всегда пользовались на Монпарнасе полным равноправием, поэтому здесь раньше, чем в других парижских местах, вновь заговорили по-немецки.

На территории между «Ротондой» и кафе «Дом» царили непрерывные праздники и балы, организуемые различными художественными академиями. Монпарнас превратился в место развлечений, где властвовала атмосфера эйфории, в которую окунулись вновь прибывшие русские эмигранты. «Среди толпы шныряли сводники, купцы, большевицкие агенты, кинематографические актеры, газетчики, консула, чудаки, влюбленные и сумасшедшие. В день бала четырех искусств ряженые предварительно приходили сюда для оценки костюмов, и тогда скандинавские и американские девицы смотрели на них с восторгом и шептали: "Это — Париж!" Создалась репутация грешного места, адского филиала», — свидетельствовал в своем романе Илья Сургучев.

Поначалу тон задавали, как и прежде, русские художники, но уже младшего поколения. Скульпторы Вера Попова и Вера Лазарева попали на работу в мастерские к Дягилеву, часто встречая там Ларионова. Вскоре на Монпарнасе заговорили о

Минчине, Ланском, Терешковиче. Собираться стали в кафе «Хамелеон», туда же потянулись русские поэты и писатели.

Вспоминая о первых эмигрантских годах в очерке «Монпарнасские тени», писатель Андрей Седых скажет: «Мы бродили целыми днями по Парижу в поисках работы, а по вечерам собирались в "Ротонде", тогда еще грязном, полутемном и дешевом кафе. "Ротонда" была нашим убежищем, клубом и калейдоскопом. Весь мир проходил мимо, и мир этот можно было рассматривать, спокойно размешивая в стакане двадцатисантимовый кофе с молоком».

Но не только «Ротонда» оставила след в сердцах русских эмигрантов. Немало знаменитостей тех лет повидали и стены другого заведения, где часто проходили ночные литературные сборища, — «Селекты».

«Вот двое сидят в "Селекте", — писала Зинаида Шаховская в "Отражениях",— и входит третий, затем четвертый, за ним следующие, с одного столика мы распространяемся на другие, под ленивым и нерадостным взором ко всему привыкшего гарсона. Настроение меланхолическое, все безденежные, но те франки, которые имеются, делятся. Если не хватает на вино и алкоголь, то хватает все же на кофе, можно часами сидеть и говорить, говорить, говорить то о важном, то о не важном, кого-то поддеть, вызвав улыбку, – громкий, полнокровный смех не подошел бы к атмосфере. Кто уходит, кто остается до рассвета, так как ночью метро не ходит и пришлось бы брести пешком в разные кварталы Парижа. Говорится об искусстве, о литературных стилях, о Прусте (в эти годы — кто о Прусте не говорит?), о последнем воскресенье у Мережковских, кто как к кому относится, о блаженном Августине и о "Любовнике леди Чаттерли" Лоуренса, о Бердяеве, о самом дешевом способе издать книжечку стихов, и опять кто к кому как относится. Тут же, на Монпарнасе, завязывались и развязывались романы, происходили ссоры и примирения».

Там же среди русских эмигрантов выделялся странный небрежно одетый человек. Неизменные черные очки, мускулистая фигура, резкие движения. Он был героем многочисленных литературных заседаний, посиделок, вечеров и одновременно героем скандалов, которые нередко случались из-за его непредсказуемых реакций. Казалось, не было тогда на Монпарнасе ни одного русского эмигранта, который бы не слыхал его строк из «Черной мадонны»:

Синевели дни, сиреневели,

Темные, прекрасные, пустые.
На трамваях люди соловели.
Наклоняли головы святые,
Головой счастливою качали,
Спал асфальт, где полдень наследил.
И казалось, в воздухе, в печали,
Поминутно поезд отходил.

Помимо поэзии он профессионально разбирался в живописи, дружил с художниками и часто в течение одного вечера кочевал из одного угла кафе — поэтического к другому — где сидели художники. Это был Борис Поплавский.

Поплавский приехал в Париж в 1921 году, имея за плечами всего лишь несколько опубликованных стихотворений в довоенных провинциальных альманахах. Настоящего успеха он добился именно на Монпарнасе, задолго до того, как выпустил свою первую книгу. К тому времени, когда вышел сборник его стихов «Флаги» (1931 год), Борис Поплавский был уже признанным талантом среди поэтов-младоэмигрантов. Его охотно печатали в «Воле России», он был завсегдатаем официальных и неофициальных диспутов, посвященных искусству и литературе. Сам любил рисовать и не скрывал своей страсти к живописи. Его поэтические образы были чрезвычайно живописны; в стихах он нередко использовал темы с полотен европейских мастеров. Как только Николай Оцуп организовал журнал «Числа», с первого же номера Борис стал печатать там не только свои стихи, но и статьи о живописи.

Он любил картины Ланского, Минчина, Терешковича, он знал художников лично и чувствовал себя частью их мира. Когда в 1931 году трагически погиб Абрам Минчин, Борис переживал его смерть как потерю частички тайны, в которую и сам был посвящен. Абрам Минчин жил в Париже с 1926 года и за пять лет своего недолгого обитания на Монпарнасе оставил заметный след, к чему был причастен и Борис. После двух персональных выставок Минчина Поплавский написал о нем в своих статьях «Молодая русская живопись в Париже» и «Русские художники в салоне Тюльери».

Свидетелем переживаний Бориса в связи с потерей соратника и единомышленника случайно стал Вадим Андреев. Однажды они засиделись до самого утра в одном из ночных монпарнасских бистро. Борис был ночным жителем, спать ложился под утро. Вот и в тот раз он потащил Вадима на прогулку — вместе встретить

восход солнца. Через семнадцать лет в память о том дне Андреев написал стихотворение, которое так и называлось «Прогулка с Б. Л. Поплавским»:

Мы вышли вместе. Об руку рука —
Так со строкою связана строка,
Не только рифмою, не только тем,
Что всем понятно и доступно всем.
Из-за угла Сосинский нам навстречу
Тащил портфель, как мученик грехи,
И голосом сказал он человечьим:
«Я Гингера в печать несу стихи…»
Портфель под мышкой крепко был привинчен,
Ты отвернулся и пробормотал,
Как некий стих: «Сегодня умер Минчин.
Сегодня умер Минчин», — ты сказал.

Тогда это был теснейший мир, в котором все они были связаны общим несчастьем — изгнанничеством. Однако среди упомянутых героев стихотворения, пожалуй, один Борис не желал выбираться из того ужасного положения, в котором оказалась литературная молодежь. Он носил в себе все то, что носили его ровесники: комплекс эмигрантской отверженности, унижение бедности, ужас раздробленного мира, неудовлетворенная жажда любви, безграничное отчаяние, экзальтированное ожидание «встречи с Богом». Но по своей натуре он переживал все это с удесятеренной силой, что напрочь подавляло в нем волю к жизни. Больше, чем других, в нем было расстроено то особое чувство, которое позволяет человеку правильно определять свое положение в обществе. Он не только не хотел подрабатывать черной физической работой, он даже не пытался найти литературную или журналистскую поденщину. Он писал только то, что хотел, и о том, что действительно любил.

«Жестокая правда требует отметить и то, что Поплавский, здоровый человек, боксер, сильный и ловкий спортсмен, не умел и не хотел работать и не мог и не хотел жить в плане реальности», — напишет позже о Борисе Поплавском Глеб Струве.

«Думается, что, несмотря на врожденные данные к самоуничтожению, дух Монпарнаса сыграл все же в его судьбе значительную роль. Не нашлось там человека, который мог бы его спасти», — скажет о нем Зинаида Шаховская.

Порой Борис кичился своей бедностью, даже кокетничал, а

иногда воспринимал ее как часть общечеловеческого несчастья, как участь, которую ему выпало нести до конца своих дней.

– Скажите, вы согласились бы что-нибудь напечатать бесплатно, потому что это для искусства? — спросил однажды Борис у Гайто.

– Нет.

– А если бы вам не заплатили?

– Не знаю, я думаю, что это невозможно.

– Вот, а мне обещали заплатить, а потом ничего не дали, сказав, что это моя дань искусству; и предложили мне вместо гонорара подержанный костюм. Но он велик на меня, я не знаю, как быть.

Смутившись, Гайто путано стал объяснять, как, на его взгляд, следовало бы поступить, но Борис только покачал головой и сказал:

– Вы можете себе позволить известную независимость, а я не могу, вы знаете, я ведь материально совершенно не обеспечен.

Гайто знал, что этот человек с сильными бицепсами перед материальным миром был совершенно беззащитен и абсолютно не умел обращаться с деньгами. Когда у него появлялась небольшая сумма, он тратил ее на граммофоны, испорченные пластинки, какие-то шпаги «необыкновенной гибкости», галстуки яркого цвета, подчеркивающие убогость его заношенного и грязного костюма. Остальные пропивал или спускал на более изощренные допинги. В этом смысле он был типичной фигурой среди «монпарно». Но было в нем нечто, что выделяло его на фоне остальных, как заметил Гайто еще со времен их первых литературных встреч в Союзе русских молодых поэтов и писателей

3

К тому времени, когда Гайто, получив работу таксиста и перебравшись ближе к центру Парижа, стал чаще бывать на Монпарнасе, Борис Поплавский уже завоевал всеобщее признание среди русских поэтов. И Гайто знал, что признание это было оправданным. «Если можно сказать "он родился, чтобы быть поэтом", то к Борису это применимо с абсолютной непогрешимостью»,— думал Гайто, сидя чуть поодаль от стола, за которым кипели литературные споры, спровоцированные Поплавским. Чем больше Гайто приглядывался к Борису, тем

больше ощущал трагическую противоречивость его натуры.

Будучи решительным спорщиком в разговорах об искусстве, высказывая резкие мнения о поэзии и поэтах, в вопросах личных он совершенно терялся или превращался в глухого, порой бездушного человека. Его нельзя было считать заботливым сыном, он был довольно черств по отношению к родителям. Он явно страдал от недостаточного внимания женщин, но не умел с ними обращаться: в глубине души он сознавал, что привлекательным кавалером он не был. Неумение держаться на людях постоянно доставляло ему унизительные мучения. А ему нужны были признание, любовь, почет. Однажды он сказал с досадой своим приятелям: «Почему никогда так не бывает: придешь на собрание и скромно сядешь в соседнем ряду. Но вот тебя увидят и скажут: "Борис Юлианович, почему вы так далеко сели, пожалуйста, сюда!" И поведут и посадят на почетное место рядом с председателем». Гайто только усмехнулся, услышав эти наивные, детские слова от человека, который не сделал ни малейшего усилия, чтобы хоть как-то завоевать это почетное место. Гайто понимал, почему Поплавский не желал или считал невозможным заниматься собственной репутацией: «роман с Богом», как говорил сам Борис о своей жизни, интересовал его куда больше, чем романы с женщинами, слава и популярность.

Гайто не разделял его претензий на подобную мишуру – та жизнь, которую вел Борис, не предполагала атрибутов жизни всеми уважаемого поэта. У Бориса это вызывало раздражение и досаду. Он подозревал своих приятелей в измене; ему казалось, что его хотят унизить, обойти, устроить за его спиной литературную встречу и специально не пригласить его одного. Гайто всегда удивляла такая мнительность, и он только пожимал плечами в ответ на реплики Бориса, улавливая в них интонации оскорбленного мелкого чиновника. Поэтому Гайто не любил ходить на прогулки с Борисом в компании его последователей или «учеников», каковыми Борис их сам считал. Ему претили сцены вроде той, что он наблюдал однажды в открытом кафе на площади Бастилии.

– Я только призрак, — однажды неожиданно заявил Борис всем присутствующим. — Вы меня любите, Владимир? – обратился он к одному из собеседников. Тот смущенно промолчал. — А вы? — обернулся он к другому.

И тот, задохнувшись, ответил:

– В прошлый раз, когда вы говорили, что я не должен писать стихи, я вас ненавидел. Но теперь, когда вы сказали, что вы призрак, я вами восхищаюсь.

Поглядывая на присутствующих, Гайто думал о том, что,

несмотря на всю глупость разговора, в одном Борис был прав: художник — призрак. И он сам призрак. Да и кто из сидящих вокруг был настоящий?..

Что-то настоящее, или стоящее, как считал Гайто, проскальзывало в их беседах с Поплавским, когда они вдвоем отправлялись на прогулку или кинематограф. В дружбу их отношения так и не переросли. «Он носил глухие черные очки, совершенно скрывающие его взгляд, и оттого, что не было видно его глаз, его улыбка была похожа на доверчивую улыбку слепого. Но однажды, я помню, он снял очки, и я увидел, что у него были небольшие глаза, неулыбающиеся, очень чужие и очень холодные. Он понимал гораздо больше, чем нужно; а любил, я думаю, меньше, чем следовало бы любить». Таким запомнил его Гайто. Борис действительно не только не умел любить, он не мог и дружить. Отношения, которые накладывали какие-либо обязательства — морального ли, делового ли характера, — угнетали его и, как ему самому казалось, ограничивали его свободу. Привязанность к конкретному лицу выражалась лишь в том, что он искал понимания и обычно не находил.

Но порой Газданову и Поплавскому было интересно вместе. Их разговоры касались по большей части литературы и философии, и они шли гулять сначала по бульварам, потом заглядывали в кинематограф, – потом – снова пешком по бесконечным парижским улицам. И тогда Борис преображался: вдруг он начинал простодушно восхищаться самыми простыми вещами и обыкновенными людьми, которые в его рассказах чудесно превращались в богачей, красавцев, мифологических героев, ангелов. Он видел мир словно в трубку волшебного калейдоскопа, и его описания были полны неожиданных сравнений. В такие минуты Гайто любовался Борисом.

Они прекрасно осознавали разность своих характеров, но общие привязанности наполняли их прогулки тем неизъяснимым воодушевлением, которое порой возникает между заговорщиками, хранящими тайну. Они быстро выяснили, что допарижская жизнь их текла параллельно. Они оба родились в 1903 году в столицах. Борис — в Москве, Гайто — в Петербурге. В 1919 году оба оказались на юге России, а в 1920-м – в Константинополе. Но до собраний Союза молодых поэтов и писателей на Данфер Рошро прежде никогда не встречались. Однако не только предшествующая жизнь определяла их интерес друг к другу и не одни лишь воспоминания о минувшей юности на родине объединяли их в ночные часы, когда они кочевали из «Ротонды» в «Доминик». Оба они любили бокс — для Гайто Борис был одним из немногих тогдашних собеседников, который

говорил о боксе со знанием дела, — и французских поэтов, творчество которых могли обсуждать часами. Но еще более важным для Гайто было собственное предчувствие: Борис — один из немногих живых существ, кто знает и понимает, каким должен быть настоящий художник, потому что он и сам был таковым. Именно этим, по мнению Гайто, Борис отличался от других: «У него могли быть плохие стихи, неудачные строчки, но неуловимую для других музыку он слышал всегда».

Наиболее остро Гайто ощутил свою внутреннюю близость с Борисом, когда в 1930 году получил девятый номер «Воли России». Накануне они отдали туда свои произведения: один — рассказ «Черные лебеди», другой — стихи, которые могли бы стать послесловием к этому рассказу. Слоним, как чуткий редактор, поставил стихотворение сразу после газдановских «Лебедей», чем лишний раз подчеркнул особенность монпарнасского духа младших эмигрантов. Они писали по-разному, но чувствовали одинаково.

Вода клубилась и вздыхала глухо.
Вода летала надо мной во мгле.
Душа молчала на границе звука,
Как снег, упасть решившийся к земле.

А в синем море, где ныряют птицы,
Где я плыву, утопленник готов,
Купался долго вечер краснолицый
Средь водорослей городских садов.

Марк Слоним даже не догадывался, что некоторые фрагменты рассказа «Черные лебеди» о самоубийстве офицера Павлова появились именно как отголоски ночных бесед Бориса и Гайто:

«Он мог бы, я думаю, быть незаменимым капитаном корабля, но при непременном условии, чтобы с кораблем постоянно происходили катастрофы; он мог бы быть прекрасным путешественником через город, подвергающийся землетрясению, или через страну, охваченную эпидемией чумы или через горящий лес. Но ничего этого не было — ни чумы, ни леса, ни корабля; и Павлов жил в дрянной парижской гостинице и работал, как все другие. Я подумал однажды, что, может быть, его же собственная сила, искавшая выхода или приложения, побудила его к самоубийству; он взорвался, как закупоренный сосуд, от страшного внутреннего давления…

Я был одним из немногих его собеседников; меня влекло к нему постоянное любопытство; и, разговаривая с ним, я забывал о необходимости — которую обычно не переставал чувствовать — каким-нибудь особенным образом проявить себя — сказать что-либо, что я находил удачным, или высказать какое-нибудь мнение, непохожее на другие; я забывал об этой отвратительной своей привычке, и меня интересовало только то, что говорил Павлов. Это был, пожалуй, первый случай в моей жизни, когда мой интерес к человеку не диктовался корыстными побуждениями — то есть желаниями как-то определить себя в еще одной комбинации условий. Я не мог бы сказать, что любил Павлова, он был мне слишком чужд, — да и он никого не любил, и меня так же, как остальных. Мы оба знали это очень хорошо. Я знал, кроме того, что у Павлова не было бы сожаления ко мне, если бы мне пришлось плохо; и убедись я, что возможность такого сожаления существует, я тотчас отказался бы от нее…

В нем была сильна еще одна черта, чрезвычайно редкая: особенная свежесть его восприятия, особенная независимость мысли — и полная свобода от тех предрассудков, которые могла бы вселить в него среда. Он был un declasse, как и другие: он не был ни рабочим, ни студентом, ни военным, ни крестьянином, ни дворянином — и он провел свою жизнь вне каких бы то ни было сословных ограничений: все люди всех классов были ему чужды. Но самым удивительным мне казалось то, что, не будучи награжден очень сильным умом, он сумел сохранить такую же независимость во всем, что касалось тех областей, где влияние авторитетов особенно сильно – в литературе, в науках, в искусстве».

Не догадывался Марк Слоним и о том, что к моменту публикации «Черных лебедей» у Гайто уже был готов роман, герои которого во многом походили на придуманного офицера Павлова, но еще больше на реального человека. Ибо не только таланту Поплавского, таланту с несомненными признаками гениальности, не переставал удивляться Гайто. В неменьшей степени удивляла его способность Бориса, даже явная склонность, устраивать эксцентричные, порой ничем не оправданные выходки. Некоторых из них он лично стал свидетелем, о некоторых на Монпарнасе любили рассказывать не только недруги, но даже приятели Поплавского.

Как-то на одном из балов, устроенных в пользу Союза молодых писателей и поэтов в залах Русской консерватории, собралось много народу. Гайто запомнил, что буфет был очень хорош, и это не замедлило сказаться на состоянии публики. Собравшиеся пьянели на глазах, и в этом Борис явно опережал

остальных. Почетным гостем на том балу был киноактер Инкинжимов, прославившийся фильмом «Буря над Азией». Бал продолжался всю ночь, и когда под утро залы опустели, Инкинжимов уединился в одном из них со своей дамой.

Вскоре туда случайно забрел Поплавский и пригласил даму на танец. Развязность и неопрятный вид нетрезвого незнакомца даме явно не понравились, и она вежливо отклонила его приглашение. Однако Борис настаивал. Наконец Инкинжимов заметил: «Да, молодой человек, вы же видите, что дама не хочет танцевать!» Эта реплика привела Поплавского в ярость, и он ударил по лицу почетного гостя. Потом, как ни в чем не бывало, уже слегка протрезвевший, вернулся в большой зал, где находились большинство собравшихся, и рассказал о случившемся, чем привел публику в явное замешательство. Было заметно, что эффект, произведенный его выходкой, а точнее рассказом о ней, не доставляет ему ни малейшего удовольствия. Он продолжал сидеть с бесстрастным лицом, тогда как остальные члены Союза вынуждены были пойти извиняться перед знаменитостью за своего нахального товарища. Впрочем, Гайто не ходил, поскольку не считал себя ответственным за хамство Бориса. Он уже был наслышан о его эксцентричном поведении и раньше.

Роман Гуль как-то рассказывал ему о происшествии в берлинском кафе, в те времена, когда Борис учился живописи в Германии, и что потом описывал в своих мемуарах «Я унес Россию»:

«Однажды сидим мы за столиком вчетвером. А неподалеку с кем-то за столиком наша приятельница поэтесса Татида (по фамилии Цемах, уверявшая, что ее род идет прямехонько от царя Соломона!). У Татиды (близкой подруги Крыму Макса Волошина) — оригинальное, очень узкое лицо с большим прямым (скорее греческим, чем еврейским) носом. Наружностью она обращала на себя внимание. И вот среди пивного веселья, хохота, криков вдруг — всеобщее замешательство. Сидевшие, как пружины, повскакали с мест. Сначала мы не могли понять, из-за чего весь сыр-бор? Оказывается, сидевший за соседним (с Татидой) столиком совершенно неизвестный ей молодой человек, странный, неопрятно одетый, вдруг встал, подошел к Татиде и ни с того ни с сего дал ей пощечину. Татида вскрикнула, упав на стол головой. Все вскочившие бросились на странного молодого человека. Схватили, кто за шиворот, кто за руки, вывернув ему их за спину, и с шумом потащили к выходной двери, где вышвырнули на улицу с трех-четырех ступенек. Я подошел к рыдающей Татиде. Она рассказала, что в жизни никогда не видела этого молодого

человека и не знает, кто он, почему на нее так пристально смотрел, а потом, подойдя, ударил ее по лицу. … Те, кто сидели с ним, тоже ничего не могли объяснить в этом его "безобразии". Один сказал, что он — Борис Поплавский, студент художественной школы. Причем, постучав пальцем по лбу, добавил: "Борис немного того…"» Наслышан был Гайто и о любви Бориса к одной девушке, происходившей из богатой эмигрантской семьи. Эту историю рассказал поэт Юрий Терапиано: «"Женщина любит ушами", — говорят в Персии. Литературная известность и блестящие разговоры Бориса Поплавского с предметом своей страсти оказывали на нее свое воздействие, но появился вдруг в окружении героини его романа молодой цыган-певец, "цыганенок", как его называли на Монпарнасе, и его голос вскоре стал неожиданной угрозой Поплавскому. Поплавский решил раз и навсегда разделаться с "цыганенком" и местом действия выбрал Монпарнас. Но, по монпарнасскому общепринятому обычаю, в кафе драться было нельзя, никак не полагалось. Поэтому Поплавский бросил цыганенку в ее присутствии традиционный вызов: "Выйдем на улицу!" Не желая оказаться трусом, "цыганенок" вышел из "Доминика" на улицу и ждал, сжав кулаки, нападения Поплавского. Двое или трое коллег, выбежавших вслед за противниками, как в кинематографе, увидели неожиданную развязку. Едва Поплавский приблизился к "цыганенку", занес руку, как она оказалась, как в клещах, в мощных руках блюстителя порядка. Получив совет "не заводить драки на улице" и не смея протестовать, Поплавский уныло отправился прочь, а "цыганенок", видя, что, к счастью, полицейский занялся не им, быстро перешел через улицу и скрылся в гостеприимных дверях "Ротонды". Впрочем, как я слышал, Поплавскому все же удалось потом в другом месте свести с ним счеты"».

Наблюдая за монпарнасской жизнью Бориса, размышляя над двумя силами, раздиравшими его сущность — поэтический дар и тяга к саморазрушению, — Гайто предчувствовал трагическую развязку судьбы поэта, предчувствовал задолго до того, как прочитал в его автобиографическом романе «Аполлон Безобразов» характерные строки:

«Это было в то легендарное время, помню, как-то сидел я тогда в "Ротонде", маленьком, тесном кафе, перегороженном какими-то перестройками, и думал: неужели я когда-нибудь буду сидеть за этим столом среди теней минувшего, ожиревший, сонный, конченый, общеизвестный — какой позор!»

Гайто понимал: тому, чего так опасается Борис, не суждено случиться никогда. Переполненный впечатлениями от

Монпарнаса и его обитателей, сразу после «Вечера у Клэр» Газданов без промедления принялся за новый роман.

4

15 мая 1930 года в газете «Последние новости» появилось объявление об очередном (третьем) литературном вечере Газданова, на котором автор прочтет отрывок «Великий музыкант» из своего романа «Алексей Шувалов». Через год те, кто присутствовал на памятном собрании и получил с третьего по шестой номера «Воли России» с рассказом «Великий музыкант», перечитывать заново ее не стали, полагая, что уже знают это произведение. А те, кто на вечере не был, с удовольствием прочли, думая, что это и есть тот отрывок, который читал прежде сам автор. Таким образом, тот факт, что это были два разных текста, остался для литературной общественности незамеченным, а сам Гайто обращать на него внимания не стал. Хотя поначалу он придавал роману большое значение. Составляя в своей записной книжке план будущего восьмитомного собрания сочинений, он включил его в состав четвертого тома. Однако вскоре сделал из него рассказ и отослал Марку Слониму. Слоним рассказ тут же напечатал, а «Алексей Шувалов» остался ждать своего часа.

Гайто не преувеличивал значение романа в собственной писательской жизни. После «Вечера у Клэр» он подвел ту черту под своим двухмерным существованием. Вдохновение, черпаемое из цепочки воспоминаний о прошлом, постепенно уступило место вдохновению, рождавшемуся из наблюдений настоящего. Гайто почувствовал, что созрела та самая «бытовая база», на которой вырастает проза о современниках, и потому стало возможным появление «Алексея Шувалова» — первого романа, написанного на чисто парижском материале и посвященного жизни русских эмигрантов.

Как мы уже знаем, этими материалами стали газдановские наблюдения за монпарнасской жизнью. За героями ему тоже далеко ходить не пришлось. Повествование в новом романе велось от лица Николая Соседова, известного читателю по роману «Вечер у Клэр». По замыслу автора. «Шувалов» должен был восприниматься как история продолжения жизни его повествователя в Париже, а потому Газданов оставил его в той же роли, в какой сам ощущал себя на Монпарнасе — в роли

наблюдателя. Главными персонажами стали — Алексей Андреевич Шувалов и Борис Константинович Круговский.

В сознании Гайто это был один герой «с раздвоением личности», как называла Бориса Поплавского Зинаида Шаховская. Она не могла забыть, как однажды нашла в книге, которую читал до этого Борис, записку к какой-то девушке: «Приходи, надо увидеться, у меня раздвоение личности». Шаховской это казалось забавным: «Разве люди с двоящейся личностью отдают себе в этом отчет?»

Гайто же, напротив, думал, что противоречивость Поплавского могла бы послужить основой характеров сразу нескольких людей, и через некоторое время он уже отчетливо понимал, как могли бы развиваться эти характеры. Сочиняя сюжет «Шувалова», Гайто следовал своему излюбленному принципу — он черпал вдохновение из конкретного запомнившегося факта, придумывая дальнейшее развитие событий.

Таким образом, на основе забавных и трагичных историй, связанных с Борисом, и личных впечатлений от общения с ним Гайто создал роман о двух приятелях, завсегдатаях монпарнасских кафе, один из которых — Алексей Шувалов — совершает убийство, задуманное и спровоцированное другим — Борисом Круговским. Круговскому не нравилось странное угрюмое увлечение Шувалова одной русской дамой — Еленой Владимировной. Алексей Андреевич испытывал к ней чувство, похожее на патологическую страсть-ненависть. И Круговский решил скомпрометировать ее в глазах Шувалова:

«Судьба этой женщины мне совершенно безразлична; судьба Алексея Андреевича меня интересует больше — просто потому, что он как человек ценнее и лучше. У него о ней неправильное представление: он считает ее — не признаваясь себе в этом — женщиной исключительной. Может быть, когда вы ее увидите сами, вы поймете причины этого заблуждения. Я же хочу доказать ему, что он ошибался и что она проста, как эта дверь, — и так же подвержена самым мелочным женским слабостям, как все остальные. Я познакомлю ее с "великим музыкантом", он ее соблазнит, и когда Алексей Андреевич в этом убедится, интерес к этой женщине у него пройдет и заменится другими вещами».

«Великим музыкантом» оказался высокий, хорошо одетый человек с напудренным лицом и узкими глазами, которые он щурил, как-то особенно медленно поворачивая голову на тонкой и длинной шее. Он не обладал никакими музыкальными способностями и был абсолютно лишен слуха. Это было неудивительно, иначе Борис Константинович не употребил бы

выражение «великий музыкант», если бы речь шла о том, что Ромуальд, как звали героя, хорошо поет или играет на скрипке. Голос Ромуальда обладал странным чарующим свойством, которое он использовал только в определенных ситуациях.

«После того как Ромуальд сказал своей собеседнице: "Я бы хотел пригласить вас покинуть это мертвое кафе и уехать с вами на берег Амазонки", — то, несмотря на сомнительность и наивную соблазнительность этой фразы, я услыхал в ней, как мне показалось, чуть ли не шум струящейся воды и легкий звон полуденного солнца, и такое печальное напоминание о невозможности, — что я оценил лишний раз непогрешимую проницательность Бориса Константиновича, впервые сказавшего о Ромуальде — великий музыкант».

Однако события вскоре стали приобретать трагический характер. «Великий музыкант» Ромуальд Карелли — пошлый альфонс и обладатель необыкновенного голоса, привораживающего женские сердца, сделавшись любовником Елены Владимировны, стал ее публично оскорблять. У Шувалова не хватило выдержки наблюдать унижение женщины, которую он действительно считал исключительной, и он убил «великого музыканта». Убийство было точно просчитано Круговским, который, не теряя хладнокровия, заранее обеспечил своему приятелю алиби.

Внешность и характер Алексея Андреевича были почти точно списаны с Бориса Поплавского. Газданов описывал человека спортивного телосложения, отменного боксера. Шувалов, подобно Поплавскому, носил темные очки, скрывавшие холодный и недобрый взгляд. Он страшно зависел от женщин, но эта его тайная зависимость часто выражалась в немотивированной враждебности. Он не любил и не умел работать, предпочитая праздное и голодное существование сытости, добываемой постоянным трудом.

Второй же — Борис Константинович Круговский — унаследовал от прототипа созвучное имя и недюжинные разносторонние таланты. Не забыл Гайто и о странном утверждении Поплавского по поводу врожденной музыкальности мужчин и немузыкальности женщин. Так он вставил в роман эпизод, когда Круговский прерывает речь Елены Владимировны неожиданным вопросом: «Скажите, вы любите музыку?» — «Нет, музыку я не люблю». — «Я так и думал», – удовлетворенно кивнул Круговский.

Блестящий художник, музыкант, литератор, он был абсолютно лишен той неприязни к людям, которую испытывает Шувалов. «Борис Константинович странен тем, что ему никого не

нужно». Дух умирания витал вокруг него, всех окружающих он втягивал в атмосферу «искусственного и мертвого существования». Газданов постарался передать это с самого первого появления Круговского в романе.

«Борис Константинович неподвижно лежал на диване и все вокруг него было так беспощадно бело и был он так неподвижен, что я сразу вспомнил лечебницу, в которой был очень давно, еще в России: там были такие же белые комнаты, в которых лежали люди, на излечение которых уже не оставалось надежды. Да и вообще, умирание я всегда представлял себе именно так…» — как описывал Круговского при первом знакомстве Николай Соседов.

Точно так же, как внешние обстоятельства жизни Поплавского определялись его сущностью, так и в романе Шувалов находился под скрытым влиянием Круговского: если Борис Константинович воплощал собой образ художника со «смертельным» вдохновением, то Шувалов это вдохновение воплощал в жизнь.

Гайто не боялся того, что современники-монпарнасцы разгадают, кем именно был навеян сюжет «Шувалова». Ему самому казалось не важным, насколько совпадают герои и их прототипы, ибо за переплетением реальных и придуманных эпизодов он чувствовал правдивость собственного вымысла, печальная суть которого для него была очевидна.

Впрочем, как была очевидной и печальная участь подлинного таланта. Он всегда понимал: писателя, искусство которого находится вне классически рационального восприятия, неизменно постигает трагедия постоянного духовного одиночества. К Поплавскому это относилось в большей степени, чем ко всем людям, его окружавшим, и в этом совпадении трагичности, определяемой конкретным временем и местом (конец 1920-х на Монпарнасе), с трагичностью, определяемой судьбой (писатель вне классически рационального восприятия), Газданов видел непреодолимую силу, способную разрушить поэта. У Поплавского не просто не было повода быть счастливым, у него не было желания хоть на мгновение ощутить гармонию с окружающим миром. Именно это отличало Соседова от его собеседников Шувалова и Кругловского. Именно это отличало Газданова от Поплавского. Иногда Гайто казалось, что он понимал и чувствовал Бориса, как никто другой, но эта специфическая близость не радовала его, а скорее пугала. Он тяготился ею, потому что не хотел быть причастным к упоению страхом смерти, которое он распознавал во взгляде Бориса, скрытом стеклами очков. И в который раз Гайто почувствовал облегчение, когда избавился от знакомого страха, дав волю

болезненной фантазии, придумавшей убийство, которого Борис не совершал, «великого музыканта», которого никто не знал, и Елену Владимировну, которую Гайто до сих пор не встречал.

5

Прошло несколько недель с тех пор, как Гайто уже собрался отослать роман в «Волю России». Однако сомнения не давали ему сделать последнее движение, чтобы вложить рукопись в конверт и вывести на нем знакомый адрес. Поначалу Гайто и сам не понимал причину своей неторопливости. Чего он боялся? Отказа? Плохой критики? Да, этого тоже. После шумного успеха «Вечера у Клэр» от него ждали не менее блистательного продолжения, к чему его обязывало и появление Николая Соседова, перекочевавшего в новый роман. Гайто понимал, что в этом смысле «Алексей Шувалов» более чем уязвим. Небрежность, с которой он был написан, порой заслоняла музыкальность ритма, к чему уже успел приучить своих читателей Гайто. Длинноты рассуждений повествователя иногда казались утомительными, но Гайто не хотел ими жертвовать. Для него гораздо важнее было включить их в текст, чем носить в собственном сознании. Он чувствовал, что освободился от многих горьких размышлений, и был благодарен воображению и вдохновению, побудившим его написать этот роман. И потому он был готов стерпеть любые нападки критиков и их упреки в недостаточном мастерстве.

И в то же время Гайто осознавал, что не только художественное несовершенство «Шувалова» сдерживало его желание опубликовать роман. Помимо этого его охватили недобрые предчувствия. У Гайто, как у писателя, уже сложились определенные отношения с выдумкой и реальностью. Он умел фиксировать действительность, находя ее художественное значение, как это было не раз в его рассказах, построенных на подлинных фактах. Он умел строить сюжет, отталкиваясь от непридуманных событий и затем включая их в художественный вымысел, как это было в «Вечере у Клэр». Но никогда прежде он не сочинял историй, в которых события развивались бы худшим образом, чем это было на самом деле. Это противоречило его человеческой сущности и его пониманию искусства. Потому он принял решение переписать роман так, чтобы герои перестали быть узнаваемыми и все, что с ними случилось, было бы лишь плодом авторской фантазии, которая не может влиять на

действительность.

В который раз вспоминал он свои ощущения после завершения романа «Вечер у Клэр». Тогда он почувствовал неизъяснимую прелесть от встреч, которым никогда не суждено было случиться — он это понимал твердо — и которые, однако, ему удалось пережить так же явственно, как переживал он не раз в первые минуты пробуждения прекрасный сон. Он неоднократно поражался этой своей способности. Вот и сейчас, закончив «Шувалова», он пережил все, что случилось в романе, и пережитое ему не понравилось.

Поэтому вскоре на материале романа он написал рассказ «Великий музыкант» — рассказ, прочтя который, уже никто не мог догадаться о подлинной основе его рождения. Хотя еще тогда Гайто не сомневался в том, что судьба Поплавского и других «монпарно» сложится ненамного благополучнее, чем это описано в романе.

Уже через пять лет Гайто написал некролог о трагической смерти Бориса. До сих пор не установлено, было ли это сознательное самоубийство или случайная передозировка наркотиков, но большого удивления такой конец поэта ни у кого не вызвал. Весь русский Монпарнас собрался проводить Бориса в последний путь.

Поплавского отпевали в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, находившейся на улице Лурмель. Собралось множество народу: и те, кто лично знал Поплавского, и те, кто только читал его стихи. Храм не вмещал всех желающих проститься с поэтом, двери были распахнуты настежь, и брызги дождя залетали в открытый проем. Многими, казалось, владело чувство личной вины.

Как грустно заметил по этому поводу Владислав Ходасевич: «Если бы за всю жизнь Поплавского ему дали столько денег и заплатили столько гонораров, во сколько теперь обходится его погребение, – быть может, его и не пришлось бы хоронить так рано. Но на смерть молодых писателей деньги находятся, а на жизнь – нет».

Гайто же, близко зная Бориса, прекрасно понимал, что денежная неустроенность Бориса была лишь следствием неустроенности душевной. «Внешне все ясно и понятно: Монпарнас, наркотики, и – “иначе это кончиться не могло”», – вспоминал он о трагической гибели Поплавского, осознавая, что это предсказуемость мнима.

Сам Гайто поверхностным впечатлениям никогда не доверял. Он видел в Борисе явление куда большее, чем озлобленный дебошир, читающий иногда прекрасные стихи. Борис оставался

для него знаковой фигурой не только своего времени и места; Гайто считал его подлинным поэтом. Поэтому он хотел написать о Борисе как о настоящем художнике.

«Смерть Поплавского, — писал он, — это не только то, что он ушел из жизни. Вместе с ним умолкла та последняя волна музыки, которую из всех своих современников слышал только он один… Если можно сказать, "он родился, чтобы быть поэтом", то к Поплавскому это применимо с абсолютной непогрешимостью — этим он отличался от других. У него могли быть плохие стихи, неудачные строчки, но неуловимую для других музыку он слышал всегда».

Для Гайто это была завораживающая музыка смерти, которую всегда слышит настоящий художник. В его сознании Поплавский стоял в одном ряду с теми, кто причастен к постижению этой тайны: «Он всегда был — точно возвращающимся из фантастического путешествия, точно входящий в комнату или кафе из ненаписанного романа Эдгара По».

Размышляя о Поплавском, Гайто пытался еще раз подчеркнуть то, на чем настаивал в «Заметках об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане»: подлинный вклад художника в искусство определяется не столько его мастерством или новаторством, сколько способностью постижения тайны существования человеческой души. По этому признаку Газданов выделял Бориса как человека Посвященного: «Одно было несомненно: он знал вещи, которые не знали другие. Он почти ни о чем не успел сказать; остальное нам неизвестно, и, может быть, возможность понимания этого исчезла навсегда, как исчез навсегда Поплавский. Теперь это сложное движение его необычной фантазии, его лирических и мгновенных постижений, весь этот мир флагов, морской синевы, Саломеи, матросов, ангелов, снега и тьмы — все это остановилось и никогда более не возобновится. И никто не вернет нам ни одной ноты этой музыки, которую мы так любили и которая кончилась его предсмертным хрипением».

Поэтические образы Поплавского всегда казались Гайто близкими и дорогими; он и сам неоднократно использовал их в своей прозе. И тем не менее они привлекали Газданова даже в меньшей степени, чем тот творческий феномен, который представлял собой их автор. Странная личность Бориса долго не давала покоя Газданову. И еще через год он вновь вспомнил в печати о Поплавском, вызвавшись написать рецензию на сборник поэта «Снежный час», вышедший посмертно в 1936 году. Это была нехарактерная статья – Газданов о поэзии не писал, считая себя некомпетентным в этой области. Но здесь речь шла о Борисе…

«Было бы ошибочно считать "Снежный час" чем-то вроде

поэтического завещания Поплавского, как это до сих пор делала критика, это фактически неверно; из стихотворного наследства Поплавского можно было бы сделать еще несколько таких книг, и я не уверен, что "Снежный час" оказался бы наиболее характерным в этом смысле. Но именно потому, что эти стихи написаны небрежно и непосредственно и похожи скорее на "человеческий документ", чем на поэтический сборник, они приобретают почти неотразимую убедительность, в которой чисто поэтический элемент отходит на второй план».

На первом плане у Поплавского всегда была завораживающая музыка смерти, и Гайто считал, что она и есть пропуск в вечность. И всякий раз, когда вспоминал Бориса, он желал ему счастливого путешествия.

В памяти обитателей русского Монпарнаса Борис Поплавский остался любимым ребенком с несчастливой судьбой. Он промелькнул, как комета, оставив множество смешных и трагичных воспоминаний, один прижизненный сборник стихов, два романа, дневниковые записи. А Гайто в память о нем написал статью и рецензию на посмертный сборник стихов. Роман «Алексей Шувалов» он решил не публиковать.

ЭПОХА «СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСОК»

Очень давно, в самом начале моего пребывания в Париже, я сильно хотел литературного признания. Но в то время, когда передо мной впервые стали открываться некоторые литературные возможности, — это произошло уже после перелома и потеряло для меня какой бы то ни было интерес.

Гайто Газданов. Третья жизнь

1

В 1931 году на одном из литературных собраний Газданов познакомился с Буниным. Ни для кого не было секретом то, что Иван Алексеевич благоволил к молодому прозаику и высоко оценил «Вечер у Клэр». Однако личных отношений между ними не было. Их симпатия хоть и была взаимной, но носила заочный характер. И вот при встрече Бунин обратился к Газданову: «Послушайте, что это у вас за фамилия такая?» — «Я — осетин», — ответил Гайто. — «Вот оно что, а я и голову ломаю, откуда такая фамилия, явно не русская. Да, да, вспоминаю, есть такой народ на Кавказе…»

Тогда же подруга Бунина Галина Кузнецова записала в своем дневнике мнение Ивана Алексеевича: «Познакомился с Газдановым. Сказал о нем, что он произвел на него самое острое и шустрое, самоуверенное и дерзкое впечатление. Дал в "Современные Записки" рассказ, который написан "совсем просто". Открыл в этом году истину, догадался, что надо писать "совсем просто"».

Знакомство их продолжилось. На последующих литературных собраниях Бунин продемонстрировал свои симпатии по отношению к Гайто так явно, что острая на язык Тэффи упрекнула Ивана Алексеевича в слепом увлечении Газдановым, которого тот, по ее мнению, не заслуживал.

Но не только признанием таланта Газданова со стороны мэтра была знаменательна их первая короткая встреча. Она совпала с началом иного важного события в писательской судьбе Гайто — ему открылся доступ в один из самых влиятельных журналов русской эмиграции — «Современные записки». Прежде

туда Газданов ничего не предлагал, поскольку молодых там не очень-то привечали, особенно если они слыли «декадентами» или «модернистами». А после первых рассказов — «Гостиница грядущего», «Повесть о трех неудачах», «Рассказы о свободном времени» и, главным образом, «Водяная тюрьма» – за ним укрепилась такая репутация.

Впрочем, «Вечер у Клэр» и здесь сыграл значительную роль. Несмотря на новации и влияние Пруста, «критикам все-таки удалось» обнаружить у него традиции русской классической прозы. И теперь его произведения попали на страницы самого престижного журнала эмиграции.

Субсидии на издание этого журнала в 1920 году от правительства Чехословакии добивался лично А. Ф. Керенский. В результате толстый журнал, который вначале задумывался как партийный орган эсеров, вскоре становится внепартийным, превратившись в долгожителя довоенной эмигрантской печати — русская диаспора по всей Европе за десять лет прочтет 70 книжек журнала по 300—400 страниц каждая.

В редакционной статье, напечатанной в первом номере, политическая программа редакции формулировалась как «программа демократического обновления», со ссылкой на Февральскую революцию 1917 г. и категорического отвержения революции Октябрьской.

Далее говорилось, что «Современные записки» посвящены прежде всего интересам русской культуры, ибо «в самой России свободному независимому слову нет места, а здесь на чужбине сосредоточено большое количество культурных сил, насильственно оторванных от своего народа, от действительного служения ему». И потому «Современные записки» намерены придерживаться традиций «толстого» ежемесячника и ставят своей задачей объединение лучших сил русского зарубежья. Об этом же свидетельствовало само название издания, в котором соединились названия двух самых прославленных журналов прошлого столетия — «Современник» и «Отечественные записки».

Однако руководство было поручено именно представителям крыла правых эсеров — М. В. Вишняку, Н. Д. Авксентьеву, В. В. Рудневу, И. И. Бунакову-Фондаминскому и А. И. Гуковскому. Правда, самый старший из них, Александр Исаевич Гуковский, руководил журналом недолго: в возрасте 60 лет, в 1925 году, он покончил с собой. Самым молодым — под пятьдесят — был Марк Вениаминович Вишняк.

Дон Аминадо очень образно охарактеризовал в своих воспоминаниях создателей этого журнала: «В деле издания "Современных Записок" героями труда были четверо могикан,

четверо последних римлян: Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков, М. В. Вишняк, В. В. Руднев. Воображаемые их портреты должны были бы написать художники различных школ. Николая Дмитриевича Авксентьева – Васнецов. Илью Бунакова – Рерих, Вадима Викторовича Руднева – Врубель. А что касается единственного оставшегося в живых

Вишняка, то ему вместо портрета я всегда предлагал нашумевшего во времена оны Винниченко. И не столько самого писателя, сколько название его романа: "Честность с собой". Ибо никакая иная формула не могла бы со столь поразительной краткостью выразить Вишняковскую сущность: честность с собой — честность с другими. Все четыре редактора вышли из одной и той же школы старого русского идеализма, все принадлежали к одному и тому же Ордену Интеллигенции, но характеры и темпераменты были разные, и соединявшая их крепкая и до гробовой доски нерушимая дружба основана была не на взаимной гармонии мыслей и согласованности идей, а на вечных спорах, схватках и противоречиях…»

Таким образом, вопрос о строгой идеологической ориентации был сразу снят, что позволило привлечь в ряды авторов весь культурный цвет русской эмиграции. Вместе с тем за «Современными записками» прочно закрепилась репутация журнала для «стариков». Один из редакторов Марк Вишняк довольствовался простым объяснением: объем журнала и его периодичность не давали возможности помещать произведения всех авторов, а поэтому печатали только лучшее. Учитывая, что в состав редколлегии не входил ни один писатель, способный оценить художественное достоинство произведения, «лучшее» было поручено отбирать Федору Степуну — замечательному философу, доценту кафедры социологии в Берлине. На практике отдавали предпочтение авторам известным и умеренно консервативным.

Вряд ли удаленность Степуна от парижского литературного круга мешала ему расширить доступ новаторов к журналу. Как мы знаем, эсер Марк Слоним, сидя в Праге, тем не менее не пропустил практически ни одного мало-мальски интересного начинающего парижского писателя и поэта. Хотя очевидно, что печатать таких авторов, как Куприн, Бунин, Шмелев, Мережковский, Гиппиус, Зайцев, — несмотря на их эстетическую разноликость — куда надежнее для привлечения благосклонности как критиков, так и читателей. Так в «Записках» и делалось.

В первых же номерах журнала появилось несколько замечательных произведений: «Хождение по мукам» Алексея

Толстого, находившегося тогда в эмиграции, и лучший исторический роман Марка Алданова «Святая Елена, маленький остров».

Так что вопрос с литературной молодежью был решен сам собой не в пользу последней. Газданов, Фельзен, Яновский, Варшавский не могли писать «по-бунински» не столько в силу отсутствия таланта или опыта, сколько в силу принадлежности к иной культурной среде.

Еще сложнее в «Современных записках» дело обстояло с поэзией. Ее печатали по остаточному принципу. С большой горечью по этому поводу высказалась Марина Цветаева в письме к поэту Юрию Иваску: «…будь они прокляты – “Современные записки”, где дело обстоит так: “У нас стихи, вообще, на задворках. Мы хотим, чтобы на 6 страницах – 12 поэтов” (слова литературного редактора Руднева, – мне, при свидетелях)».

Позиция Руднева отражала реальное положение дел – новые поэтические имена были в журнале крайне редки.

Наиболее близким к литературной молодежной среде среди руководителей был Илья Исидорович Фондаминский. В журнале он публиковал свои историко-философские очерки «Пути России» под постоянным псевдонимом Бунаков, который он позаимствовал с вывески бакалейной лавки. В отношении других авторов был покладист и терпим, ему часто удавалось привлечь к сотрудничеству писателей и публицистов совершенно противоположных убеждений.

Как отмечал философ Георгий Федотов: «Первое, что поражало и покоряло в Фондаминском, была его редкая доброта… Совершенно неслыханной в кругу русской идеологической интеллигенции была его терпимость к чужим убеждениям, даже самым далеким, даже самым враждебным».

Вряд ли кто из новых парижских знакомых мог заподозрить в этом черноглазом, общительном и доброжелательном человеке революционера с героическим прошлым. Активный эсер, участник московского восстания в декабре 1905 года, Фондаминский не раз подвергался арестам. С 1906 по 1917 год он жил во Франции в эмиграции, занимаясь революционной организационной работой вместе с Борисом Викторовичем Савинковым. Вернувшись в Россию в феврале 1917 года, уже в апреле он стал комиссаром Временного правительства на Черноморском флоте, от которого позже и был избран в Учредительное собрание. Разгон Учредительного собрания вынудил Фондаминского перейти на нелегальное положение, и в 1918 году ему удалось через Одессу и Константинополь вернуться во Францию, где он отсутствовал чуть больше года. Во второй эмиграции встретит он свою

героическую смерть. Но это будет позже.

Теперь же, заглядывая в кафе на Монпарнасе, он, как свидетельствовала Нина Берберова, «устраивал какие-то кружки, куда приглашал поэтов, священников и философов, издавал религиозный журнал "Новый град", руководил какими-то собраниями… Книжки Смоленского, Кузнецовой, Ладинского, – утверждала она, – были выпущены в издательстве "Современных Записок" на деньги, собранные Фондаминским, и он сам продавал их направо и налево».

В середине тридцатых Фондаминский организовал философско-эстетическое молодежное объединение «Круг». Газданов в него не входил, но с Фондаминским был хорошо знаком по делам масонским, так что в «Современных записках» он не чувствовал себя чужестранцем. И как только в журнале приняли его первый рассказ — «Исчезновение Рикарди», стал активно печататься на его страницах вплоть до самых последних предвоенных номеров.

2

В отличие от многих своих коллег-ровесников Гайто пожаловаться на «Современные записки» не мог: за десять лет его сотрудничества с журналом там опубликовали восемь его рассказов, роман «История одного путешествия», началась публикация романа «Ночные дороги», прекращенная с началом войны, напечатали его эссе «О Поплавском» и «О молодой эмигрантской литературе», несколько рецензий.

И тем не менее его публикации в этом издании можно считать приятным недоразумением в писательской судьбе Гайто. Очевидно, что он попал туда по формальному признаку — как фигура признанная. Если бы в журнале последовательно сохраняли консервативный настрой литературного раздела, то имя Газданова не должно было бы появиться в списке авторов. Вещи, которые опубликовал он в журнале, были абсолютно разные по творческому методу, по тематике, словно он вновь только выбирал из целого мира те части, которые хотел художественно освоить. И как всегда, наиболее удобным жанром для его выбора становится рассказ.

Вначале он обращается к теме любви и счастья во «французском обличье», будто забыв о русских героях и извечных русских вопросах, — пишет «Исчезновение Рикарди» и «Счастье».

Потом появляется рассказ «Третья жизнь» — по сути эссе, которое пройдет почти незамеченным для критиков, но без которого Гайто не мыслил собственное продвижение как художник.

То он вновь возвращается в Харьков на Епархиальную улицу и ведет от лица Коли (как можно догадаться, Соседова) повествование в «Железном Лорде» — семейной драме основанной на подлинных событиях в жизни его соседей.

В реальности подобного рода творческим поискам не было места в журнале. И только отсутствием пристального взгляда критика можно объяснить то, что мы стали свидетелями продолжения поиска даже тогда, когда «Воля России» и «Числа» — наиболее уместные для этого издания — прекратили свой выпуск.

Если бы волей случая из всей эмигрантской печати до нас дошли только публикации Газданова в «Современных записках», то он остался бы в памяти потомков как писатель без стиля, без лица.

И еще больше запутали бы нас критические отзывы о нем в то время. Словно по инерции в них сохранена тональность откликов на «Вечер у Клэр»:

«"Исчезновение Рикарди" Газданова пленяет подлинной молодостью, духовным здоровьем, радостной верой в жизнь… — писала Ю. Сазонова в "Последних новостях". – Доверие автора к людям и жизни создает ту удивительную атмосферу, в которой даже величайшие несчастья не могут раздавить человека. Чувство непрочности жизни, сознание вечно сопутствующей тайны, которая может воздвигнуть почти непреодолимую преграду на самом беззаботном и счастливом пути, вызывает лишь молодую жажду духовного подвига…»

«Прост и хорош рассказ Газданова "Железный Лорд", — писал Георгий Адамович в тех же "Последних новостях". — Каждое слово светится, пахнет, звенит, и если автор мимоходом расскажет о ночевке в Сибири, на берегу большой реки, то сделает это так, что читатель чувствует какую-то почти физическую свежесть, будто река и темное лесное приволье где-то тут, поблизости, рядом».

А между тем это уже был совсем другой писатель, который мучительно выбирался из прежних параллелей тягостного существования. О том, что с ним происходило в эти годы, мы вполне могли бы понять по одной «Третьей жизни», наполненной интимными признаниями и автобиографичностью иного рода, чем те, которые были знакомы читателю «Вечера у Клэр»:

«Раньше меня всегда мучила мысль, что я никому не могу

рассказать обо всем, мою последнюю правду; и все, что напоминает ее, я изменю — и мне ничего не останется из того, что было в действительности; ничего — кроме нестерпимого желания рассказать. Я старался представить себе человека, которому мог бы сказать об этом, — и не находил его. Иногда это желание поднималось во мне с такой силой, что я уже почти начинал говорить, но что-то останавливало во мне душившие меня слова и признания, и я опять остался молчаливым и задыхающимся, как раньше. Я знал, что никогда не напишу об этом — потому что все равно это останется непонятным, — и даже самому себе я не могу признаться во всем. Один раз я хотел это рассказать священнику на исповеди, — хотя я не верил ни в Бога, ни в необходимость исповеди, — но я любил этого священника. И когда шершавая парча епитрахили покрывала мою голову и раздались заглушенные слова, которые он сказал, — я вспомнил о его диалектическом и холодном уме и о романтической его любви к Богу, которая была скорее явлением искусства, чем той простой и бесконечно крепкой любовью, от которой текут из глаз соленые человеческие слезы, — и замолчал.

И вот теперь я не колебался признаться себе во всем — до конца. Мне казалось, что когда кончатся слова, и рассказы, и чувства, то останется темное пространство впереди, наполненное непонятным и зловещим ожиданием. Но это было не так: и после всего, вместо мрака, которого я ожидал, я увидел точно ослепительное сиянье воздушной реки».

И было все в «Третьей жизни»: и любовь к Клэр, и гимнастика, и преподаватель Закона Божьего в харьковской гимназии, и признания Горькому о невозможности высказаться до конца, и рождение на Кабинетской. Только рассказано все было иначе, и почти никем не было услышано.

Во многом именно публикации в «Современных записках» сформировали о Газданове мнение, которое четыре десятилетия спустя озвучил Борис Зайцев: «…России он почти не видел — маленьким попал в Болгарию и т.п. Писатель даровитый, но впечатление странное производил: иностранец, хорошо пишущий на русском языке…»

Действительно, вещи, которые опубликовал Газданов за десять лет сотрудничества в «Современных записках», не являлись продолжением традиций русской прозы XIX столетия в том смысле, в котором оно понималось редколлегией. Более того, они не были продолжением и его собственных писательских традиций, о которых уже можно было судить по предыдущим рассказам и роману. Это был своеобразный творческий зигзаг — удаление от собственного жизненного опыта и максимальное

приближение к художественному осмыслению эмоций как таковых. Внешним проявлением этого зигзага был тот факт, что Газданов (за исключением упомянутого «Железного Лорда») как бы теряет своего автобиографического героя-повествователя.

И вместе с тем сотрудничество Газданова с «Современными записками» показательно, ибо в это время Гайто ведет поиск в ином направлении. Взгляд Газданова, сосредоточенный в период публикаций в «Воле России» и «Числах» на процессе умирания, обращается к процессу выживания. Прежняя проблема газдановских рассказов — проблема «исчезновения всего», как назвал ее Поплавский, сменяется проблемой сохранения.

В 1932 году он пишет рассказ «На острове» — воспоминание о Шумене, где воспроизведет слова своего директора гимназии: «В мире есть три рода борьбы за существование: борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на примирение. Помните, что самый лучший и самый выгодный род борьбы — это борьба на примирение».

Слова эти, написанные Гайто во время вступления в братство каменщиков и звучащие словно масонский код, станут ключевыми для Газданова-писателя середины 1930-х, когда он приступит к следующему роману.

ЭМИГРАНТСКИЕ ИЛЛЮЗИИ

Мудрый путешественник странствует лишь в своем воображении.
Сомерсет Моэм

1

Многое изменилось в жизни Гайто с тех пор, как он положил в стол «Алексея Шувалова». Первая половина 1930-х оказалась «смутным временем» в его жизни. Он разрывался между студенческой скамьей, шоферским креслом и писательским столом. В письмах к матери он жалуется, что автомобильная езда отнимает слишком много времени и ему некогда работать. Горькому он сообщает, что может писать по десять часов подряд. В итоге за три года — всего девять рассказов.

Сорбонной решено было пожертвовать, и он оставил университет. Потери друзей, утрата надежды на возвращение на родину чередовались с радостями от редких маминых писем и столь же редких литературных успехов.

Однако Гайто не покидало чувство легкого сожаления, когда он вспоминал о недоработанной рукописи «Алексея Шувалова», сохранившейся с 1930 года в небольшой коричневой тетради. Нет, он не чувствовал в себе сил вернуться к роману — все те события и монпарнасские трагедии казались уже далекими и словно бы отодвинулись от него. Литературные собрания как-то сами собой стали затухать. «Кочевье» собиралось все реже и реже, а к середине 1930-х заседания совсем прекратились.

Редкие творческие вечера, на которые собирались русские писатели, посвящались отдельным авторам и напоминали скорее отчет о проделанной работе, чем бурные диспуты 1920-х о поисках пути к подлинному искусству.

Но Газданов по-прежнему был готов писать о современной жизни, внутренне соглашаясь с замечанием Осоргина, что по первому роману нельзя судить о молодом писателе, потому что он питается опытом собственной памяти. Гайто уже знал, что писатель начинается там, где начинается художественный вымысел. К тому времени он освоил новую реальность достаточно для того, чтобы начать искать в ней неведомые маршруты. «Счастье», «Третья жизнь», «Водопад» — все они родились уже здесь, из его нынешних чувств, и потому обращены к настоящему

времени. Он почувствовал, что больше не нужно ни реанимировать, ни идеализировать свое прошлое, чтобы создавать художественные тексты, и это придавало ему сил. Он больше не питался импульсами давно прошедшей жизни, но, что намного важнее, мог уже ощутить необходимые импульсы в своем времени.

Именно поэтому он задумал новый роман, совершенно отличный от «Шувалова» и абсолютно далекий от мрачных монпарнасских реалий, — историю, наполненную счастьем, любовью, тончайшими душевными переживаниями героев, не ведавших горя и нищеты. На первый взгляд все это могло показаться странным, поскольку в его собственной биографии не было событий, которые внушали бы столь наивный оптимизм. Однако ни одно произведение не рождается на пустом месте. Были и у Гайто некоторые основания для мечтаний.

Одно из них — то, что на казенном языке чиновничьих отчетов называлось «стабилизацией жизни эмигрантской молодежи». Стабилизация, разумеется, была вынужденной.

В кругу Гайто это выглядело так: утратив надежду на профессиональный литературный заработок, те, кто выжил, обзавелись семьями и хоть сколько-нибудь приличной работой — ведь семьи надо было кормить. Среди литературной молодежи не осталось почти ни одного чернорабочего, зато появилось много отцов и матерей.

Вадим Андреев, Володя Сосинский и Даниил Резников давно оставили университет, как и Гайто, и женились на трех сестрах Черновых. Ольга, Ариадна и Наталья были дочерьми лидера эсеровской партии, министра земледелия Временного правительства и председателя Учредительного собрания России Виктора Михайловича Чернова. Семья Черновых была небогата, но в эмиграции славилась открытостью, гостеприимством, была близка с Мариной Цветаевой, Алексеем Ремизовым. Яркие, красивые, образованные сестры и в замужестве продолжали дружить между собой. К середине тридцатых у Андреевых и Резниковых уже были дети. Даниил Резников раньше других отошел от литературы и занялся коммерцией. Володя Сосинский работал фотографом, линотипистом, потом открыл собственную маленькую типографию, и хотя доход был невелик, но на литературу времени оставалось все меньше и меньше.

Жертвовать относительным благополучием ради удовлетворения творческих амбиций — такое положение было привычным среди эмигрантской молодежи, но не у всех хватало духу делать это за счет своей семьи. Особенно если некоторый творческий спад компенсировался личным счастьем.

Так или иначе, эмиграция из непреодолимого несчастья постепенно превращалась в обычную жизнь, в которой, наряду с тяготами, были и свои радости. Вокруг Гайто стали появляться дома, где воскрешалась воедино атмосфера любви и добра из «докатастрофного» прошлого, столь памятного его сердцу, появлялась и жизнеутверждающая обстановка, что подпитывалась новыми обстоятельствами современного быта. Гайто узнал об иной стороне эмигрантской жизни, казалось бы, отрицающей саму возможность счастья вдали от родины. Допустимость иных душевных движений, уже не зависящих от предыдущих лет скитаний и лишений, вдруг с очевидной ясностью стала вырисовываться в эмигрантских семьях, которые, несмотря ни на что, встали на ноги, устраивали свою жизнь, пытались быть счастливыми.

Похожие известия о харьковских друзьях получал Гайто из России. «На днях у меня был необычайный визит,— сообщала ему в письме мама. — Часов 5 вечера, сижу дома, читаю. Вдруг слышу: "Можно войти?" — "Пожалуйста", и как ты думаешь, кого я вижу? – Танечку Пашкову. Входит, как много лет тому назад, такая же жизнерадостная, веселая, бросается в объятия и объясняет, что она с мужем, с братом мужа и его женой — экскурсанты, едут в Цей, пойдут пешком на Цейский ледник, а там через перевал на юг Осетии и т.д. Обошли все гостиницы, нигде нет мест, все переполнено, просит приютить до следующего утра. Получив согласие она убегает, и через несколько минут с котомками за спиной являются еще трое. Сразу комната наполняется должными вещами, молодежь неистово хохочет. Мужчин отправляем в баню мыться и бриться, дамы умываются у меня, рассказывают свои впечатления, и Таня, как всегда, заливается заразительным хохотом, а затем приходят мужья, пьем чай, идут расспросы…

Долго мы с Таней беседовали, говорили мы много о тебе, о годах, когда мы не виделись, о Лельке, которая стала совсем невозможна — вся жизнь проходит в службе, масса у нее "поклонников", как говорили раньше, но о замужестве она и слышать не хочет. Леля Черкасова вышла второй раз замуж за прекрасного человека и очень счастлива. Мария Ивановна по-прежнему живет в своем бывшем доме с Иваном Петровичем, который страшно состарился и брюзжит. Коля Мильфорт женат, имеет двоих детей и мечтает их еще иметь. Лида тоже замужем, тоже с "ребеночком", а Жорж, блестящий инженер, проживает в Берлине и служит на почте, следовательно, даже в Германии "блестящие" инженеры не нужны. Много еще говорили, а в 5 часов они все вскочили, ушли, и я осталась опять одна, но уже среди

следов пребывания живой, симпатичной молодежи, которая хочет жить и рвется к познанию».

Нельзя сказать, что Гайто завидовал им; он всегда чувствовал отторжение, когда примерял на себя чужую судьбу. Скорее, он чувствовал их правоту в стремлении к душевному равновесию, которого сам был лишен и надежду на обретение которого, казалось бы, уже утратил. Но именно с этой надеждой он приступает к произведению с символическим названием «Начало», с первых страниц которого словно бы конструирует новую собственную биографию.

Если прежнего героя-повествователя Николая Соседова можно сравнить с фотографией автора, то главного героя «Начала» Володю Рогачева Газданов создавал, опираясь на свой живописный портрет, будто следуя словам Пушкина: «Себя как в зеркале я вижу, / Но это зеркало мне льстит…»

Гайто устранил все болезненные душевные свойства, приобретенные за годы скитаний, оставив лишь врожденные и привычные качества. Со стороны писателя это был определенный акт духовного строительства – он лепит такой характер, каким должен был бы обладать Николай Соседов, если бы избежал негативного жизненного опыта. Он проводит Володю теми же маршрутами, что и Николая, но без обстоятельств и впечатлений, навсегда отравивших мировосприятие Соседова.

Володя также плывет в Константинополь, но на нем хороший костюм, а не старое военное обмундирование. Он тоже выпускник, но не шуменской гимназии для неимущих недоучек, а Французского лицея для обеспеченных детей. Подобно Соседову, он не сразу попадает в Париж, но вместо маленького болгарского городка он повидал Прагу, Берлин — то есть поехал туда, куда должен был бы поехать сам Гайто, куда ему было бы естественнее попасть после Константинополя. Именно туда отправлялись те, у кого было чуть больше денег и связей. Добравшись до Парижа, герой оказывается не в жутком рабочем пригороде на бирже труда, а в одном из респектабельных парижских районов, где ему обеспечены и теплый прием брата, и неутомительная работа в конторе. Словом, новый герой Газданова в идеальной степени избавлен от тягот эмигрантского быта, и потому столицу он видит иными глазами, чем его литературный предшественник Соседов. Он тоже прогуливается по Монпарнасу, но картины, которые он там наблюдает, лишены трагизма, а вызывают лишь иронию:

«Вот этот сорокалетний мужчина уже пятнадцать лет сидит то в Rotonde, то в Coupole, то в Dome, пьет кофе-крем и не просит в долг больше двух франков, — пишет стихи, ученик знаменитого

поэта, умершего за год до войны; этот – художник, рисует картины еврейского быта Херсонской губернии — еврейская свадьба, еврейские похороны, еврейские типы, еврейская девушка, еврейский юноша, еврейская танцовщица, еврейский музыкант. Вот поэт, недавно получивший наследство, лысеющий, полный человек лет пятидесяти. Вот молодой автор, находящийся под сильным влиянием современной французской прозы, — немного комиссионер, немного шантажист, немного спекулянт — в черном пальто, белом шелковом шарфе; вот один из лучших комментаторов Ронсара, прекрасный переводчик с немецкого, швейцарский поэт тридцати лет — умен, талантлив и очень мил; по профессии шулер. Вот подающий надежды философ — труд об истории романской мысли, книга в печати о русском богоборчестве, интереснейшие статьи о Владимире Соловьеве, Бергсоне, Гуссерле; живет на содержании отставной мюзик-холльной красавицы, с которой ссорится и мирится каждую неделю».

«Неприятная вещь Монпарнас» — вывод, к которому приходит Володя Рогачев после увиденного. «Да, только это хуже, чем вы думаете. Я его знаю хорошо», — отвечает ему его спутник, не уточняя деталей.

Рогачев может позволить себе отстраниться от житейских эмигрантских клише и полностью посвятить себя самопознанию, анализу переживаний и впечатлений, приобретенных за время странствий. И если после выхода «Вечера у Клэр» критиками справедливо отмечалось, что главная героиня романа — это память его повествователя, то в новом романе главной героиней стала, безусловно, бесконечная рефлексия Рогачева. Именно душевным маршрутам его роман обязан своим новым названием. Закончив рукопись, Гайто озаглавил ее «История одного путешествия». Это намного точнее отражало суть книги, которая заключалась в поиске желаемых и ожидаемых чувств автора.

Сам Гайто всегда был скуп на выражение эмоций. «Не по-кавказски сдержан» — как говорили про него знакомые. Но он-то знал, что его сдержанность была вызвана не недостатком природного темперамента — своего рода генетической метаморфозой, — а отсутствием каких-либо ощущений в их первичном значении, в чистом, неотягощенном бесконечным количеством оговорок виде. Незамутненность чувств была ему знакома только в тех областях, которые были связаны с физической стороной его существования. Он знал это чувство, когда у него захватывало дух во время быстрой езды и он ощущал, как тело сливается с металлическим корпусом, как на малейшее движение руки или ноги машина откликается так

послушно, словно понимает цель их общего перемещения в пространстве. Он знал это чувство в мгновения физической близости с женщиной, когда вливался в ритм ее дыхания и предугадывал, какое движение его тела вызовет то или иное выражение ее лица. Но ясность в области эмоциональных движений представлялась ему почти недостижимой. Был ее лишен и его первый автобиографический повествователь, Николай Соседов. И теперь на поиск этой ясности Гайто отправил героя нового романа.

«…итак, — говорит в начале романа Володя, засыпая в каюте парохода, плывущего во Францию, — это, кажется, просто: не лгать, не обманывать, не фантазировать и знать раз навсегда, что всякая гармония есть ложь и обман. И еще: не верить никому, не проверяя».

Но новое путешествие вместо ясных положений внесло в жизнь Рогачева еще больше смятения. Пестрый мир, который составляло окружение брата, также лишен какой бы то

ни было однозначности. В нем также были смещены этические нормы и национальные представления, то есть те установки, отсутствие которых наиболее болезненно сказалось на младшем поколении эмигрантов, к которому принадлежали и Рогачев, и Соседов, и их создатель. В этом мире оказалось возможным и то, что родной брат Володи, Колька–хулиган, двоечник и дебошир, превратился в трудолюбивого коммерсанта, удачно женатого на англичанке, не говорящей по-русски, и то, что благородный англичанин Артур, владеющий несколькими языками, в том числе и русским, утонченный музыкант, влюбился в содержанку австрийского происхождения и стал убийцей ее сожителя. Поэтому Володе не удалось соблюсти ни одно из правил, которые он составил сам себе, отбывая в Париж: на протяжении всего романа он и обманывает, и обманывается, и фантазирует, и непрестанно ищет гармонию. В этом смысле его путешествие бесконечно. Отсюда совершенно очевиден финал романа: Рогачев отправляется в новые странствия.

2

По счастливому стечению обстоятельств Гайто удалось выпустить отдельной книгой и этот роман. Однако восторженной критики в свой адрес он уже не услышал. Если публикацию первых глав произведения под названием «Начало» встретили в

основном благожелательно — даже строгий Ходасевич откликнулся одобрительно, — то целиком «Историю одного путешествия» оценили как пустую безделицу, не оправдавшую первоначальных надежд.

«Если бы раскрыть "Историю одного путешествия" наудачу, на первой попавшейся странице, и, не касаясь того, что за ней и после нее, не вдумываясь в целое, оценить лишь блеск и живость письма, надо было бы признать, что Газданов — даровитейший из писателей, появившихся в эмиграции. Но когда прочитан весь роман, когда обнаружились его расплывчатые и зыбкие очертания, когда ясен разлад повествовательного таланта с творческой волей — впечатление от писаний Газданова все же тускнеет», — писал в рецензии на книгу Георгий Адамович. И это был один из самых мягких откликов. Роман упрекали в отсутствии постановки этических проблем. В целом откликов было немного, и их общий тон ничуть не смутил Гайто: в его судьбе «История одного путешествия» оказалась, без всякой иронии, очень своевременной книгой. Она придала ему сил, чтобы восстановить душевное равновесие, утраченное после «звездного» 1930 года.

В следующем 1936 году имя Газданова снова замелькало на страницах русских журналов, правда, немногие в его положении захотели бы такой скандальной славы. Да Гайто и сам не подозревал, во что выльется его публикация, когда отдавал в юбилейный номер «Современных записок» статью «О молодой эмигрантской литературе».

Второй раз за историю его жизни о нем писало так много знаменитостей, но от покровительственно-доброжелательного тона не осталось и следа. С ним серьезно вступили в дискуссию, уж слишком раздражающей была его статья. Ее главное положение заключалось в пессимистическом прогнозе автора на будущее литературы в эмиграции. Точнее, он утверждал, что живого литературного процесса уже нет в настоящем, и его отсутствие не замедлит сказаться на смерти эмигрантской литературы как таковой в ближайшие годы. Обозначив главные причины столь мрачного прогноза — ничтожное количество читателей, разрушение социально-психологических устоев, — Газданов завершает статью резким пассажем:

«Конечно, и в эмиграции может появиться настоящий писатель — я уже указывал на общеизвестный пример Сирина. Но ему будет не о чем ни говорить, ни спорить с современниками; он будет идеально и страшно один. Речь же о молодой эмигрантской литературе совершенно беспредметна. Только чудо могло спасти это молодое поколение; и чуда — еще раз — не произошло. Живя

в одичавшей Европе, в отчаянных материальных условиях, не имея возможности участвовать в культурной жизни и учиться, потеряв после долголетних испытаний всякую свежесть и непосредственность восприятия, не будучи способно поверить в какую-то новую истину, не отрицать со всей силой тот мир, в котором оно существует, — оно было обречено. Возможно, в этом есть некоторая историческая справедливость; возможно, что его жестокий опыт послужит для кого-то уроком. Но с этим трудно примириться; и естественнее было бы полагать, что она заслужила лучшую участь, нежели та, которая выпала на его долю — в Берлине, Париже, Лондоне, Риге, в центрах той европейской культуры, при вырождении которой мы присутствуем в качестве равнодушных зрителей».

В спор с Гайто Газдановым вступили старшие эмигранты — Марк Алданов, Владислав Ходасевич, Михаил Осоргин, Георгий Адамович, причем последние трое выступали на эту тему в печати неоднократно, настолько болезненной оказалась затронутая тема. Соглашаясь с тем, что бедность в буквальном смысле является одним из решающих препятствий на пути развития молодой литературы, они не принимали ни главную мысль газдановской статьи, ни тон, которым эта мысль была изложена. Из всех выступивших лишь Михаил Осоргин постарался быть наиболее объективным и сдержанным, оспаривая положения своего младшего друга.

Среди молодежи статью Газданова по понятным причинам поддержали почти все безоговорочно. И Гайто лишний раз убедился в непреодолимом барьере, который существовал между младоэмигрантами и писателями старшего поколения, не желавшими смотреть правде в глаза. Немногие из участников полемики доживут до того времени, когда прогноз Газданова уже будет невозможно опровергнуть. Но в этот момент самого Гайто больше волновала верность прогнозов относительно будущего собственной жизни, и потому после нашумевшего диспута, подобно Володе — герою недавно законченного романа, он отправляется в новое путешествие. Первый раз он едет к морю на Лазурный Берег. Результат этого путешествия превзошел все его ожидания.

ЮЖНЫЙ ВИРАЖ

Царь Соломон сказал, что не понимает трех вещей… Путь змеи на скале… Путь орла в небе… И путь женского сердца к сердцу мужскому.

Гайто Газданов. Призрак Александра Вольфа

1

Газданов и его спутники приехали в Болье на арендованной машине. Хозяин гаража сделал Гайто некоторую скидку, учитывая его прилежную работу и безотказность — Гайто иногда выходил по три, а то и по четыре ночи подряд, чтобы заменить заболевшего или запившего коллегу. Отправляться одному в такое дальнее путешествие было рискованно. Обычно русские предпочитали ездить на юг поездом. Только опытные водители могли осилить столь долгий утомительный и опасный путь. В это путешествие Гайто взял себе напарников.

И вот спустя несколько дней они уже лежали на берегу, подстелив широкие полотенца, отогреваясь после парижской зимы. Они приехали накануне поздно вечером, устроились в маленькой дешевой гостинице с удобствами в конце коридора, запахом свежевымытого пола и прогретого на солнце дерева. После длительной поездки, поужинав свежим сыром и бутылкой прекрасного траминера, они тут же уснули. Но чуть только солнце проникло сквозь полузакрытые жалюзи, Гайто раскрыл глаза, схватил полотенце и, умывшись, стал будить спутников.

Море в заливчике, на берегу которого они расположились, было идеально спокойно, глубоко на дне темнели крупные камни; опустив лицо в воду и открыв глаза, можно было видеть, как по камням бегают крохотные зеленые крабы; выше, почти у самой поверхности, проносились стайки маленьких рыб, резко, как по команде, менявшие направление.

Гайто, погрузившись по подбородок и стоя на кончиках пальцев, ощущал, как вода то поднимает, то опускает его, как будто стал с ней одним целым. Впервые за пятнадцать лет он испытал это изумительное чувство — снова погрузиться в морскую стихию, плавать, нырять, просто лежать, раскинув руки

и ноги, и смотреть на высокие белые облака, плывущие в таком же слепяще-синем, как и море, небе.

И тут Гайто увидел на горизонте плывущего человека. Он не мог различить, кто это — мужчина или женщина, но подивился смелости пловца, бывшего от берега на расстоянии более полукилометра. Он еще не знал, чем станет в его жизни этот человек и что произойдет дальше.

Так начинался роман, который продлился тридцать пять лет.

Сначала Гайто пытался найти в женщине, назвавшейся Фаиной Дмитриевной, черты Клэр, поскольку ироничностью и смелостью она часто напоминала ему давнюю юношескую любовь. Но потом отбросил всякие попытки сравнения, поняв, что они бессмысленны. Все-таки люди все — очень разные. И Гайто не хотелось сопоставлять Фаину ни с теми, кого он знал в реальности, ни с теми, чьи образы он носил в своем воображении.

Нельзя сказать, что парижская жизнь не баловала Гайто любовными успехами. Это отмечали даже его недоброжелатели. Как заметил по этому поводу ядовитый Василий Яновский: «Газданов, маленького роста, со следами азиатской оспы на уродливом большом лице, широкоплечий, с короткой шеей, похожий на безрогого буйвола, все же пользовался успехом у дам».

Однако взаимность, которая носила по большей части внешний характер, разумеется, не могла избавить его ни от одиночества, ни от тревоги, знакомых каждому не испытавшему подлинную взаимность чувств. Человеку же, ее трагически потерявшему, избавиться от гнетущей тоски было еще сложнее.

Гайто вспоминал, как за год до своей поездки на юг он с воодушевлением писал матери о сплетении нескольких радостных предчувствий, захвативших его. И встреча с возлюбленной, которую он прочил себе в жены, и надежда на свидание с матерью, и воображаемое знакомство этих самых дорогих для него женщин… Мать чувствовала, что с сыном происходит нечто важное, и, пытаясь скрыть тревогу, как бы ненароком, спрашивала его в письме: «О! Я забыла упомянуть еще о твоем "sentiment", о котором ты расскажешь при личном свидании. А может быть, ты, в виде красивого этюда, изложишь в следующем письме? Ты же меня любишь, а желание мое ты не исполнишь. Твои "sentiments" всегда тайна, это честно, красиво, но есть вещи, которые смешно скрывать: русская, как зовут, сколько лет и т.д., но ты все скрываешь».

«Этюд» случится позже, и не красивый, а страшный. Страшный настолько, что Гайто понадобится несколько лет спокойной и счастливой жизни, чтобы найти в себе силы описать

то, что он тогда пережил:

«Мне особенно тягостно, мне невыносимо тягостно было воспоминание о смерти одной из самых близких мне женщин. Ей было двадцать пять лет. После нескольких месяцев мучительной болезни она задохнулась, выпив немного воды, и бессильные ее легкие не могли вытолкнуть этот последний глоток из дыхательного горла. Голый до пояса, стоя на коленях над ее умирающим телом, я делал ей искусственное дыхание, но ничего уже не могло ей помочь, и я отошел, когда доктор, тронув меня за плечо, сказал, чтобы я оставил ее. Я стоял у ее кровати, тяжело дыша после долгих усилий и отчаянно глядя в ее чудовищные, открытые глаза, с этой беспощадной свинцовой пленкой, значение которой я так хорошо знал. Я думал тогда, что отдал бы все за возможность чуда, за возможность дать этому телу немного моей крови, моих бесполезных мускулов, моего дыхания. Слезы текли по моим щекам и попадали мне в рот; я неподвижно простоял так, пока она не умерла, потом я вошел в соседнюю комнату, лег лицом вниз на диван — и мгновенно заснул, потому что за последние месяцы я ни разу не спал больше полутора часов подряд. Я проснулся с сознанием того, что это было предательство с моей стороны, мне все казалось, что я покинул ее в самую страшную, последнюю минуту, а она думала всегда, что может рассчитывать на меня до конца. И мне никогда не удалось никого спасти и удержать на краю этого смертельного пространства, холодную близость которого я ощущал столько раз. И вот почему, просыпаясь каждый день, я торопился тотчас соскочить с постели и начинал делать гимнастику. Но до сих пор всякий раз, когда я остаюсь совершенно один и со мной нет ни книги, которая меня защищает, ни женщины, к которой я обращаюсь, ни, наконец, этих ровных листов бумаги, на которых я пишу, я, не оборачиваясь и не шевелясь, чувствую рядом с собой — может быть, у двери, может быть, дальше — призрак чьей-то чужой и неотвратимой смерти».

Гайто был настолько обессилен потерей, что в первые дни смог лишь отправить Вере Николаевне короткое известие о смерти любимой девушки, не вдаваясь в подробности.

«Только что получила, мой дорогой, родной Гайтюша,— писала она ему в ответ, — твою ужасную открытку о смерти той "fillette", из-за которой ты перенес столько хлопот, забот и бессонных ночей. Когда ты мне сообщил, что у нее гнойное воспаление почек, то я, не будучи знаменитостью в области медицины, знала, что она не поправится, но не хотела тебя огорчать и молчала, не могла даже ответить на письмо, зная, что придется получить и известие о смерти. Ужасно умереть во цвете

лет, 26 лет! Хотя при каждом случае смерти я вспоминаю твои слова после смерти Нади — сестры Дзбна. Ты писал: "еще одна из в последний раз дышащих". Или еще: "мы не можем привыкнуть к смерти близких, а между тем это так объяснимо: один встает на одной станции, другой на следующей". Или: "ужасная вещь смерть — лучше тюрьма, одиночка, крысы, чем этот ужас". Я, может быть, не точно говорю то, что ты писал, но я прекрасно помню все эти слова — я всегда читаю и думаю, что тебе много пришлось в жизни передумать грустных вещей. Да, все это печально, очень печально…

Как я завидую людям сильным, трезвым, смотрящим прямо в глаза жизни. Случилось несчастье, ушел человек, вернуть его нельзя, а потому возьми себя в руки и создай новую жизнь. А жизнь надо уметь создать».

Если бы мать сейчас была здесь, на Лазурном Берегу, она бы поняла, что Бог услышал ее молитвы. Хотя вряд ли она смогла бы представить именно такую женщину рядом с сыном. Внешне они были слишком разные. Фаина была крупной, чрезвычайно веселой, умной и жизнерадостной женщиной, которая твердо стояла на земле. Но у нее было главное – она и сама умела создавать.

Дочь одесских греков, Фаина с детства была приучена труду, помогая и отцу в торговле, и матери, присматривая за младшей сестрой. Отец настаивал на том, чтобы дочь получила образование, и она окончила коммерческое училище. Перед Первой мировой войной она вышла замуж за поручика Гавришева, который оказался бездельником и приживалой и вышел тут же в отставку. Кроме карт, вряд ли его что-либо еще интересовало. Внешне он был молодцеватым и представительным, что и привлекало Фаину. Однако вскоре она обнаружила за внешним блеском молодого офицера пустоту и скаредность. Она с детства приохотилась к чтению, хорошо знала не только русскую классику, но и современную литературу, хватаясь за книжку всякую свободную минуту. Ее мужа, кроме спортивных сводок, светской и криминальной хроники в газетах, ничего не привлекало. Таких имен, как Александр Блок или Валерий Брюсов, он просто не слышал, хотя прочитал однажды «Поединок» Александра Куприна и жутко ругался, громогласно заявляя, что попадись ему этот щелкопер, он его тут же вызовет на дуэль. Но Куприн ему не попадался.

Младшая сестра Фаины вышла замуж за поляка, работавшего в почтовом ведомстве, и вскоре уехала с ним в Варшаву.

У ее отца, Дмитрия Ламзаки, имелась довольно большая лавка колониальных товаров в Одессе, и он уже собирался

расширять торговлю и присматривал наиболее удобное место еще для одной, как грянула революция, заставившая семью тронуться с места.

Во Францию Ламзаки попали не сразу. Они были из тех выходцев из России, кто добирался до Европы через Восток. Несколько лет отец Фаины торговал в Индии. А потом, чутко уловив ситуацию, предложил семейству перебраться во Францию, на юг, где его дальний родственник держал куриную ферму.

Больше всего эта идея пришлась по душе ее мужу Алексею Гавришеву — он слышал, что, если разработать свою систему игры в рулетку в Монте-Карло, можно в один вечер стать миллионером.

Миллионером он не стал. И Фаина, еще несколько лет терпевшая Гавришева возле себя, потом откупилась небольшой суммой и развелась с ним.

Ко времени встречи с Газдановым Фаина уже похоронила родителей и стала совладелицей фермы. Болье-сюр-Мер она присмотрела давно и приезжала сюда отдыхать, когда могла позволить себе передышку. Из близких родных у нее оставались только сестра и племянницы в Варшаве. Родственник отца и основной владелец фермы был глубокий старик, дети его давно уехали в Аргентину, и никто из них не собирался возвращаться. Фаина хорошо освоила хозяйство, прилично знала французский и английский языки. Но литературные парижские битвы были от нее далеки, она принадлежала совсем другому слою общества, который Гайто не слишком хорошо знал. Впрочем, и его мама в годы Гражданской войны пыталась при помощи торговли спасти их от голода и дать возможность сыну спокойно учиться в гимназии, не думая о заработке.

Вечером Гайто дал Фаине последний том «Современных записок», где была его статья «О молодой эмигрантской литературе». На следующее утро, когда они лежали на берегу, Фаина смотрела на него пытливо и, как ему показалось, с большим уважением и серьезностью.

Короткий отпуск кончался. Надо было возвращаться в Париж. Приятели не мешали Гайто. Увидев зарождающийся роман, они нашли себе занятия — ездили в Ниццу, как-то раз отправились в Монте-Карло. Гайто туда не тянуло: еще по собственному юношескому опыту он знал, что игра — это всегда проигрыш. Помимо хрестоматийной истории Достоевского, в памяти Гайто имелись и более близкие примеры, например, писателя Михаила Арцыбашева, который когда–то оставил в казино фантастическую по тем временам сумму — 50 тысяч рублей. Наслышан он был и о трагикомической истории, приключившейся с Георгием

Адамовичем, фактически проигравшим в Монте-Карло прекрасную квартиру, о чем потом долго сокрушались его друзья Ирина Одоевцева и Георгий Иванов. Деньги на квартиру дала Адамовичу богатая тетушка, а он их тут же отнес в казино, так что потом опять вынужден был снимать жилье. У Гайто подобные истории всегда вызывали недоумение. Не то чтобы он кичился своим благоразумием, но искать удачи в делах профанских, тем более денежных, ему уже было не интересно. Ему хотелось остроты иных ощущений.

Общение с Фаиной настолько захватило Гайто, что он посвящал ей все свое время. Они гуляли по окрестностям, взбирались на невысокие холмы, ездили на Кан-Фарра, бывали вдвоем в Ницце.

Там они сидели на скамейке в порту Вильфранж и наблюдали за отплывающими кораблями. Потом, взяв удочки у хозяина гостиницы, наловили рыбы, которую им приготовили на кухне в ресторане гостиницы. В Антибе поднялись к маяку и долго смотрели на неподвижное в тот безветренный вечер море и сплошную линию фонарей, освещавших длинную извивающуюся прибрежную дорогу.

Стрекотали цикады, аромат южных цветов и выжженной на солнце травы наполнял воздух, и его можно было пить и пить, он опьянял, и лишь легкий бриз освежал на мгновение голову. Гайто казалось, что вот он и вернулся на родину, и, обнимая за теплые плечи Фаину, вдыхая запах ее волос, он чувствовал умиротворенность… Уезжать не хотелось.

Последний вечер они провели вчетвером. Хозяин приготовил им великолепный ужин из рыбы и морских моллюсков, они пили прекрасное вино из хозяйского погреба, наслаждаясь беззаботной беседой и делясь своими впечатлениями.

Гайто уже думал о предстоящей обратной дороге. Был момент, когда он пожалел о том, что приехал на юг в компании. Конечно, он не мог предвидеть всех сюрпризов поездки, но все же отсутствие интуиции в данном случае ему было досадно. Теперь же он почувствовал, что ему было бы тягостно возвращаться одному, и его спутники скрасят нетерпеливое ожидание, в котором он покидает теперь Болье.

Перед ужином Гайто с Фаиной в последний раз прошлись вдоль берега моря. Они обо всем договорились. Фаина Дмитриевна продаст свою часть фермы и приедет в Париж. Приедет, как только позволят дела…

Фаина переехала к Гайто осенью 1936-го. Исполнились пожелания матери, о которых она писала ему год назад: «Ты непременно должен жениться, это тоже необходимо, как есть, пить, умываться и одеваться. Тогда только можно нормально жить и работать. Я не говорю, что беги, мол, Гайто, и женись на первой попавшейся девице, нет, но нельзя так безрассудно жить, как ты живешь. Все время ты окружен женщинами и все как-то бестолково. Теперь надо начать новую, красивую жизнь и помнить, что у тебя жизнь не должна проходить вне искусства».

Правда, Гайто не мог ее порадовать в отношении детей. Он написал матери все как есть.

Семейный образ жизни внес некоторые коррективы в ежедневный распорядок, но незначительные: Фаина Дмитриевна не вмешивалась в литературно-общественные дела Гайто, тем более – в масонские. Главную свою задачу она видела в упорядочении быта и создании семейного уюта. Она была на одиннадцать лет старше мужа, и в ее отношении к Гайто сквозили, несомненно, и материнские чувства. Гайто дал ей прочитать письма Веры Николаевны, и Фаина Дмитриевна из них поняла, насколько внутренне одиноким, а иногда и совсем незащищенным чувствовал себя ее муж, внешне всегда такой уверенный, даже самоуверенный, гордый и независимый.

Только перед матерью он раскрывался, да и то отчасти, потому что та жизнь, какую он вел еще со школьной скамьи — сначала жизнь сироты, потерявшего отца, потом мальчишки, ввергнутого в пекло Гражданской войны, — та жизнь выработала в нем черты волчонка. Он постоянно был собран, постоянно начеку, и только там, на юге, как она поняла, он был полностью раскрепощен, свободен; он был тогда как мальчишка, который играл роль взрослого, и она рядом с ним ощущала себя помолодевшей лет на десять. В Париж к Газданову она переезжала без сомнений.

Приходя с работы часов в пять утра, Гайто поначалу старался не будить жену, но Фаина Дмитриевна быстро приспособилась к его режиму. Ей было не привыкать после фермы вставать рано утром: крестьянский труд всегда начинается с первыми петухами. Так что утром Гайто ждал дома ранний завтрак. Потом он спал часов пять-шесть, после чего мог садиться за работу или гулять с женой по Парижу, показывая ей свои любимые места.

Они поднимались на Монмартр, бродили среди выставленных картин, художников и туристов, заходили в белоснежную мраморную базилику Сакре-Кёр, где в любое время суток можно было увидеть многих молящихся.

Стоя на верхних ступенях широкой лестницы, которая вела к торговым улицам, они могли видеть почти весь город — его мосты, дворцы, разноцветные крыши домов, Эйфелеву башню в легкой дымке, соборы, вокзалы, большие зеленые пятна парков. Иногда они просто шли по улицам куда глаза глядят, часто выходили к Сене и стояли у перил набережной. И он рассказывал ей о столице то, что она не узнала бы ни в одном туристическом справочнике — он рассказывал ей свою жизнь в этом городе…

В Париже о переменах в своей личной жизни Гайто никого не оповещал — они с Фаиной решили обойтись без свадьбы и регистрации. Забавно, но уже после двух-трех лет семейной жизни Газданов получил несколько писем от Александра Павловича Бурова, одного из самых состоятельных писателей русского зарубежья (знающие люди сообщили Гайто, что «Числа» издавались в основном на его деньги). Бурову чем-то приглянулся Газданов, и он написал, что если тот не женат, то ему следует приехать в Амстердам, он его здесь познакомит с очень приятной девушкой из богатой русской семьи… Имевший уже трехлетний семейный стаж Гайто ответил Бурову с иронией:

«Дорогой Александр Павлович, искренно благодарен за Ваши заботы о моем будущем и за Ваши матримониальные проекты. Увы, они неосуществимы по той, хотя бы, причине, что я женат (на женщине без денег, конечно)».

Действительно, материальное положение Гайто после женитьбы не особенно изменилось. Однако в остальном появление Фаины сказалось чрезвычайно благотворно. Она словно следовала завету его матери, писавшей Гайто: «Ты постепенно хочешь зарыть свой талант в землю. Но если ты будешь около меня, я, пока жива, буду всемерно содействовать тому, чтобы ты писал. В этом вся жизнь. Нельзя жить обывателем — это неинтересно».

Фаина была человеком практического ума. Убедившись в том, что Гайто тратит непозволительное количество времени на возвращение домой из гаража, куда полагалось сдавать после смены автомобиль, решила переменить место жительства. Это позволит Гайто не только экономить пару часов в сутки, но и физические силы.

Вскоре она нашла небольшую трехкомнатную квартиру на улице Брансьон в пятнадцатом округе, куда они переселились в начале октября. Погода в это время в Париже обычно неустойчивая: то моросит нудный мелкий дождь, то вдруг проглядывает солнце и становится так жарко, что пар поднимается от тротуарных плит, то вновь набегают тучи. Словом, зима еще и не начиналась, а Газдановы вновь задумались

о летних путешествиях. Гайто рассказывал Фаине о детской мечте — проплыть Индийский океан: «К сожалению, сейчас мои планы стали скромнее». — «Это поправимо», — улыбнулась Фаина в ответ, и поведала ему историю о том, как к ним в Индию, где она прожила с родителями несколько лет, приплыл молодой человек из Европы, притом без всяких затрат. Так неожиданно родился один из лучших рассказов Газданова «Бомбей». Впрочем, глядя на Фаину, Гайто не раз задумывался, что, если бы лучшие картины и встречи были предсказуемы, жизнь была бы невероятно скучна, и потому все самое ценное настигает нас случайно. На этом был построен «Бомбей».

3

Подобно «Вечеру у Клэр» рассказ «Бомбей» повествовал не только в пространстве, но и во времени, где приказчик служил связующим звеном с многочисленными персонажами, с которыми он сталкивался в пути.

Газданов в этом рассказе прибег к нередкому для писателей приему – описывал известные ему из личного опыта места и помешал в них созданные его фантазией персонажи, сочетая это с описанием мест неизвестных, далеких, поселяя в них героев, прототипы которых были ему хорошо известны. Эта мистификация, искусно осуществленная им в «Бомбее», приводила к неожиданному эффекту. Картинки, почерпнутые им из воспоминаний Фаины, были настолько убедительны, что, по словам Георгия Адамовича, одна их общая знакомая, прочитав «Бомбей», воскликнула: «Да когда же это Газданов успел побывать в Бомбее?!» Сам Адамович тоже не оставил газдановский рассказ без внимания:

«"Бомбей" — вещь чрезвычайно типичная для Газданова. Начинается она описанием встречи рассказчика с пожилым шотландцем Питерсоном в большом монпарнасском кафе. Случайная беседа соседей по столику приводит к дружбе, изменяющей всю жизнь одного из них. Однако перед тем как рассказать о путешествии своего героя в Индию, Газданов обстоятельно осведомляет нас о его жизни в Париже, в квартире молодого испанца, который охарактеризован так ярко, будто ему предстоит играть в повествовании главную роль. В действительности, это — лицо эпизодическое, или, впрочем, эпизодично у Газданова решительно все. Принцип его творчества

полностью противоположен тому, который провозглашен был Чеховым, — правда, только для драмы: ружья — повсюду, а которое из них выстрелит, предвидеть никак нельзя… Не обходится, разумеется, и без картин тропической природы. Больше всего, однако, уделено внимания приятелям и знакомым Питерсона, причем и тут Газданов нередко оказывается на уровне самых высоких требований, которые можно предъявить писательскому мастерству. Супруги Рабиновичи, обрисованные мимоходом, двумя-тремя штрихами, или другая чета, Серафим Иванович с Марией Даниловной, — будто наши давние знакомые…

Чтение увлекательное, но вместе с тем и удивляющее… Внутренних причин для прекращения повествования нет, а ведет его Газданов с таким заразительным удовольствием, что всякий готов читать и дальше, сколько угодно… Странный случай!»

Это писал Адамович в отклике на публикацию «Бомбея» в «Русских записках». Для Газданова это было знаменательным началом сотрудничества с новым толстым журналом, где его приняли как признанного прозаика.

Этот журнал, как и «Современные записки», организовали тоже эсеры по предложению русского эмигранта из Шанхая, который был готов помочь средствами. Задача журнала — сделать содержание более актуальным и уделять больше внимания Дальнему Востоку, где осело немало русских эмигрантов.

Возникший в 1937 году, новый журнал лишь на титульном листе указывал в качестве места издания «Париж-Шанхай». Вскоре журнал стал выходить как ежемесячный под редакцией Павла Николаевича Милюкова. Председатель партии кадетов, депутат Государственной Думы и министр иностранных дел Временного правительства в прошлом, в Париже Милюков в течение двадцати лет редактировал самую влиятельную и популярную газету эмиграции «Последние новости». Он пользовался огромным авторитетом, и потому издатели надеялись, что его имя привлечет новых читателей.

Насколько надежды оправдались, судить было трудно, поскольку журнал просуществовал недолго. Его последним выпуском стал сдвоенный 20/21 номер за август-сентябрь 1939 года. Однако за короткую жизнь журнал успел снискать себе славу демократичного издания — в нем охотно печатали молодых.

Участие в «Русских записках» помогало Гайто поддерживать связи со старыми друзьями Вадимом Андреевым и Владимиром Сосинским. И тот и другой печатались часто в одних и тех же номерах, что и Газданов. С 5-го по 12-й номер журнал публиковал

крупное прозаическое произведение Вадима Андреева «Детство. Повесть об отце». Газданов порадовался за Вадима и поздравил его. В этой мемуарной повести Вадим сумел показать своего отца, замечательного писателя Леонида Андреева как сложного, необычайно талантливого человека, игравшего значительную роль в русской литературе начала XX века. Газданов увидел, как много общего было у него и у Вадима в восприятии бурных событий 1917-го и следующих лет, оценил и то, как выросло художественное мастерство его друга.

Газданову журнал дал возможность подтвердить свою репутацию как одного из наиболее замечательных писателей молодой ветви русского зарубежья. И надо заметить, что, в отличие от публикаций «Современных записок», его произведения в новом журнале отличало поразительное стилистическое и мировоззренческое единство. Помимо «Бомбея» в «Русских записках» вышли еще два настоящих шедевра – «Хана» и «Вечерний спутник».

Во всех трех новеллах ни сюжетно, ни композиционно не похожих, были две общие составляющие, по которым угадывался создатель «Вечера у Клэр», — единый герой — рассказчик и мотив возвращения. Это был опять тот случай, когда и автор должен быть благодарен своему герою, свидетелю удивительных человеческих метаморфоз, им же самим сочиненных. Газдановская автобиографичность давно уже стала мнимой, но своей раз и навсегда заданной подлинностью играла на руку автору, когда Газданов обращался к лицам и местам, заведомо незнакомым. Особенно ярко это проявилось в рассказе «Вечерний спутник».

Сюжет рассказа представлял собой историю знакомства русского таксиста, в котором без труда угадывались черты самого автора, с высокопоставленным лицом, стариком-французом. Старик был тяжело болен — газеты уже пестрели сводками о состоянии его здоровья. Но иногда между тяжелыми приступами он ночью выбирался подышать воздухом недалеко от дома на скамейке. Там он и встретил русского эмигранта, попросив молодого человека об одолжении — тайно отвезти его на машине в Болье к морю, где жила его возлюбленная, с которой они давно не виделись. С трудом пережив утомительную дорогу, старик простился с единственной любовью и по возвращении в Париж умер.

Несмотря на печальную тональность, путешествие оказалось прекрасным. Русский таксист невольно стал свидетелем великого любовного переживания. И никакие последующие признания служанки о том, что возлюбленная старика была ему неверна, не

смогли разочаровать повествователя. «И если многолетняя ложь и измены испанской красавицы ни в чем не уменьшили ее очарования и привели к такому удивительному и беспримерному завершению, то, я думаю, всякая истина, сопоставленная с этим блистательным обманом, увядает и становится идеально ненужной», — заключает он свой рассказ.

Что же в этой истории так могло поразить русских соотечественников, которые, прочтя рассказ, восклицали вслед за Адамовичем: «Но какая странная фантазия пришла ему на этот раз в голову!»…

Дело в том, что рассказ был написан так, что не вызвала сомнений не только подлинность портрета повествователя, но и второго героя, хорошо известного парижанам, в том числе и русским. Умирающему французскому политическому деятелю Газданов придал внешность, черты характера, привычки и даже болезни реального лица – премьер-министра Франции Жоржа Клемансо. И все, что знали о Газданове его знакомые — и то, что он сел за руль незадолго до смерти Клемансо в 1929 году, и то, что он ездил на автомобиле в Болье, и то, что возвращался после работы пешком под утро через Трокадеро, где действительно жил премьер-министр, — все эти подробности были переплетены в рассказе так искусно, что посвященный читатель сразу застывал в недоумении — неужели это было на самом деле?! Охладить его могло только личное знакомство с Гайто — в застолье он был известен как прекрасный рассказчик и выдумщик, не раз заставлявший поверить присутствующих в самые невероятные истории. Пребывая примерно в таком состоянии, Адамович немедленно откликнулся на рассказ:

«Газданов — очень талантливый человек, это известно давно, незачем снова расточать ему комплименты, относящиеся к слогу, к стилю, к остроте зрения, свежести восприятия… — писал Адамович. — Рассказ оригинален и интересен сам по себе, как все, что пишет Газданов. Непонятно только, зачем понадобилось автору подчеркивать в нем полноту портретного сходства… Сначала принимаешь рассказ за "быль", а затем, убеждаясь в невероятности фабулы, удивляешься причудам мысли, его создавшей».

Но ответ на этот упрек был скрыт в самом рассказе. В последних словах о блистательном обмане и ненужной истине Гайто уже все сказал и, влекомый «причудами мысли», двигался дальше. «Полет» — так назывался его следующий роман.

Это был второй роман после «Истории одного путешествия», лишенный знакомого нам героя — повествователя. Написанный с позиций авторского всеведения, «Полет» не давал уже никаких

оснований искать в нем автобиографические знаки и адреса. Однако по тематике и реалиям, в нем воссозданным, он являлся продолжением периода «эмигрантских иллюзий». Так на стыке ожиданий и воплощений родилось одно из самых утонченных произведений Газданова — камерная драма со сложнейшим анализом «психологического существования» самых потаенных чувств и мыслей узкого круга лиц, в основном членов одной семьи русских эмигрантов. И в этой драме, как писал Адамович, «он ищет той сложности в общей панораме, которая произвела бы впечатление, что изо дня в день "так было, так будет" — и вместо одного человека мог бы на данном месте оказаться другой, без того, чтобы изменилось что-либо существенное. Главное у него не люди, а то, что их связывает, то, чем заполнена пустота между отдельными фигурами, — бытие, стихия, жизнь, не знаю, как это назвать».

В тот момент утверждение критика было справедливо по отношению ко всей газдановской жизни, мнимой и действительной. Через книги, через братство вольных каменщиков, теперь — через любовь заполнялись пустоты не только пространства художественного, но и душевного. Три предвоенных года оказались самыми счастливыми в эмигрантской жизни Гайто. Любовь и вдохновение совпали в одной временной точке, и он пишет без устали, на этот раз ведомый плодотворной силой не только фантазии, но и реальности. В эти годы помимо блестящих рассказов по совету жены он создает новый роман «Ночные дороги».

ЗАПИСКИ ШОФЕРА

Русские таксисты в мирные годы между двумя войнами становятся такими же парижскими «типами», как уличные художники, облюбовавшие Монмартр, и непременные консьержки, без которых немыслим Париж. С парижских улиц русские таксисты незамедлительно перекочевывают в романы и кино, представая там в обличье разоренных аристократов или великих князей, изгнанных из своих родовых имений революцией и бородатыми мужиками, которых они секли кнутом и заставляли гнуть спину. Так на парижской мостовой родился еще один миф — о русских князьях-таксистах…

Елена Менегальдо. Русские в Париже

1

В 1937 году Владимир Феофилович Зеелер, известный среди русского зарубежья как секретарь парижского Союза русских писателей и журналистов, составил для эмигрантов справочник «Русские во Франции». Гайто, будучи уже водителем с приличным стажем, раскрыл его на страницах, посвященных французским правилам автомобилистов. Глава была написана неким инженером Полуэктовым в помощь тем, кто собирался стать шофером такси.

Первым делом следовал перечень документов: «серая карта», или паспорт машины по-нашему, «розовая карта», то есть водительские права, «зеленая карта», или разрешение на поездки, паспорт самого автомобиля со свидетельством об уплате налога, страховка на случай дорожных происшествий… Читая длинный список, Гайто невольно улыбнулся: приведись ему составлять подобный перечень вместо инженера Полуэктова, к необходимому формальному набору он не преминул бы добавить рекомендации иного, прежде всего психологического характера.

Гайто вспоминал, с каким трудом он собирал необходимые бумаги, когда устраивался в гараж. Тогда победа над французской бюрократией казалась ему основным препятствием в получении желанного места. Однако теперь, отсидев уже более шести лет за рулем, он понимал, как были далеки от реальности его радужные представления об образе жизни парижского таксиста.

Как и во времена прежних испытаний, связанных с войной, бегством, военными лагерями, работой на заводе, главная проблема для Гайто заключалась не в мобилизации физических сил и преодолении бытовых неудобств; она заключалась в сохранении гаммы чувств, которые не только не предполагались в его обстоятельствах, но чрезвычайно мешали его существованию. Способность улавливать оттенки как собственных душевных движений, так и душевных движений окружающих, даже простое любопытство — все эти качества, которые помнил в себе Гайто с раннего детства, были не востребованы и потому неуместны в данной ситуации. «Ситуация» тянулась много лет, и, если бы не его привычка записывать свои впечатления и продлевать тем самым их жизнь, он давно должен был бы утратить душевную выносливость и получить взамен лишь натренированную выносливость тела. Все было в соответствии с эпизодом, рассказанным ему Марком Слонимом — большим другом Марины Цветаевой.

Однажды Марк приехал в Медон навестить поэтессу. Та сидела за кухонным столом, низко нагнувшись над тетрадью. Марк спросил, не помешал ли он ей работать. Она ответила, что писать стихи сейчас совершенно не может: «При настоящей работе самое важное — вслушиваться в себя, для этого нужны досуг, тишина, одиночество». Потом помолчала и добавила: «Обваливая рыбу в муке, я могу думать — но чувствовать не могу, запах мешает». И Гайто, никогда не любивший ни самой Цветаевой, ни ее стихов, с горечью понимал, что эти слова, полные отчаяния, относятся к каждому русскому, кто пытался заниматься литературой в эмиграции среди неизбежной поденщины.

Но в тот день, когда Гайто впервые вышел на работу в качестве таксиста, он надеялся, что время, проведенное за рулем, будет чрезвычайно плодотворным, богатым впечатлениями и воспоминаниями. На деле же ему почти не удавалось сосредоточиться ни на одной мысли, а беглость впечатлений стала быстро утомлять.

«Никакое впечатление, никакое очарование не могло быть длительным при этой работе – и только потом я старался вспомнить и разобрать то, что мне удалось увидеть за очередную

ночную поездку из подробностей того необыкновенного мира, который характерен для ночного Парижа», – вспоминал он о своих первых днях за рулем.

В неменьшей степени отрезвило Гайто и первое знакомство с разнообразием ночных клиентов. Гайто давно уже не считал себя наивным юношей, но первоначальный шоферский опыт заставил его в этом слегка усомниться, поскольку он быстро убедился в том, что его прежнее знание человеческой натуры не столь велико, чтобы избежать сюрпризов и потрясений.

Как-то доставив по домам несколько пассажиров, засидевшихся в ночных гостях, Гайто проезжал мимо приличной дамы, прислонившейся к тротуарной тумбе. Он остановил машину, привлеченный ее криками и стонами; оказалось, у нее была сломана нога. Гайто бережно отнес женщину в автомобиль и повез в госпиталь. Но при появлении врача дама тут же заявила, что не собирается платить таксисту, так как он сбил ее с ног, превысив допустимую скорость движения. Гайто был потрясен тем, как легко эта дама, которая не видела от него ничего, кроме участия, навлекала на него целый ком неприятностей, из которых самым невинным было лишение дохода, а самым тяжелым — обвинение в попытке непреднамеренного убийства. На его счастье, врач в приемном отделении оказался во всех отношениях опытным специалистом. Он быстро определил, что перелом был вызван не ударом машины, и не час назад, как уверяла пострадавшая, а намного раньше, и что некоторые следы на лице дамы, которые Гайто не разглядел при свете тусклого уличного фонаря, свидетельствуют о разгульном вечере с бурным выяснением отношений, следствием которых, судя по всему, и была предъявленная травма. Гайто поспешил ретироваться, даже не задумываясь о потерянных деньгах и времени.

Отъехав от госпиталя подальше, он остановил машину на стоянке в ожидании пассажира, закурил и задал себе вопрос: что он будет делать в следующий раз, когда вновь возникнет похожая ситуация? В том, что она возникнет, Гайто почти не сомневался. Его убедила в этом невозмутимость врача, с которой тот выслушивал стенания и возмущения «жертвы». Гайто вспомнил скептический взгляд доктора, который тот время от времени бросал на всхлипывающую женщину, и как он смотрел на нее прямо в упор, когда та вскрикивала при прощупывании ноги. Все это время доктор молчал, не комментируя и не проявляя к услышанному ни малейшего интереса. Гайто тоже молчал, подавленный ожиданием вызова полиции. Только через полчаса, успокоившись, он понял, что равнодушие врача скорее всего было вызвано привычкой к подобным трюкам и многим другим

уловкам, которые были пока неизвестны Гайто, но которые наизусть знал любой дежурный врач небогатых парижских больниц.

И вот теперь Гайто задумался над тем, как следует поступать в аналогичных случаях. Он понял, что в следующий раз будет вести себя точно так же, разве что заранее приготовится к любому исходу событий. Так с первых же дней его новой работы обозначилась проблема сохранения человеческого достоинства в обстоятельствах, которые это понятие исключали. Гайто имел некоторые представления о психологии харьковских уголовников и игроков, русских офицеров, чернорабочих-эмигрантов со всего света, но специфики французской ментальности, ее проявления среди самых низших и самых высших социальных слоев он еще не знал и не чувствовал.

«…я помню, — писал он, — что один из старых рабочих… сказал мне, что за сорок лет пребывания в Париже он не был на Елисейских полях, потому что, объяснил он, он там никогда не работал. В этом городе еще была жива — в бедных кварталах — далекая психология… чуть ли не четырнадцатого столетия, рядом с современностью, не смешиваясь и почти не сталкиваясь с ней. И я думал иногда, разъезжая и попадая в такие места, о существовании которых я не подозревал, что там до сих пор происходит медленное умирание Средневековья».

Больше всего Гайто поражал тот факт, что он не замечал особенной разницы между психологией французской аристократии и плебса. Благодаря родительскому воспитанию, Гайто так рано получил представления о чести, благородстве и достоинстве, что никакие жизненные потрясения не могли вытравить эти качества из его характера; они существовали в нем на уровне инстинкта. И Гайто неоднократно замечал, что подобным инстинктом обладала лучшая часть российской эмиграции. Так, за русскими таксистами, большинство из которых были и впрямь благородного происхождения ходила добрая слава честных и ответственных работников; хозяева гаражей их уважали. Однако порядочность русских нередко оборачивалась против них при столкновениях как с богатыми пассажирами, так и с коллегами-французами, большинство из которых были малограмотными провинциалами, пересевшими из фиакров в такси.

Сколько раз Гайто слышал рассказы шоферов, сокрушавшихся о том, что им пришлось тащиться на другой конец города, чтобы вернуть богатой клиентке забытый в машине сверток, а та не только не компенсировала затраты на дорогу, но даже не выразила устной благодарности, выслав лишь горничную за

свертком и приняв все как должное. Вскоре Гайто и сам убедился, что формальная принадлежность к высшему парижскому обществу крайне редко свидетельствует о некоторых моральных обязательствах, связанных с высоким положением.

Однажды он заметил на заднем сиденье брошь с крупными бриллиантами, которую обронила богатая клиентка. Гайто не успел убрать с сиденья находку, как его сразу же остановила дама в собольей накидке. Она ехала на авеню Фош, где обитали весьма состоятельные граждане. После ее ухода брошь исчезла — дама украла ее, как какая-нибудь горничная или проститутка.

И подобных открытий, связанных с неведомыми прежде сторонами человеческой натуры, у Гайто накопилось с избытком в первые же годы шоферской практики. С самого начала работы Гайто решил вести дневниковые записи своих впечатлений. Разумеется, они носили обрывочный и случайный характер — ровно такой, какой был свойствен миру ночного таксиста. И только с появлением в Париже Фаины Гайто стал рассматривать эти разрозненные эпизоды как некоторый профессиональный задел для будущего романа. Она настаивала на том, чтобы его шоферские истории увидели свет, и Гайто принялся за один из лучших своих романов, который он посвятил любимой жене.

2

«В довоенные годы выбиться в таксисты мечтали все русские эмигранты, которые работали в заводских цехах. Многим хотелось также вырваться из маленьких провинциальных городков в Париж, столицу русской диаспоры, где можно было встретить друзей и знакомых, где уже существовала хорошо отлаженная система взаимоподдержки. В русской колонии всячески помогали приобщиться к профессии таксиста: организовали вечерние курсы для желающих получить права, издавали учебники на русском языке. Для многих молодых эмигрантов, которые, не успев получить образование и профессию, оказались сначала втянутыми в войну, а затем очутились в изгнании, профессия таксиста была единственной возможностью добиться хоть какого-то социального положения. Эта профессия позволяла также сохранять определенную независимость и даже свободу: хозяин над душой не стоит (хотя бы во время работы), рабочие часы можно выбирать по своему желанию, и весь Париж твой — осваивай и "колонизируй" его, как

хочешь. К тому же профессия таксиста открывает неограниченные возможности для общения и знакомства с французами из самых разных слоев».

Так вспоминала о самой престижной эмигрантской профессии Елена Менегальдо, дочь русского эмигранта-таксиста. Именно так рассуждал и Гайто, когда в конце 1928 года шел устраиваться на шоферские курсы, совершая очередной традиционный шаг на пути русского эмигранта. Меньше всего в тот момент его волновало собственное невольное участие в создании мифа о русских шоферах. Десять лет спустя он тем более не предполагал, принимаясь за новый роман «Ночные дороги», что будущая книга станет основой мифа о Газданове как о «писателе-таксисте».

«Из шоферов вышел талантливый писатель Гайто Газданов», — замечал Роман Гуль, описывая свои путешествия по «миру русского шоферского Парижа».

В действительности из пятидесяти лет, прожитых за границей, Гайто работал ночным шофером менее двадцати лет. Кроме «Ночных дорог», он использовал свой водительский опыт с писательской целью только в рассказе «Вечерний спутник». Однако роман «Ночные дороги» получился настолько талантливым и запоминающимся, что долгие годы в памяти многих соотечественников, лично не знакомых с Гайто, его фамилия прочно ассоциировалась с романом «про такси». В то время как о русских таксистах помимо бульварных авторов писали и Борис Поплавский, и Андрей Седых, и многие другие. Недаром Елена Менегальдо посвятила этому явлению целую главу в своей книге «Русские в Париже». Действительно, миф о «спасительной профессии», как называли ее русские, заслуживал отдельного обстоятельного описания.

Но Гайто никогда не занимался бытописательством и не ставил себе задачу создать подробное жизнеописание русского эмигранта, свершившего знатный путь от заводского цеха до гаража. Он также не собирался писать роман, построенный по канонам шоферского фольклора, который непременно обязан был включать в себя три основные темы: неожиданная встреча, чудесным образом меняющая жизнь таксиста, погоня за счастьем в виде богатой невесты, наследства, автомобиля, собственной недвижимости и борьба за справедливость с представителями власти. Всех этих неизменных атрибутов, в ожидании которых протекала внутригаражная жизнь его коллег, не было и не могло быть в романе Гайто.

Он писал другой роман о других людях. Сила его книги заключалась в том, что образ жизни ночного таксиста был

наиболее пригоден для композиции романа, передающего мироощущение человека в мегаполисе. В «Ночных дорогах» множество персонажей и всего два героя: прежний автобиографический повествователь, несколько изменившийся после «Вечера у Клэр» и «Алексея Шувалова», и Париж, подобный миллеровскому городу-модели Вселенной. «Ночные дороги» имеют очевидное формальное родство с модным тогда «Тропиком Рака» Генри Миллера и «Путешествием на край ночи» Луи Селина. Однако подобное новаторство на русском языке было встречено критиками довольно сдержанно. На публикацию первой половины романа в «Современных записках» откликнулся только Георгий Адамович. Да и время для пристального литературного анализа было уже неподходящее — на Францию надвигалась война.

Дальнейшая публикация романа была продолжена только после войны, в 1947 году, в журнале «Орион», который не имел возможности напечатать его целиком и предложил опубликовать отрывки по выбору автора.

Полностью роман «Ночные дороги» вышел лишь в 1952 году в Америке, когда у Гайто появился шанс издать любой роман в Русском издательском доме. По настоянию Фаины, считавшей «шоферский роман» лучшим произведением мужа, выбор пал на «Ночные дороги», о чем сам Гайто никогда не жалел. Книга того заслуживала, несмотря на то, что критикой была встречена холодно.

«Отказать автору нельзя ни в находчивости, ни в наблюдательности, — писал А. Слизской в газете "Возрождение", — портретные зарисовки проституток, алкоголиков, сутенеров, наркоманов и развратников удачны, остры и точны. Удивляет другое: Газданов с пристальным вниманием наблюдает этот своеобразный мир, но ни сострадания, ни сочувствия к своим героям не может, вернее, не хочет звать в душе читателя».

И это было абсолютной правдой. Не было в душе Гайто ни сострадания, ни сочувствия в те времена, когда он сидел за стаканом молока в ночных бистро, равнодушно выслушивая монологи, которые знал наизусть и которые не вызывали ни малейшего интереса предсказуемостью событий и мелочностью ощущений. Казалось странным лишь то, что из всего романа критикам запомнился этот незначительный по мнению Гайто, фон, который образовывали перечисленные персонажи. Тогда как действительно занимательные судьбы Жанны Бальди (в книге — Ральди) и клошара Сократа (в книге — Платон) были описаны Гайто с неподдельным интересом и сочувствием, которое он на самом деле к ним испытывал и которое, как ему казалось, должен

был почувствовать читатель. Ведь когда он познакомился с ними, это были чуть ли не единственные два человека в ночном городе, которые понимали его и которых понимал он сам. И последние часы жизни Жанны Бальди он запомнил на всю жизнь со всеми подробностями, до мельчайших оттенков, звуков и запахов, как запоминал все самое значительное в своей жизни.

«"Теперь я знаю, — сказала она, — мне кажется, я знаю, почему ты здесь и именно ты. Это оттого, что ты несчастлив в любви, мой милый. Ты можешь дать больше, чем от тебя требуют. И вот то, что остается, ты приносишь мне".

Она протянула руку к ночному столику и взяла стакан воды. Но пальцы ее так дрожали, что она не могла поднести его ко рту. Я стал поить ее с ложки и наклонился над ней. В сырой тишине ее комнаты я услышал тогда хриплое ее дыхание и глухое бульканье жидкости в ее горле. Именно в ту минуту я ощутил с необыкновенной ясностью, что близкая ее смерть неизбежна».

Этого он забыть не мог. Как не мог забыть тех чувств, которые овладевали им: и сострадание, и нежность, и тягостное сожаление о том, что Ральди умирала, унося с собой единственное представление о счастье, которое она получила в течение удивительной и богатой впечатлениями жизни. Он думал о том, что в этом мрачном логове, каковым выглядел ночной Париж для любого бедного чужестранца, остается всего один собеседник, который, как и он сам, стремится размышлять об отвлеченных понятиях, к которым можно было отнести и любовь, и счастье — о чем так определенно и однозначно сожалела Ральди, и многое другое, вовсе ей неведомое. И этим собеседником был Платон.

Нет, конечно, тогда в дневной жизни начала 1930-х Гайто встречал немало достойных собеседников, ценил дружбу с Михаилом Осоргиным, общение с братьями-масонами.

Он влюблялся, и ему изредка отвечали взаимностью. Он писал прозу, и ее изредка печатали. Но это было в другой жизни искусственно созданной и охраняемой связями людей, объединенных общим языком, общей памятью и общими интересами. А ночью — ночью Гайто перевоплощался в сына обычного парижского мясника, который не ищет знакомств, у которого странные привычки и недопустимая склонность к философствованию. Ночью Гайто переставал быть русским. И его соотечественники, которых он встречал в ночном Париже, порой казались ему куда более чужими, чем Платон, этот знаменитый клошар, имевший твердые, тоже чуждые Гайто старинные убеждения государственного порядка: религия, семейный очаг и король. И тот факт, что последний французский нищий спокойно

утверждает незыблемость понятий, о которых Гайто мог рассуждать только с известной долей относительности, рождал в его душе чувство бесконечного одиночества, избавления от которого он ждал долгие годы.

И вот, спустя десять лет после того, как он примерил на себя шкуру местного плебса, Гайто создал роман — в соответствии с французской литературной традицией и проникнутый антифранцузскими чувствами и настроениями. То, что критики принимали за равнодушие автора к человеческим бедствиям, на самом деле было неприятием их национальной специфики. Да и, собственно, что он мог поделать, если только здесь увидел «нищих, не вызывающих сожаления»?

«Мне было тогда шестнадцать лет, — пишет он в романе, — но уже в те времена я знал чувство, которое потом неоднократно стесняло меня, — как если бы мне становилось трудно дышать, — стыд за то, что я молод, здоров и сыт, а они стары, больны и голодны, и в этом невольном сопоставлении есть нечто бесконечно тягостное. Это же чувство охватывало меня, когда я видел калек, горбунов, больных и нищих. Но я испытывал подлинные страдания, когда они кривлялись и паясничали, чтобы рассмешить народ и заработать еще несколько копеек. И только в Париже, на ночных его улицах, я увидел нищих, которые не вызывали сожаления; и сколько я ни старался себе внушить, что нельзя же это так оставить и нельзя дойти до такой степени очерствения, что их вид у тебя не вызывает ничего, кроме отвращения, — я не мог ничего с собой поделать».

Никогда Гайто не позволит чувствам такого рода проникнуть в художественный текст, никогда он не будет в произведениях так откровенно, отчаянно выражать свою тоску по родине. И хотя в романе, написанном хорошим стилем, по большей части слышались довольно бесстрастные, усталые интонации повествователя, все-таки мысли о «там» и «здесь» звучали в нем, как вырвавшийся крик странника, измученного и озлобленного скитаниями.

В каком-то смысле Гайто подвел итог иллюзиям и надеждам, которыми питал себя предыдущие пятнадцать лет эмигрантской жизни. Он искал опоры в собственной памяти, в любви, в благополучии, поочередно пытаясь моделировать в каждом следующем романе жизнеутверждающие картины, возникавшие в его воображении. Он последовательно стремился к преодолению силы, которая тянула его в иное время и в иную страну, и к примирению со своей судьбой, что была уготована ему здесь и сейчас. И потому, воссоздавая подлинное лицо Парижа глазами его ночного обитателя, он писал о том единственном, чего не

хватает в огромном городе его герою, о том, чего ищет он сам, наматывая бесконечные километры по проспектам нового Вавилона:

«Иногда, раз в несколько лет, среди этого каменного пейзажа бывали вечера и ночи, полные того тревожного весеннего очарования, которое я почти забыл с тех пор, что уехал из России, и которому соответствовала особенная, прозрачная печаль моих чувств, так резко отличная от моей постоянной густой тоски, смешанной с отвращением. Все менялось тогда, точно перенастроенный рояль, и вместо грубых и сильных чувств, которые мучили меня обычно, — неутоленное и длительное желание, от которого тяжелели и наливались кровью мускулы, или слепая страсть, в которой я не узнавал своего лица, когда мой взгляд падал в эти минуты на зеркало, или непобедимое непрекращающееся сожаление от того, что все не так, как должно было бы быть, и еще это постоянное ощущение рядом с собой чьей-то чужой смерти, — я входил, не зная, как и почему, в иной мир, легкий и стеклянный, где все было звонко и далеко и где я, наконец, дышал этим удивительным весенним воздухом, от полного отсутствия которого я бы, кажется, задохнулся. И в такие дни и вечера я с особенной силой ощущал те вещи, которые всегда смутно сознавал и о которых очень редко думал, — именно, что мне трудно было дышать, как почти всем нам, в этом европейском воздухе, где не было ни ледяной чистоты зимы, ни бесконечных запахов и звуков северной весны, ни огромных пространств моей родины».

И тому, чего так ждала измученная душа Гайто, вскоре суждено было случиться. Преодоление свершилось, примирение состоялось, и он слился с Парижем, с Францией, стал ее частью и обрел в ней свою родину.

Но, как всегда бывало в его жизни, случилось это не таким образом, как ему хотелось и представлялось. Жизнь Гайто по-прежнему оставалась его жизнью, и ничего не происходило в ней легко и безболезненно, даже самые ожидаемые и очевидные вещи.

Как было сказано, еще не закончив рукопись, Гайто уже начал публиковать первые главы из романа «Ночные дороги» в «Современных записках». Это был 1939 год; год вступления Франции во Вторую мировую войну; год, когда Газданов почувствовал себя гражданином страны, которая в опасности и которая нуждается в нем.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

РАССТАВАНИЕ
1939-1971

ВРЕМЯ «СТРАННОЙ ВОЙНЫ»

Люди у которых одно и то же отечество, это сограждане – они образуют одну семью, один народ. Россия — наше Отечество. Отечеством мы зовем ее потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней родились, в ней говорят родным нам языком и все в ней для нас родное.

Дмитрий Шаховской. Памятка «Что нужно знать каждому русскому в зарубежье»

1

«Я начинаю борьбу» — так Гайто Газданов озаглавил свою книгу воспоминаний о движении Сопротивления во Франции. Книга эта вышла после окончания Второй мировой войны, в 1946 году, на французском языке. В документальной повести были описаны эпизоды партизанской борьбы на территории оккупированного Парижа, свидетелем которых был сам автор. Гайто решил поделиться своими впечатлениями после того, как фашизм оказался полностью повержен. Он приступил к книге, когда стало очевидно — прежней Европы уже не будет; у нее теперь иная география, экономика, психология. Перевернули события Второй мировой и жизнь русской эмиграции. Предчувствия глубинных потрясений на русском Монпарнасе появились задолго до событий, но мало кто из эмигрантов догадывался, насколько трагичны и необратимы будут последствия надвигавшихся бурь.

Гайто, как и большинство русской интеллигенции в Париже, с тревогой прислушивался к вестям из Германии, принесенным прибывшими оттуда эмигрантами. С 1933 года, после прихода Гитлера к власти, поток русских «берлинцев» устремился в Париж, и то, что они рассказали, вызвало ужас у русских «парижан». Совершенно невероятным казалось Гайто услышать подобные рассказы здесь, в свободной Европе. Берлин, который всего несколько лет назад, подобно Парижу и Лондону, был крупным культурным центром, законодателем эстетических мод,

на глазах превращался в огромную площадку для маршировки дикарей. Их варварство проникало во все сферы человеческой жизни, и не было способа укрыться и спрятаться от надвигавшейся чумы. Несмотря на то, что Гитлер с первых же дней правления объявил войну коммунистам, его националистические лозунги были настолько откровенны, что не могли обмануть хоть сколько-нибудь здравомыслящего человека.

Тем не менее поначалу русские «парижане» не воспринимали угрозы «сумасшедшего австрийца» как непосредственную опасность, на которую необходимо немедленно реагировать. Однако к 1938 году всякий раз, когда Гайто заглядывал по старой памяти в «Селекту», «Дом» или «Ротонду» и заставал там кого-нибудь из своих знакомых, он замечал, что разговор о неизбежности войны стал непременной темой застолья. Политические рассуждения вызывали куда большее оживление, чем споры об искусстве. Постепенно споры о целесообразности участия в войне той или иной страны сменялись дискуссиями об участии в войне конкретного человека. Вопрос о том, стоит или не стоит ввязываться Франции в войну, превратился в извечный русский вопрос «Что делать?». И каждый, кто задавал этот вопрос, обращал его непосредственно к себе.

Сам Гайто уже много лет не испытывал никаких иллюзий относительно боевой романтики, да и политическая активность, как всякая ограниченная убежденность, была ему чужда. Однако в одном Гайто был твердо уверен: в надвигающемся варварском хаосе, который нес с собой Гитлер под прикрытием универсального немецкого порядка, таилось нечто чудовищное, и противостояние этому чудовищу было так же естественно для его человеческой природы, как сопротивление организма внезапному недугу. И потому, не вступая лишний раз в споры, не выдвигая бессмысленных прогнозов, он твердо знал, что не за горами тот день, когда каждому придется сделать свой выбор. Эти характерные предчувствия он сохранил с юношеских лет, когда революция разносила его товарищей по разным партиям, а затем по разные стороны фронтов. Он отчетливо помнил, как бывшие соседи по парте сначала теснили друг друга на политических собраниях, а потом стреляли друг в друга из противоположных окопов. А начиналось все с неопределенности и колебаний одних и горячей пропаганды других. Особенно ясно он почувствовал наступление хаоса после позорного Мюнхенского соглашения, когда Даладье и Чемберлен «сдали» Чехословакию. Тогда в Париже, не таясь, говорили о предательстве Франции, ее дурной политической репутации и том, что это «”Закат Европы”» не по Шпенглеру, а по фюреру». Прозаик Владимир Варшавский в

автобиографическом романе «Ожидание» описывает типичный разговор русских литераторов того времени:

«— Разве вы не считаете, что есть опасность войны? – спросил Гуськов.

– Ах, миленький, к сожалению, есть, и даже очень, – грустно вздохнул Николай Георгиевич. — Война почти наверное будет. И Гитлер действительно исчадие ада, и расизм ужасная гнусность. Все это человеконенавистничество противно до тошноты. Но, Боже мой, как все-таки было бы хорошо, если бы обошлось без войны. Так не хочется никаких перемен. Как-то сидим здесь, устроились, пьем чай — и так бы дожить. Только вряд ли удастся.

– Неужели вы за Мюнхен? — опять не унимался Гуськов.

– Конечно, нет. — За Николая Георгиевича вступился Эмануил Рейс. — Конечно, предательство Чехии — позор. Мы все тут согласны. Но неужели вы думаете, что вожди западных демократий такие уж круглые идиоты и что их поведение в Мюнхене объяснялось только малодушием и подлостью? Разве мы знаем, были ли Франция и Англия готовы?»

А вот отдельные фрагменты этих разговоров из того же романа:

«Силе национал-социализма, стремящейся ко злу, уничтожению других, народы, которые хотят сохранить свою свободу, должны противопоставить силу же», — убеждал Мануша.

«Всегда неприятно выступать в роли Кассандры. Но если война не будет предотвращена, то встает вопрос: не погибнет ли тогда вся европейская культура? Да, конечно, история не кончится. Со временем возникнут новые цивилизации, может быть черная в Африке. Но я люблю белую и буду жалеть о ее гибели. Вот почему демократии должны идти на предельные жертвы и уступки, чтобы не допустить войны. И в этом открывается положительный смысл Мюнхена», — говорил профессор Зырянов.

«Да, конечно, война — это грязь, преступление, ложь, и ничто не может войну оправдать. Но если война, которая наступит теперь, неизбежна, то уклонение от участия в ней представляется бесплодным. Я глубоко преклоняюсь перед Толстым и Ганди, но, может быть, потому, что я плохой христианин, я не могу принять абсолютного непротивления, непротивления при всех условиях», — продолжал Николай Георгиевич.

«Никогда еще в истории человечества не было так ясно, где добро, где зло. Дело идет о защите культуры, свободы, достоинства человека, и мы все, я в этом уверен, знаем, где наше место в этой борьбе», — заключил Ваня Иноземцев.

Разговоры эти, как нетрудно догадаться, вели участники

философско-литературного объединения «Круг», организованного для монпарнасской молодежи Ильей Исидоровичем Бунаковым-Фондаминским (в романе — Мануша). Сам Владимир Варшавский назвал своего автобиографического героя Гуськовым. Георгий Адамович, постоянный почетный член кружка, был выведен под именем Николай Георгиевич. Философ Георгий Федотов получил имя профессора Зырянова, а под поэтом Ваней Иноземцевым подразумевался поэт и прозаик Борис Вильде.

Несмотря на то, что среди членов объединения было немало знакомых и приятелей Гайто, заседания «Круга» он не посещал, в обсуждениях заявленных общественных и философских тем не участвовал. С тех пор как его общественная жизнь из публичной стала тайной, ему вполне хватало собраний в масонской ложе. Кроме того, за два года совместной жизни с Фаиной он уже привык к сложившемуся распорядку, состоящему из работы таксистом, письменного стола и прогулок с женой. Постепенно он даже стал ощущать нехватку времени — чувство совсем не характерное для его предыдущих тридцати пяти лет жизни. Он очень редко появлялся на литературных собраниях. Поэтому именно этот предвоенный разговор участников «Круга» Гайто слышать не мог, однако мнения каждого из собеседников он знал очень хорошо, ибо в них не было ничего отличного от тех разговоров, которые слышал Гайто среди масонских братьев, расходившихся после собраний, и ничего нового из того, что слышал Гайто от большинства русских эмигрантов тех лет.

И не трудно предположить, что среди всех мнений, прозвучавших на заседании «Круга», слова Адамовича и Вильде вызвали бы у Гайто наибольшее одобрение. Хотя тогда, осенью 1938-го, он еще не мог подозревать, во что выльется этот отвлеченный разговор с выяснением позиций на будущее. Как не мог он предвидеть того, что через два года немолодой, больной пороком сердца Георгий Викторович Адамович подтвердит свои слова на фронте с оружием в руках, а Борис Вильде будет расстрелян в застенках гестапо за антифашистскую пропаганду. В то время у русских, как и у французов, еще был соблазн поверить премьер-министру Великобритании Чемберлену, вернувшемуся в Лондон после подписания Мюнхенского соглашения 1938 года со словами: «На нашу землю пришел мир». Еще никто не знал о словах Гитлера, сказанных Муссолини накануне подписания мюнхенского сговора: «Придет время, когда мы вместе должны будем разгромить Англию и Францию. Надо, чтобы это произошло, пока мы останемся во главе». Еще никто на русском Монпарнасе — ни участники «Круга», ни сам Гайто – не мог предвидеть, как будущей весной немцы забудут о своем

обещании, что Судеты — их последняя территориальная претензия. Немецкие колонны будут маршировать по Праге — городу, куда с надеждой посылали они с друзьями свои первые рассказы. Как не ожидали они, что ровно через год, 3 сентября 1939 года, на третий день оккупации Польши, Франция окажется в состоянии войны с Германией и всем иностранцам будет предложено подписать декларацию на верность Французской республике. Ни Газданов, ни Варшавский, ни Адамович, ни Вильде не знали, что свой выбор им надлежит сделать так скоро. Но, как только война была объявлена, Гайто решил поставить свою подпись под декларацией без промедления.

Первого сентября 1939 года, выйдя из здания префектуры своего района и стоя под полуденным парижским солнцем, Гайто разглядывал удостоверение, что он, Георгий Иванович Газданов, подтверждает свою верность и преданность республике Франция. …Уже в который раз за последний год он с тоской и отвращением подумал о предстоящей войне, которой противилось все его существо, противилось куда больше, чем тогда, когда он отправлялся на свой первый фронт. И в который раз он вспомнил свой разговор с родным дядей перед отъездом на Гражданскую войну о том, на чьей стороне правда и стоит ли идти за нее воевать: «А почему, собственно, ты идешь на войну?» — и свой неуверенный ответ: «Я думаю, что это все-таки мой долг». Вспомнил нотки разочарования в дядином голосе: «Я считал тебя умнее».

И в который раз он вновь спорил с дядей. Тогда, в свои шестнадцать лет, он сделал правильный выбор. И дело было не в том, что он был естественным для юного человека, а в том, что его не покидало ощущение собственной правоты. Он даже пожалел, что не объяснился тогда с дядей до конца, так, чтобы тот его понял. «"Не кажется ли тебе, что правда на стороне белых?" — "Правда? Какая? В том смысле, что они правы, стараясь захватить власть?" — "Хотя бы"».

Но на самом деле и тогда, и сейчас Гайто имел в виду совсем другое. Он не пожелал говорить подробнее, немного стесняясь дядиной иронии по поводу своего юного пафоса, однако сегодня без смущения был готов объяснить старику – теперь-то он наверняка старик, – что ощущение правоты это не обязательно то же, что и законное право на власть. Его убежденность была основана на верности тому миру и тем идеалам, которыми он дорожил и которые подвергались разрушению. И если бы у него была возможность начать все начать сначала, то он повторил бы свой путь из Харькова в Париж, не видя другого маршрута.

Однако сейчас, осенью 1939 года, записываться добровольцем

в иностранный легион Гайто не торопился. И дело было не в том, что он стал «умнее», как хотел того дядя. Дело было все в том же ощущении правоты, которое покинуло его за последние пятнадцать лет пребывания за границей. Оставляя в юности свой дом, Гайто не видел и не знал другого мира; и этот мир вместе с матерью, с Клэр, с друзьями, с родными харьковскими улицами, с дедушкиным домом в Кисловодске он был готов защищать. Собственно, и воюющих сторон было всего две, и это весьма упрощало выбор. Сейчас противоборствующих сил было куда больше, у каждой из них был свой интерес, и ни одну из них Гайто не мог поддержать с легким сердцем. Единственное ощущение в себе, которое он мог бы определить как безусловное, это было его непримиримое отношение к фашизму. Его подпись под декларацией на верность республике на самом деле была подписью «против Гитлера». Пойти на фронт означало поставить подпись «за». За кого? За Россию, которая считалась официальным союзником Германии? За Францию, которая сдала Чехословакию и, не желая терять реноме, нехотя ввязалась в защиту Польши? За Англию, которая боялась потери колоний? За Америку, которая не без удовольствия наблюдала за «европейской дракой»? За свой старенький автомобиль, который принадлежал хозяину гаража? За маленькую квартирку, которую они снимали с Фаиной на пятом этаже? Кроме Фаины, которая была всегда рядом и которая, слава Богу, была вне опасности, не было у Гайто никого и ничего в тот момент, когда он спросил сам себя: «Чьи интересы ты мог бы без колебания назвать своими собственными?»

Ответ на этот вопрос Гайто найдет только несколько лет спустя. А пока он знал, что согласно французскому закону от 31 марта 1928 года апатриды — лица без французского гражданства — привлекались к отбытию воинской повинности наряду с французами, если они не достигли тридцати лет и не проходили воинскую службу у себя на родине. Таким образом, Гайто, которому к началу войны было уже 36 лет, как и другие бывшие солдаты и офицеры белой армии, служить Франции не был обязан.

В прежние десять лет многие русские эмигранты радовались этому обстоятельству, которое избавило их от обязательного пребывания в военных лагерях. Однако с той поры как Франция вступила в войну с Гитлером, уже сложившееся отношение к воинской службе — «хватит, мы свое отвоевали» — среди эмигрантов стало меняться. Всего за несколько дней апатриды почувствовали себя французами в большей степени, чем они сами о себе думали в предшествующее десятилетие. И даже

бюрократическое недоразумение первой недели войны не смогло остудить их гражданский пыл: в эти дни французские префектуры по собственной инициативе арестовывали всех русских поголовно, мотивируя это тем, что на момент вступления Франции в войну СССР, благодаря пакту Молотова — Риббентропа от 1939 года, формально являлся союзником Германии, и, таким образом, любой русский мог представлять собой угрозу для Французской республики. Гайто легко избежал ареста — благодаря осетинской внешности и прекрасному владению арго его давно уже не принимали за русского, а вот некоторые его товарищи по таксопарку, которые сразу выделялись на французских улицах славянскими лицами и неисправимым акцентом, все-таки побывали в участке. Впрочем, через двое суток парижским властям удалось уладить недоразумение, и русских эмигрантов начали выпускать из-под ареста.

Многие из бывших арестантов немедленно отправлялись на призывные пункты, чтобы с оружием в руках доказать свою преданность второй родине. Таким образом, около четырех тысяч русских солдат были включены в регулярные французские войска. Среди них были как те, кто подлежал обязательной воинской мобилизации — мужчины от 20 до 40 лет, — так и те, кто имел право вступить в армию добровольно — лица моложе 20 и старше 40. По этому поводу для русских эмигрантов вышел даже специальный номер правительственного вестника, который сообщал, что лица русской национальности, сражавшиеся за Францию, по демобилизации будут приравнены к французам, но только … в праве на труд. Вскоре среди русских эмигрантов появилась шутка, что француз сражается за «Liberte, egalite, fraternite» — то есть за свободу, равенство и братство, а русский — за «carte d'identite», то есть за вид на жительство. Несмотря на явную горечь этой шутки, правда была в ином: русские эмигранты шли воевать за Францию по велению совести, а не по принуждению обстоятельств. Для многих из них это была первая за многие годы возможность почувствовать себя полноценными членами общества, равноправными гражданами, у которых появились вместе с французами одни и те же горести и стремления. Таким странным и жестоким образом война сблизила часть русской эмиграции с французским обществом. Порой казалось, что со стороны русских энтузиазма в отношении защиты Франции было чуть ли не больше, нежели у самих французов.

Особенно много вопросов вызывало поведение правительства, которое на протяжении десяти месяцев вело «странную войну»,

как окрестили ее журналисты. Французские части вместе с союзными английскими стояли вдоль линии Мажино (системы французских укреплений) и уклонялись от боевых действий. Еще с сентября 1939 года действовал указ французского командования не вести артобстрел линии Мажино, дабы не вызывать ответный огонь немцев, которые стояли по другую сторону линии. Десятого мая 1940-го немецкие танки внезапно обогнули линию Мажино с фланга и через Бельгию вторглись во Францию. В разговоре с Черчиллем премьер-министр Франции Даладье признался, что у Франции нет никаких стратегических запасов, чтобы вести войну. Французской республике оставалось жить считанные дни.

2

Война застала Газдановых на юге. Четырнадцатого июня 1940 года в восемь часов утра Гайто крепко спал — накануне он писал всю ночь. Фаина проснулась рано, собираясь купить горячий хлеб к завтраку. Посмотрев в окно на спокойное и ласковое море, она включила радио: оттуда голос главы французского правительства Петена сообщал о том, что вскоре с немцами будет подписан мирный договор и Францию поделят на две зоны: северную и центральную — оккупированную Франкрейх, и южную — не оккупированную Виши.

Фаина вспомнила, как в прошлом сентябре был такой же теплый день, когда по радио доносился голос премьер-министра Даладье с сообщением о том, что Франция вступает в войну. Его слова неслись из распахнутых окон, люди на улице застывали в напряженном внимании. Вскоре начали выть сирены. В сумятице горожане быстро стали обзаводиться противогазами, которые раздавались бесплатно. Правда, иностранцам они не полагались, но при желании вполне приличный экземпляр можно было недорого купить на толкучке. Тогда Гайто отговорил Фаину от этой покупки, посчитав ее бессмысленной тратой: гибель от отравления газом представлялась ему куда менее вероятной, чем гибель при других обстоятельствах, перечислять которые не хотелось, чтобы не пугать понапрасну жену.

И вот теперь, меньше года спустя, по радио орет Петен. Люди слушают его без любопытства, скорее враждебно. Никто даже не понял, откуда выплыл этот странный неврастеник и почему он теперь возглавляет Францию и всех тех, кто не сумел за

предшествующие десять месяцев полюбить «Великую Германию» и немецкий порядок. «А противогазы-то действительно не понадобятся… — с горькой усмешкой подумала Фаина. — Вряд ли немцы будут отравлять воздух на улицах, по которым сами маршируют с таким усердием. Они придумают, как всегда, что-то упорядоченное…»

Вернувшись осенью домой, Гайто и Фаина не узнали прежний Париж. По приказу Петена он был объявлен открытым городом, и в столице воцарились паника и хаос; дороги заполонили беженцы, которые потянулись на юг. Даже их тихая и узкая улочка Брансьон, где с трудом разъезжались две машины и на тротуаре которой с трудом расходились два человека, — даже она гудела как улей от сутолоки и суеты. Эти дни парижане быстро окрестили июньским «великим исходом».

Как и для большинства русских эмигрантов, для Гайто с Фаиной наступили тяжелые дни. О скудных литературных доходах пришлось забыть: большинство русских издательств, газет и журналов еще год назад закрылись на неопределенный срок. Основной финансовый источник Газдановых — заработок шофера — тоже стал резко иссякать. Желающих проехаться на такси с каждым днем становилось все меньше и меньше. Незачем было торопиться в Оперу, в кабаре. Неоткуда было взяться туристам, в прежние времена курсирующим по Парижу круглыми сутками. Отели опустели. Светская жизнь замирала. Состоятельные люди старались покинуть столицу. Если повезет, можно было подхватить пассажиров до вокзала, с которого уходили поезда в южном направлении. Этот маршрут Гайто уже знал с закрытыми глазами. Однако и такие отъезжающие попадались на стоянках все реже и реже.

Жизнь города, а вместе с ней и жизнь горожан переставала носить хоть сколько-нибудь предсказуемый характер. Казалось, уже никто не в состоянии контролировать те разрушительные процессы, которые спровоцировал хваленый немецкий порядок, немедленно превратившийся в хаос в воздухе французской свободы. Все происходило в точном соответствии с намерениями фон Абеца, немецкого посла во Франции, который в первые дни своего появления декларировал: «С немецкой стороны следует сделать все, чтобы добиться внутреннего разлада и ослабления Франции. Недопустимо усиление патриотических чувств в этой стране». Результат не замедлил сказаться: к лету 1941 года территория Франции была захвачена, республика ликвидирована, правительство Петена переехало в Виши и откровенно поддерживало фашистскую политику немцев. Оценивая настроения и события тех дней, Михаил Осоргин писал:

«Франция представляет из себя сейчас любопытную картину кажущихся противоречий. С одной стороны, ее объединяет общность перенесенного ею внешнего поражения — удар по национальному самолюбию, полная неопределенность будущего, которое строится вне ее участия, жестокие экономические испытания, вплоть до голода, связанность инициативы. С другой — некоторая тень самостоятельности, какой другие покоренные страны лишены совершенно, слабая возможность договора с победителем и отстаивание своих прав. Разделенная на две зоны, занятую и свободную, она в разной степени испытывает натиск чужой воли».

В эмигрантской среде, и без того полной противоречий, разлад ощущался еще сильнее, чем у коренных французов. Разрушился с трудом налаженный эмигрантский быт, но и это было еще полбеды, к этому русским во Франции было не привыкать. Во второй раз русские почувствовали верность булгаковской мысли: «Разруха не в клозетах, а в головах!» Среди русской общественности началось разделение на тех, кто видел в фашистах освободителей от ненавистного большевизма, и на тех, кто воспринимал их как страшную машину, уничтожающую все ценное и живое. Не избежали раскола и русские писатели. Большинство из них были антифашистски настроены и стремились уехать подальше от оккупантов.

Так сразу после появления немцев покинул Париж Иван Бунин. Он поселился в Грассе и до конца войны отвергал все предложения о публикациях в профашистских изданиях. Он отказывался не только публично выразить хотя бы малейшую поддержку тем, кто хотел сотрудничать с немцами, но и предоставить для печати пару нейтральных рассказов. С ним же переехали на юг Леонид Зуров и Николай Рощин. В те времена в доме Бунина находили пристанище немало евреев, бежавших из оккупированной зоны, хотя это были дни, когда, по его собственным словам, «жили впроголодь и обедали через день».

Рядом с Буниным в Ницце поселился Марк Алданов. Вскоре он покинул Францию и обосновался в США, где и прожил до конца своих дней.

Весной 1940-го там же, на юге, в маленьком Шабри поселились Осоргины. Будучи уже тяжело больным, Михаил Осоргин переправлял в Америку для печати статьи, разоблачавшие оккупантов. По воспоминаниям Марка Алданова корреспонденции Осоргина в «Новом русском слове» эмигранты, прибывшие из Европы, читали с ужасом. «Ведь его отправят в Дахау!» — говорили все, кто не понаслышке знал оккупационные порядки. Статьи Осоргина легко могли попасться на глаза

любому германскому цензору, ждать милосердия от которого было бы наивно.

В самом начале войны Гайто потерял связь с «шуменской троицей»: через некоторое время он узнал, что Володя Сосинский, ушедший на фронт, попал в немецкий плен, а его семья вместе с семьей Андреева и Резникова поселилась на атлантическом побережье Франции на острове Олерон.

Владимир Варшавский и Георгий Адамович также поступили добровольцами в Иностранный легион. Вскоре до Гайто дошли слухи, что после разгрома французов фашистами и Варшавскому не удалось избежать плена, а Адамович вместе с толпой беженцев оказался на юге в Ницце.

Немало среди русских писателей было тех, кто, как и Гайто, не захотел покинуть Париж. Категорически отвергая любое сотрудничество с немцами, в столице остался Алексей Ремизов. Илья Бунаков-Фондаминский, теперь вместо «Круга» руководивший на юге Франции отправкой русских евреев в США, отказался воспользоваться собственной визой и вернулся из Ниццы в Париж, где был арестован и отправлен в концентрационный лагерь и там погиб. Та же участь ожидала младших «монпарнасцев»: Юрия Фельзена, Юрия Мандельштама, Раису Блох, Михаила Горлина.

Вспоминая о них, Гайто силился и никак не мог представить, что чувствовал, о чем сожалел и печалился добрейший, безвредный, «бесцветный», как шутили на Монпарнасе по поводу его светлых волос, Юрий Фельзен, когда встречал смерть под безымянным номером среди лагерных смертников. А размышляя о гибели Раисы Блох и Михаила Горлина, Гайто подумал, что их судьба могла послужить страшной иллюстрацией к восточной легенде о садовнике и смерти, которую носил он в своей памяти со времен Константинополя. Раиса и Михаил переехали в Париж из Берлина в 1933 году, спасаясь от фашистских гонений на евреев. Они были одними из первых, кто рассказал на Монпарнасе о новых варварах. И никому из тех, кто слушал их рассказы за столиком в кафе, не могло прийти в голову, что через несколько лет, подобно наивному садовнику, они встретят именно ту смерть, которая привиделась им однажды и от которой они тщетно пытались спастись, отправившись в свою «Испагань».

Но, пожалуй, самым страшным известием для монпарнасцев стала гибель поэта Бориса Вильде. Его смерть потрясла не только тех, кто хорошо знал и любил этого веселого, жизнерадостного светловолосого русского, но и обычных французов, которые до момента суда в тюрьме «Фрэн» и понятия не имели ни о его стихах, ни о его выступлениях в «Круге», ни о его научных трудах,

ни о его жене Ирэн Лот, ни о его любви к свободе, к родине, то есть ни о чем трогательном и значительном, что составляло его прежнюю довоенную жизнь и с чем он расстался без колебаний, когда перед расстрелом снял с глаз повязку и запел Марсельезу.

Борис, как и Блох с Горлиным, приехал в Париж намного позже, чем большинство русских «монпарно». При всех сложных, запутанных отношениях в богемной среде Бориса быстро полюбили за открытый, дружелюбный характер. У него не было врагов и недоброжелателей, что на русском Монпарнасе считалось большой редкостью. Литературные собратья отзывались о нем с симпатией, и в конце 1930-х он стал членом «Круга». Вскоре Борис устроился на работу в парижский Музей Человека и там же подружился с Анатолием Левицким, с которым ему суждено было погибнуть в один день.

Восемнадцатого июня 1940 года Борис услышал по радио из Лондона призыв генерала де Голля: «Я, генерал де Голль, обращаюсь из Лондона к французским офицерам и солдатам, которые находятся в Англии или которые окажутся там с оружием или без оружия. Я обращаюсь к инженерам и рабочим, специалистам военной промышленности, которые находятся в Англии или окажутся там, я приглашаю всех связаться со мной. Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет никогда».

Эти слова русские эмигранты цитировали друг другу, а Вильде с Левицким восприняли их как руководство к действию. Решили начать с самого простого: уже в августе 1940 года они стали распространять нелегальный трактат «33 совета оккупированным» и расклеивать листовки «Мы все с генералом де Голлем!». Потом задумали печатный орган Национального комитета общественного спасения — «Резистанс». Он вышел 15 декабря 1940 года. (Четыре года спустя крупная газета «Резистанс», ведущая свою родословную от газеты Вильде, озаглавит статью, посвященную Вильде и Левицкому, так: «Интеллигенция – авангард “Резистанса”».) Вскоре решено было расширить масштабы деятельности и организовать группу для подпольной борьбы. Состав ее был интернациональным. Помимо французов и русских в нее входили немец Пьер Вальтер, панамец Жорж Итье, еврей Леон-Морис Нордман. Кроме печатной и устной пропаганды группа занималась разведкой и переправляла в свободную зону добровольцев для армии де Голля.

После выхода третьего номера «Резистанса» Вильде уехал по делам в Лион. В это время в Париже арестовали адвоката Нордмана, который передавал секретную информацию для де Голля. Тут же последовал обыск в Музее Человека, в результате

которого арестовали Левицкого и его невесту Ивонну Оддон. Еще двум участникам группы — Жану Кассу и Клоду Авелин — удалось скрыться из Парижа. Газета «Резистанс» оказалась разгромленной. Тогда Вильде передал через Ренэ Сенешаля, прозванного в их группе Мальчуганом за свой юный возраст, распоряжение немедленно выпустить газету, чтобы отвести подозрение от арестованных. Четвертый номер был действительно выпущен, но это не обмануло гестапо. Последовали дальнейшие аресты. Вильде вернулся в Париж и был тут же арестован. Пятый, последний номер «Резистанса» вышел уже после его ареста, стараниями Пьера Броссолетта и Агнессы Гюмбер — последними из товарищей Вильде, оставшимися на свободе.

Суд над группой «Резистанс» начался 8 января 1942 года.

Во внутреннем дворе тюрьмы «Фрэн» был выстроен специальный барак со свастикой для заседаний. Немецкие солдаты в касках ввели туда 18 подсудимых, которые перебрасывались шутками, как студенты для поднятия духа перед экзаменом. Прокурор грозно стукнул по столу и крикнул: «Берегитесь, скоро слезы сменят смех!»

Так начался при закрытых дверях военный суд над патриотами или, как говорилось в обвинительном акте, «националистами», который длился больше месяца и стоил семерым из них жизни, а остальным — заключения в лагерь. Этот суд вошел в историю как «дело Музея Человека», названным так по месту службы двух его главных героев — Вильде и Левицкого. Перед началом председатель суда, повернувшись к обвиняемым, с уважением заметил, что они вели себя как подобает французским патриотам, но в то же время его тяжелый долг велит ему вести себя по отношению к ним так, как подобает немцу. Через сорок дней, с трудом скрывая волнение, он зачитал им смертный приговор.

В своем последнем слове Вильде просит пожалеть Ренэ, Мальчугана, который был слишком молод и ничего не знал о сути поручений. Однако его просьба осталась неуслышанной, равно как остались неуслышанными просьбы французской общественности – Франсуа Мориака, Поля Валери, Жоржа Дюгамеля, которые просили помиловать самого Бориса Вильде. Немецкий суд оставил Бориса и Ренэ среди приговоренных к смертной казни.

Еще через полчаса им разрешили проститься со своими близкими. Анатолий Рогаль-Левицкий попрощался со своей невестой и соратницей Ивонной Оддон, приговоренной к сроку в концлагере. Борис, улыбаясь, прощался с Ирэн, зная, что еще

успеет написать ей длинное письмо:

«Простите, что я обманул Вас: когда я спустился, чтобы еще раз поцеловать Вас, я знал уже, что это будет сегодня. Сказать правду, я горжусь своей ложью: Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда… Да, по правде сказать, в моем мужестве нет большой заслуги. Смерть для меня есть лишь осуществление великой любви, вступление в подлинную реальность. На земле возможностью такой реализации были для меня Вы. Гордитесь этим. Сохраните, как последнее воспоминание, мое обручальное кольцо».

Двадцать третьего февраля активистов группы «Резистанс» вывели в тюремный двор.

Всем семерым не хватило места у расстрельной стены, поэтому первыми встретить смерть вызвались четверо — Леон-Морис Нордман, Жорж Итье, Жюль Андойе и Ренэ Сенешаль. Не сговариваясь, они громко запели Марсельезу. Когда их голоса смолкли, на их место встали Борис Вильде, Анатолий Левицкий и Пьер Вальтер и подхватили песню еще громче. Через несколько минут в тюремном дворе смолкли и французские песни, и немецкая речь.

«Если бы мы знали, что каждого из нас в жизни ждет, человеческие отношения складывались бы, вероятно, иначе, чем складываются они на деле. Если бы я знал, как Вильде умрет, я, конечно, помнил бы о нем больше, чем помню теперь», — писал о Борисе Вильде после войны Георгий Адамович. «Все, знавшие Вильде, я думаю, согласятся с каждым словом Адамовича. На Монпарнасе Бориса Вильде, Дикого, действительно все любили, но вряд ли кто понимал», — замечает по этому поводу Владимир Варшавский, тоже посвятивший памяти Вильде немало теплых строк. Гайто был полностью согласен с ними: узнав о героической смерти Бориса, он ощутил невыразимое сожаление о том, что не успел узнать его поближе и тем самым не имел возможности сохранить о нем воспоминаний. Особенно остро он ощутил это сожаление, когда прочел отрывки из «духовной биографии» Бориса, написанной им по-французски в тюрьме. Гайто отметил в них много созвучного тому, над чем мучительно размышлял он сам в те же годы. «Автобиография» была выражением души истинного художника:

«Я ничего не знаю о потустороннем. У меня есть только сомнения. Жизнь вечная, однако, существует. Или это страд перед небытием заставляет меня веровать в вечность? Но небытие не существует. Что ты об этом думаешь?

Я? Я знаю лишь одно: я люблю жизнь».

Гайто прочитал эти строки лишь после войны, уже имея опыт

объединения с «братьями по духу» в масонской ложе и с «братьями по крови» в партизанской борьбе. Он давно осознал то, что люди, способные на единение в столь разных воплощениях человеческого бытия, являются большой редкостью, и мысль, что он пропустил такого человека, была ему горька и неприятна. Но все это ощутил он намного позже, а тогда, зимой 1942-го, эмигранты еще не могли узнать всех подробностей «дела Музея Человека» и, потрясенные слухами о трагедии, лишь замечали, как страшно опустел русский литературный Париж.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Я считаю необходимым указать вам здесь на дурную сторону ложно понятого патриотизма. Патриотизм становится ложным во всех тех случаях, когда он ослепляет вас до такой степени, что вы утрачиваете понимание собственных недостатков и чужих достоинств, когда он порождает враждебность, стремится создать между нами и соседними народами непреодолимую преграду и убивает в нас всякое чувство доброжелательности.

Дмитрий Шаховской. Памятка «Что нужно знать русскому в зарубежье»

1

Смерть Бориса Вильде окончательно разделила русских писателей на два лагеря. По ту сторону баррикад оказались сторонники Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, чьи надежды на Гитлера как на освободителя от коммунизма стали огромным потрясением для эмиграции. Недаром Зинаида Николаевна после выступления Мережковского по радио в 1941 году, в котором он сравнил Гитлера с Жанной д'Арк, заметила: «Теперь мы погибли». Его речь поразила многих, кто любил и посещал вечера «Зеленой лампы».

«Я теперь не бываю у Мережковских, – писал Юрий Фельзен еще до своего ареста в письме к Адамовичу, – там теперь бывают совсем другие люди».

Война несла с собой непримиримость, и то, что в мирное время могло быть названо аберрацией сознания, в те годы воспринималось как предательство. Много позже, вспоминая об этом удручающем факте биографии Мережковского в своих мемуарах «На берегу Сены», Ирина Одоевцева грустно заметит: «А ведь он всю жизнь твердил об Антихристе, и, когда этот Антихрист, каким можно считать Гитлера, появился перед ним, Мережковский не разглядел, проглядел его». На свое счастье, Мережковский умер в декабре 1941 года, не узнав в полной мере

всех зверств, выпавших на долю Европы, очутившейся под игом фашистов, не дожив до разгрома Германии и торжественной победы СССР и не став свидетелем раскола, который потряс русскую европейскую эмиграцию в военные годы. Иначе он наверняка бы познал всю горечь раскаяния, как узнала ее Нина Берберова. Русских литераторов мгновенно облетела весть об открытке, которую она направила Бунину, приглашая его вернуться из свободной зоны в Париж и уверяя, что «теперь объединение всей русской эмиграции вполне возможно». Ни Гайто, ни другие русские участники Сопротивления не смогли простить Берберовой ее «невольного заблуждения», «исторической недальновидности». До конца своих дней, будучи уже профессором Принстонского университета в США, она будет оправдываться за эти слова, которые «неверно поняли» ее коллеги-литераторы. Однако в те первые три года войны настроения, подобные высказанным Мережковским и Берберовой, среди русской эмиграции не были редкостью. Особенно остро это стало ощущаться после нападения фашистов на Россию.

«На улицах Парижа и на подземных стенах метрополитена расклеены огромные бумажные полотнища, изображающие карту Европы в ее настоящих границах; из каждой страны направлена карающая стрела в сторону России, сливаясь с основной стрелой — германской. Это, одновременно, эмблема бескорыстного «крестового похода» на украинский чернозем и зазыв принять в нем добровольное участие. Относительно отклика на этот призыв сведений точных не имеется; известно только, что в Сенноском департаменте записалось до 10 августа 214 человек неясной национальности; впрочем, один из них несомненный француз» – так в августе 1941 года описывал Осоргин начало призыва добровольцев на Восточный фронт.

Для русских эмигрантов сам факт намерения Германии захватить СССР не был неожиданностью. Еще с марта 1941 года фашисты стали привлекать русских в немецкую армию в качестве переводчиков. Белый генерал Краснов, не таясь, готовил формирование казачества для освобождения России от большевиков вместе с немцами.

«Итак… Свершилось! — писал он 23 июня 1941 года.— Германский меч занесен над головой коммунизма, начинается новая эра в жизни России и теперь никак не следует искать и ожидать повторения 1918 года, но скорее мы накануне событий, подобных 1812 году. Только роли переменились. Россия — (не Советы) — является в роли порабощенной Пруссии, а Адольф Гитлер в роли благородного императора Александра Первого».

Вдохновленный генералом Красновым «Русский

общевоинский союз» во всех своих отделениях, находящихся в Софии, Белграде, Праге, Париже, Брюсселе, начинает регистрацию добровольцев для вступления в гитлеровскую армию. Немецкое командование не стремится включать бывших солдат Белой армии в ряды вермахта, однако выражает официальную поддержку профашистски настроенной части русской эмиграции.

25 июля 1941 года в Париже некто Юрий Жеребков выступил с обращением к русской эмигрантской общественности. Он сообщил, что приказом главнокомандующего германскими вооруженными силами во Франции за подписью генерала Бреста от 9 апреля 1941 года был утвержден и признан единственной русской организацией Комитет взаимопомощи русских эмигрантов во Франции. Его цель — руководство эмигрантами, помощь нуждающимся и нетрудоспособным, облегчение русским эмигрантам удостоверения их национальности. Он особо подчеркнул, что «комитет был создан для помощи и содействия всей русской эмиграции, из которой евреи, конечно, исключаются».

«Недавно, — сказал Жеребков, — мне говорил один русский деятель о "традициях" эмиграции. Лучше забудем об этих традициях! Закроем грустную страницу вашего двадцатиоднолетнего существования за границей и откроем новую — свежую. Что на ней будет начертано, зависит отчасти от нас самих, главным же образом от событий стихийного характера, что разворачиваются на наших глазах».

Четырнадцатого июня 1942 года на улице Гальера в доме номер четыре разместилась редакция официального печатного органа жеребковского комитета — газеты «Парижский вестник». Имея политически нейтральное название, газета отличалась откровенной агрессивностью по отношению к Советскому Союзу и неприличным подобострастием по отношению к немцам, которое выражалось в прославлении побед германского командования на Восточном фронте и антисемитских выпадах авторов. Среди них, помимо совершенно неизвестных личностей, неожиданно всплыли бывшие «монпарно».

«Последний номер "Возрождения", последний номер "Последних новостей", в котором редакция, убегая из Парижа, обещает выпуск газеты где-то во французской провинции, — первый номер "Парижского вестника": это — грань, межа, водораздел целых эпох», — восторженно писал Илья Сургучев, будущий автор трогательных романов «Ротонда» и «Детство императора Николая Второго».

Несмотря на презрение, с которым воспринимали

публикации в «Парижском вестнике» многие русские «парижане», избежать его чтения было почти невозможно, — газета в то время была единственным источником, из которого можно было узнать официальные сообщения, касающиеся белой эмиграции. По этой же причине трудно было избежать какого бы то ни было сотрудничества с комитетом, возглавляемым Жеребковым. Все русские эмигранты обязаны были там зарегистрироваться и получить новые документы.

Гайто с Фаиной тоже прошли эту процедуру, стараясь как можно скорее покинуть регистрационный пункт и не вступать в лишние, неприятные разговоры. По обрывкам тех фраз, которые они слышали, стоя в очереди, явственно ощущалось, что русские эмигранты, хотя и пришли скрепя сердце на регистрацию, не спешат по призыву Жеребкова расставаться со своими традициями, среди которых первой и главной была любовь и сострадание к родине. И потому вести с Восточного фронта были главной темой в их скорбной очереди. Эти русские симпатизировали не Краснову, а Деникину, который гневно отверг предложение идти на службу к немцам: «Я служил и служу только России. Иностранному государству не служил и служить не буду». Эти русские в кинематографе после просмотра военной хроники узнавали друг друга по заплаканным лицам и по шепоту: «Пожалей, Боже, наш народ и помоги!» И только в одном эти русские были согласны с Жеребковым: в это время действительно открывалась новая страница эмигрантской жизни, которая лишь отчасти зависела от них самих. Для Гайто это «отчасти» означало вступление в борьбу. В процессах «стихийного характера» Гайто был готов поддержать не только движение «против», но уже отчетливо уловимое движение «за».

2

Для Газданова, как и для многих русских эмигрантов 1942 год стал переломным в отношении к войне. Эволюция которую пережил Гайто за четыре года Второй мировой, была чрезвычайно близка той, что обнаружил в своих «Письмах о незначительном» его друг Михаил Осоргин. После войны про Осоргина стали писать, что он, как настоящий русский интеллигент, был участником движения Сопротивления.

Гайто знал, что это не совсем так, вступить в настоящую борьбу Михаил Андреевич уже не мог даже по состоянию здоровья, но будучи человеком свободолюбивым, не

противостоять злу тоже не мог. Это свойство было еще одной из многочисленных точек их соприкосновения.

Отъезд Осоргиных из Парижа Гайто перенес особенно тяжело. В Париже, как мы знаем, они были почти соседями, виделись часто, и потому обоим было непривычно обмениваться короткими открытками, в которых всего не опишешь, не обсудишь.

«Я не писал, — извинялся Газданов в августе 1942-го в письме к Осоргину, — ибо так мало можно сказать в почтовой открытке, и это меня удручает. Я сохраняю к Вам все те же чувства. Я Вам желаю всего того, что может Вас сделать счастливым. Я мирно живу и пишу незначительные вещи. Я имею возможность говорить о Вас каждый раз, когда вижу наших общих друзей, правда, их остается все меньше и меньше…»

Только много позже, прочитав осоргинские публикации в американских журналах, Гайто убедится в совпадении их душевных движений и откликов на военные события, в том совпадении, которое неизменно ощущал при общении с Михаилом Андреевичем на протяжении многих лет.

«Я не хочу быть пристрастным ни к одной из воюющих сторон, — хотя пристрастие и не считаю своим пороком. Итальянцы пока не отличились стратегическими доблестями и не проявили военных успехов, — осуждать ли за это итальянский народ, видеть ли в этом его духовную слабость? Англичане выказали необычайную стойкость и героизм, признаваемый даже их врагами, – разве это лучшее, что можно сказать об англичанах как нации? Немцы считают себя накануне завоевания не только Европы, но и целого мира, – дает ли это им право на звание лучшего в Европе и в мира народа? Россия проявила змеиную мудрость в столкновении народов, неужели именно этого рода мудростью мы должны гордиться? И Италия – не дуче, и Германия – не фюрер, и СССР – не товарищ Сталин», – читал он в открытом осоргинском письме «О нации, о чести и прочем» от 17 февраля 1941 года.

Дальше – горькое сожаление, которым наполнен текст осоргинской статьи «О войне, Вольтере и прошлом» от 24 февраля 1941 года.

«Половина мира воюет, другая половина готовится к войне. Весь мир жаждет окончания войны. Когда война кончится, весь мир будет готовиться к новой войне… Немцы начали войну, требуя для себя "жизненного пространства"; заняв оружием пространство, которое они себе требовали, они завоевали также жизненные пространства других народов: австрийцев, чехов, поляков, норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев, французов, румын. Русские, не нуждаясь в пространствах, тем не менее

отняли их у поляков, литовцев, латышей, эстонцев, румын, финнов. Англичане, защищая права и пространства других народов, рискуют потерять свои; французы уже потеряли. Итальянцы в погоне за новыми колониями уже потеряли старые. Греки, испугавшись потерь, неожиданно сделали приобретения. Эфиопы, к которым их пространства возвращаются, видят их пока занятыми англичанами. Балканские славяне остаются в неуверенности, приобретут ли они чужие или потеряют свои пространства. Японцы завязли в пространствах Китая и не знают, как им выбраться. Америка, стоя в стороне от европейской всеобщей свалки, обращает себя в неприступную крепость. И все-таки мир, писавшийся раньше через "и" десятеричное, несомненно, жаждет мира через "и" восьмеричное; страстно жаждет и делает все противоположное своим желаниям. И будет делать впредь».

Затем — разумное увещевание в статье «Нейтральные» от 24 марта 1941 года.

«Но есть особого рода духовный нейтралитет, основанный не на принципе "моя хата с краю", не на расчете выгод такой позиции и не на двустороннем холодном умствующем отрицании, а на совершенно противоположном: на равном человеческом сочувствии и сострадании живым единицам, от имени которых правители государств совершают преступление, именуемое войной».

Многое из того, что писал Осоргин до нападения фашистов на Россию, казалось Гайто близким и понятным. Он и сам тогда не хотел быть пристрастным ни к одной из воюющих сторон, хотел быть сторонником духовного нейтралитета в ожидании мира через «и» восьмеричное. Однако июнь 1941-го не позволил ни ему, ни Осоргину молча дожидаться развязки.

«Есть два русских народа, — писал Осоргин в письме "О нас" от 18 июля 1941 года. — Один — огромный, защищающий свою землю от вражеского вторжения. Другой — маленький и запуганный, вкропившийся точками и пятнышками в земли чужие и выжидающий, какие еще суждены ему испытания, куда его швырнут, в чем обвинят, за чьи дела заставят расплачиваться горбом. У этого второго народа нет ни границ, ни защитительных линий; у него нет даже права на суждения, как нет и единства мнений; его патриотизм подмочен, его национальность неопределенна и разно толкуется документами, при которых он состоит в качестве приложения невысокой важности… О нас, о маленьком народце, обреченном во всей Европе на молчание, не имеющем больше своей печати, своих открытых мнений, хотя бы едва слышного голоса. У этого народца была большая мечта, — во

всяком случае, у среднего и младшего поколения: когда-нибудь увидать свои края. Мы говорить об этом сейчас не будем, только поставим вопрос: какой ценой? Ценой разгрома, ценой гибели миллионов? Велика такая цена, о ней страшно думать: так не покупается маленькое счастье — если счастьем был бы возврат».

Лучше многих Михаил Осоргин понимал, что возврата быть не могло, ибо прежней России давно уже не существовало. Но даже той, новой стране, которой он не знал, он желал свободы, невзирая на большевистскую тиранию.

«Поскольку в России, наводненной врагами, происходит борьба культур и народов, моя позиция, позиция русского человека, проста и понятна; но там же идет борьба двух политических идей, двух деспотизмов разного качества. Оба лживы и гибельны, обоим я не могу не желать поражения. Не социальным системам, которые я, конечно, не смешиваю, а политическим, между которыми различия почти нет; им обеим я одинаково хочу гибели, полного крушения; настолько одинаково, что даже и не знаю, который из них "враг номер первый". А между тем поражение одного может стать торжеством другого. Логически моя позиция противоречива. Логика говорит: пусть оба задохнутся в смертельных объятьях. Но чувство делает поправку: пусть мой народ задавит и изгонит врага моей земли», – так писал он в «Людях земли» от 7 сентября 1941 года, когда из России приходили известия одно страшнее другого.

Читая последние послания Осоргина, Гайто обратит внимание, что его друг под словом «мы» уже имеет в виду и тех русских, что три года живут под Гитлером, и тех, что только вступили в борьбу, а словами «наша армия» он называет тех, кто дрался в это время с немцами в России, на и Украине и в Белоруссии. Гайто и сам хорошо помнил, что сообщение о сдаче недостижимо далекого Харькова отозвалось в его душе куда больнее и трагичнее, чем лающие крики стоящих прямо у него под окнами немецких оккупантов. Для него во время войны вопрос о мнимости и подлинности единства каждый год решался поразному. И потому для Гайто не было ничего странного в том, что в те дни, когда немцы стояли под Москвой, Осоргин, добрейший, миролюбивый друг, убежденный противник насилия, — в те дни Михаил Андреевич откровенно призывал всех к войне против Гитлера:

«Страшной атаке цивилизованного варварства должна быть противопоставлена контратака, единственный стратегический прием, действенность которого доказана на одном из фронтов войны. Она в огромном исповедании веры, в отрицании всяких соглашений и сотрудничества с врагом этой веры, в предпочтении

смерти сдаче. Потому что и смерть может быть полезной: она оставит в памяти людей семена для новых всходов, она удобрит для них многострадальное духовное поле».

Похожую эволюцию Гайто переживет в одиночестве вдалеке от Осоргина, осевшего в Шабри и от братьев-масонов, разъехавшихся по всему свету. Через некоторое время после смерти друга в 1943 году Газданов вступает в «Резистанс».

3

«Были русские люди во Франции, в других европейских странах, которые сами, по собственному почину, в одиночку поначалу — вступали в организацию "Резистанса", уходили в "маки" или же с громадным риском переходили границу, чтобы вступить в ряды союзных армий.

Идти в "Резистанс" для многих французов было событием как бы естественным, органическим; французская армия если и не участвовала больше в войне, то все же где-то там, в Англии, формировалась: рано или поздно она снова вернется на родную землю и примет в свои ряды людей “чистой совести”. Для русского эмигранта этого простого, общего импульса не существовало; мотивы, побудившие русских людей вступить в ряды французского Резистанса, были всегда личного характера, для каждого свои – но они были или стали в какой-то момент императивны.

Многие считали, что долг человека, прожившего долгие годы во Франции, отплатить за гостеприимство и не смотреть, просто сложа руки, на то, как горит дом друзей и как попираются во всем мире все духовные и культурные ценности, всякий подлинный общечеловеческий идеал; и конечно, все, как русские люди, хотели принять участие в борьбе с общим врагом, напавшим на нашу Родину, и этим доказать свою любовь и верность, далекой, но никогда не забытой Матери».

Таковы были итоги деятельности, которые подвели в 1946 году члены объединения добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. В последующих номерах «Вестника» по воспоминаниям и отчетам они пытались воссоздать последовательность многолетнего движения, которое из редких и хаотичных подвигов первых лет войны превратилось в системный и методичный процесс. По-настоящему массовый характер он приобрел только к 1943 году, когда к французским и

эмигрантским антифашистам на территории Франции добавились тысячи советских военнопленных, бежавших из немецких лагерей. О них в статистическом отчете 1944 года о политических настроениях населения Франции говорится как о третьей по численности части всех русских, находящихся на территории страны. Первую, самую многочисленную, составляли пророссийски настроенные белые эмигранты, вторую — соответственно — сторонники фашизма во главе с Петром Красновым, Андреем Власовым, митрополитами Анастасием и Серафимом.

К 1943 году в состав групп французского Сопротивления входили русские эмигранты из первой части. Так, ответственным секретарем одной из самых крупных и разветвленных организаций Сопротивления, возглавляемой Жаком Артюисом, была легендарная Вера Оболенская. Она держала постоянную связь с правительством де Голля в Лондоне, работала с партизанами и антифашистски настроенным гражданским населением. Арестованная в декабре 1943 года, она мужественно держалась на допросах и не дожила нескольких месяцев до освобождения Франции — в августе 1944 года ее казнили (обезглавили) фашисты.

К тому времени в Париже уже во всю действовали группы «Русский патриот», «Русская еврейская группа», состав которых, несмотря на названия, был интернационален. Если создание отдельных русских формирований, готовых воевать на Восточном фронте на стороне немцев, шло с самого начала войны и было приостановлено лишь из-за недоверия германского командования по отношению к русским, то вопрос о создании отдельных русских партизанских групп и отрядов в «Резистансе» встал только к концу 1943 года, когда на территории Франции был создан Центральный Комитет советских военнопленных (ЦК СВП). Первоначальная его задача заключалась в организации саботажа на местах работы и в организации побегов заключенных. И тот и другой род деятельности был близок и понятен антифашистски настроенным французам.

Идея профессионального саботажа была весьма популярна среди французов с самого начала прихода немцев в стране. Гайто помнил, что в 1940—1941 годах Париж то и дело сотрясали известия о его бывших коллегах с «Рено», которые намеренно произвели несколько сот непригодных моторов. Вскоре к ним присоединился завод «Гном-и-Ром», выпустивший моторы, способные работать всего несколько часов. Весной в Париже сгорел склад немецкого обмундирования, потом были взорваны 12 вагонов с боеприпасами. Взрывы были делом первых отрядов

«маки» — французских партизан, получивших свое название от «maquis», что значит — лес, чаща.

Советские пленные пошли по тому же пути и начали создавать свои собственные отряды. Французское руководство, подобно немецкому, тоже было против разделения по национальному признаку, но совершенно по другим причинам: среди советских пленных почти не было людей, знавших французский язык, особенности местности и обычаев, что само по себе уже создало бы огромные проблемы со связью, конспирацией и ставило бы под удар другие группы. Таким образом, было решено, что русские должны вступать в ряды французского «Резистанса» отдельно или небольшими группами, между которыми будут работать связные, владеющие обоими языками. Естественно, это были русские эмигранты. Первым из тех, с кем познакомился Газданов, был Алексей Петрович Покотилов, произведший на Гайто впечатление человека исключительного:

«Одна из его особенностей заключалась в том, что он внушал к себе мгновенное доверие; и тому, кто с ним впервые встречался, становилось ясно, что на этого человека можно положиться, что, не зная ни его имени, ни адреса, можно спокойно вручить ему миллион чужих денег и потом прийти через год и целиком получить все это обратно; что нельзя отделаться от впечатления, что вы знакомы с ним много лет, хотя вы его только что увидели. Было еще очевидно, что он крайне доброжелателен, что он обладает спокойным и добродушным юмором. Особенно удивительны были его огромные полудетские глаза – на лице сорокалетнего мужчины. Если бы этот человек захотел воспользоваться своей бессознательной привлекательностью для отрицательных целей, он мог бы быть крайне опасен. Но о существовании отрицательных целей и о возможности к ним стремиться он знал, я думаю, только теоретически» («На французской земле»).

В октябре 1943-го Покотилов с супругой уже входили в группу «Русский патриот», где вначале «все сводилось к чисто детской работе: распространение литературы, продажа марок, собирание одежды бежавшим пленным».

«После проверки, — вспоминал Покотилов, — нас познакомили с бежавшим из плена полковником Красной армии Николаем. И тут началось формирование партизанского отряда. Лавочка, где работала моя жена, превратилась в склад литературы и оружия. У нее было два выхода, там устраивались явки членов организации. Гайто Газданов, которого я свел с Николаем, стал редактировать подпольную газету, которую издавали бежавшие пленные. Его жена Фаина Ламзаки встречала

и провожала будущих партизан».

Судя по тому безоговорочному доверию, которое испытывал по отношению к Покотилову сам Газданов, не было ничего удивительного в том, что на предложение об участии в подпольной работе Гайто и Фаина откликнулись незамедлительно. Эти две решающие встречи — знакомство Покотилова с Николаем (в книге — Антоном Васильевичем) и свое собственное вступление в подпольную группу, описанное как «эпизод с приятелем», — Гайто подробно воссоздал в своей документальной повести:

«Встреча Антона Васильевича с Алексеем Петровичем (Покотиловым. — О. О.) произошла в небольшом гастрономическом магазине, где жена Алексея Петровича считалась хозяйкой. До 1942 года она была там служащей. Но затем немцы арестовали и увезли в Германию русскую еврейку, которой принадлежал магазин, и служащая осталась одна…

В задней комнате этого магазина часто бывало по пятнадцать человек, которые обычно обсуждали чисто технические вопросы: кому отвезти куда-то оружие, кого послать за бежавшими пленными, чтобы привезти их в Париж, и т.д. И в одинаковой степени и хозяйка магазина, и ее муж, и посетители, толпившиеся в задней комнате, бесспорно, после короткого и формального допроса, заслуживали расстрела. Но, к счастью, гестапо туда не заглядывало. А вместе с тем там днями лежал кожаный портфель, туго набитый револьверами, там были тюки и чемоданы штатского платья для переодевания бежавших военнопленных, там стояла пишущая машинка, которую должны были доставить на квартиру, где печаталась советская подпольная газета.

Именно туда попал однажды Антон Васильевич, которому сказали, что в этой лавочке — "патриоты"…

В то время, когда через Париж шли скрещивающиеся пути небольших партизанских групп или отдельных партизан, мне как-то не приходилось думать о том, что именно отличает этих людей от других и что их побуждает действовать с таким наивным и слепым героизмом. "Защита родины" — это были слова, за которыми могло скрываться очень различное содержание, — не в том смысле, что искренность патриотических побуждений вызывала какие-нибудь сомнения, а в другом — именно в огромном богатстве оттенков этого бесконечного, всеобъемлющего понятия. Я стал думать об этом только позже, после освобождения Парижа союзными войсками. До этого, вдобавок, некоторые эпизоды, случившиеся с одним из моих приятелей, заняли мое внимание на известное время и отвлекли его от обсуждения этих вопросов. Тому, что эти эпизоды могли

возникнуть, мой приятель был обязан удивительному простодушию Алексея Петровича.

Их связывали длительное знакомство, прекрасные личные отношения и общность взглядов на многие существенные вещи. Но понятие Алексея Петровка о "патриотическом долге русского человека", как он говорил, было проникнуто постоянным динамизмом, который мне казался в нем удивительным и, в сущности, почти непонятным. Это свое понятие он бессознательно и автоматически переносил на других людей. Его рассуждения по этому поводу сводились приблизительно к следующему:

— Если я обращусь к такому-то с просьбой сделать такую-то вещь, которая, несомненно, полезна для нашей общей цели, то есть борьбы против немцев, и если тот, к кому я обращаюсь, сравнительно порядочный человек, то, конечно, он также не может от этого отказаться, как не мог бы отказаться и я на его месте. Стало быть, спрашивать его об этом заранее — потеря времени.

И, конечно, в тот вечер, когда к Алексею Петровичу пришел мой приятель и застал там Антона Васильевича, он меньше всего мог предвидеть, что ему предложат принять участие в составлении подпольной газеты, которая предназначалась для распространения среди советских пленных, находившихся в немецких лагерях. Было очевидно, что в тех условиях, в которых был поставлен этот вопрос, мой друг не мог отказаться, в частности, потому, что не считал возможным обмануть доверие человека, который ежедневно рисковал своей жизнью».

Таким образом, впервые Газданову удалось познакомиться с русскими военнопленными. До того момента, как во Франции стали появляться бежавшие из немецких лагерей солдаты Красной армии, Гайто почти не видел и не знал советских людей нового поколения, появившегося за двадцать лет его отсутствия на родине. Под впечатлением от знакомства с ними Гайто и решится написать книгу о партизанской борьбе — первую и единственную в своем творчестве документальную вещь, которая сохранит подробности и обстоятельства того времени. Но, как и в предыдущих художественных романах и рассказах, главным душевным движением, которое заставляло его в течение многих лет садиться за письменный стол, было желание выразить богатство человеческих индивидуальностей, которое он почувствовал, столкнувшись с неведомыми прежде персонажами. Именно им будут посвящены самые яркие и значительные страницы.

«Сами о себе они не напишут и даже не расскажут, — считал

Гайто. — Кроме того, всякому их выступлению такого рода — если бы оно произошло — другие люди, не бывшие свидетелями этого, могут теоретически приписать характер личной заинтересованности. Это было бы в высокой степени несправедливо, но с возможностью такой несправедливости, иногда почти невольной, нельзя не считаться.

Я не советский гражданин и не коммунист — и мне не угрожает никакая критика личного порядка. И я пользуюсь этим, чтобы подчеркнуть еще раз это торжество героизма над насилием, воли над действительностью, настоящей непобедимости над мнимой победой и — я надеюсь — благодарности над забвением».

Движимый порывом художника, передающего впечатления, и чисто человеческим стремлением установления справедливости, Гайто старался как можно точнее воссоздать истории и характеры непридуманных героев, умолчав о своей собственной помощи и об участии своей жены Фаины в движении, объединившем их на время с далекими прежде соотечественниками. Никогда и нигде Газдановы не будут козырять своею ролью в партизанской группе «Русский патриот», считая ее скромной и незначительной. И это несмотря на то, что, по словам Марка Алданова, «риск, которому подвергались участники “Резистанс", даже работавшие на второстепенных постах, был, конечно, много страшнее риска офицеров и солдат на войне». Но во времена, «когда, по выражению Газданова, через Париж шли скрещивающиеся пути партизанских групп», ни ему, ни Фаине не приходилось долго размышлять о последствиях своего «легкомысленного» согласия помогать Алексею Петровичу Покотилову и его новым товарищам.

В начале 1944 года полковник Красной армии Николай стал командиром партизанского отряда имени Максима Горького, куда и переправляла Фаина беглых военнопленных, используя свой пропуск на выезд и въезд в Париж, полученный все в том же эмигрантском комитете, возглавляемом Жеребковым. «С паршивой овцы хоть шерсти клок!» — шутила она по этому поводу.

«…мне неоднократно приходилось наблюдать,— вспоминал Гайто, — как по парижской улице шла эмигрантская дама и вслед за ней пять или шесть советских пленных, в костюмах с чужого плеча и с тем непередаваемым советским видом, по которому их тотчас же можно было отличить от всех. Достаточно было, чтобы их остановил агент гестапо, и им и их гиду угрожали бы самые жестокие наказания — от страшных немецких лагерей до расстрела».

Чаще других среди упомянутых «эмигрантских дам» Газданов наблюдал собственную жену, пораженный ее неизменным бесстрашием, с которым она отправлялась в очередное «сопровождение». Эта жизнь, полная непридуманных волнений и опасностей, продолжалась вплоть до лета 1944-го, когда Франция снова задышала воздухом свободы.

Дольше других пришлось ждать этого момента жителям острова Олерона, где оставались шуменские друзья Газданова. Остров был отлично укреплен и до мая 1945-го находился под властью фашистов. Но и там начиная с 1943 года действовала группа Сопротивления, которой руководили Вадим Андреев и вернувшийся из плена Владимир Сосинский. В организации были задействованы почти все русские, проживающие на острове, даже дети. Алеша, старший сын Сосинского, на велосипеде возил от отца записки Андрееву, а тот через рыбаков связывался с материком.

После освобождения Франции русскую эмиграцию в Париже захлестнула волна пророссийских настроений. Все на той же улице Гальера в доме номер четыре вместо профашистского «Парижского вестника» стала выходить новая газета – орган отделения Сопротивления «Русский патриот». Газета сообщала о победах советских войск на Западном фронте и вела активную поддержку всех выходцев из России на территории Франции, вне зависимости от их национальности и гражданства. 1944-1945 годы – недолгое время подлинного объединения всех детей общей родины, которые праздновали общую победу, невзирая на политические и социальные разногласия.

Через десять дней после взятия Берлина, 19 мая 1945 года, Гайто закончил рукопись под названием «На французской земле». И тут же по настоянию жены принялся за ее перевод на французский язык, чтобы она могла достичь не только апатридов, но и коренных французов, которые мало что знали о подлинном героизме русских. И уже в 1946 году книга вышла в издательстве братьев Люмьер под названием «Je m'engage a defendre». Ей было посвящено несколько доброжелательных откликов в эмигрантской прессе, вроде того, что написал Александр Бахрах в «Русских новостях»:

«Страна, ради которой эти безымянные люди гибли в европейских пространствах, окруженные со всех сторон вражескими полчищами в своем безмерном одиночестве, — эта страна не может и не должна забыть далекий героизм тех, кто отдал за нее свои жизни на иностранной земле. Маленькая книга Газданова — первый камень этому памятнику».

Но на деле случилось иначе: сначала забыли о памятнике,

вскоре и камень стал ни к чему. Те из русских эмигрантов, кто, рискуя жизнью, чудом избежав немецких лагерей, воодушевились общей победой и устремились в СССР, были объявлены врагами народа и попали в лагеря на родине, за свободу которой они самоотверженно боролись еще несколько лет назад. А книгу Гайто не вспомнил никто из тех, кому могла быть интересна история партизанского движения во Франции: для французского читателя она была слишком «пророссийской» и потому — непонятной, для белой эмиграции слишком «просоветской» и потому — неприятной, для советских критиков — слишком независимой и потому — опасной. Между тем это было первое документальное непредвзятое повествование о многонациональной армии борцов против фашизма на территории Франции. Но в наступающей послевоенной эпохе непредвзятости не было места.

Как не было места всему тому, на чем держался мир Гайто, выстраиваемый им по крупицам двадцать лет. Оглядываясь на оставленные за спиной сорок пять лет жизни, Гайто предчувствовал момент пересечения обстоятельств внешнего характера с внутренними душевными движениями. Он привык к чувству раздвоенности, порожденному параллельным течением событий в его душе и в его биографии. Он знал, что нарушается этот параллельный ход чрезвычайно редко и, как правило, трагично. И это значило, что вновь потребуются время и силы для того, чтобы вбить колышки, натянуть невидимые нити жизней и сделать их равноудаленными друг от друга. А пока эти колышки валялись стопками в его кабинете в виде связок книг, которые прислали ему издатели. Сразу после войны у Газданова один за другим вышли два романа, которые подвели черту под его предыдущим существованием.

РАССТАВАНИЕ С ПРИЗРАКОМ

И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним…

Откровение Иоанна Богослова, гл. 6

И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно Судит и Воинствует.

Откровение Иоанна Богослова, гл. 19

1

За всю свою жизнь Газданов не написал ни одной пьесы. Он пробовал себя в разных жанрах: были поэтические эксперименты в ранней юности, после — новеллы, психологические романы, повести, но о его поисках в области драматургии нам ничего не известно. Кроме, пожалуй, того, что еще до начала Второй мировой войны, в конце 1930-х, он задумал роман, который писал в расчете на дальнейшую экранизацию. Расчет оказался верным. В 1949 году американская компания CBS показала по телевидению экранизацию романа Газданова «Призрак Александра Вольфа».

Чем этот роман привлек голливудских кинематографистов, догадаться нетрудно — напряженное действие и динамичный сюжет были превосходной основой для фильма. Но сам автор остался картиной недоволен и о первом и единственном опыте сотрудничества с экранизаторами вспоминать не любил, что, впрочем, тоже было неудивительно. Ибо для Гайто этот роман был итогом напряженного писательского труда – следования за героями, которые проживали жизнь, ими же самими придуманную и для себя самих желанную. Рассказчик «Призрака» — повзрослевший Коля Соседов, прошедший сквозь бури русского мятежа, осевший в Париже, накрутивший немалый километраж за баранкой такси и встретивший свою долгожданную любовь, за которую ему пришлось бороться. Кто он, откуда и почему ведет себя так, а не иначе, можно понять только в том случае, если внимательно прочесть все предыдущие романы и рассказы

Газданова, что само по себе было практически невозможно для американских кинематографистов: русского языка они не знали, на английский ранние книги Гайто Газданова тогда не переводились. Роман был воспринят как увлекательная история, начавшаяся с эпизода времен гражданской войны в «экзотической» России и закончившаяся нечаянным убийством в Париже.

И не было дела голливудским постановщикам до стопки рукописей, которую бережно хранил Гайто. До пожелтевшего листочка с первоначальным заглавием, написанным крупными буквами – «ПРИЗРАК АРИСТИДА ВОЛЬФА», – выпавшего из тетрадки довоенных времен, самой обычной: 96 страниц, коричневая дерматиновая обложка. Чуть ниже — короткий план: «Писатель — роман — героиня — его любовница, ее неправильное изображение, знакомство, роман и возврат к призрачности — смерть в первом романе (поэтическая), смерть в действительности и прозаичная».

До последней, четвертой, самой объемной редакции романа, уместившейся в длинную зеленую тетрадь, купленную в канцелярской лавке в те дни, когда Париж дышал воздухом освобождения, когда на улицах уже не слышна была лающая немецкая речь, мучительно раздражавшая Гайто в годы оккупации.

Впрочем, Газданов и не думал никого упрекать в легкомыслии и верхоглядстве. Он не ждал из-за океана глубины понимания, серьезного подхода к собственному творчеству. Уж если здесь, в Европе, где жили читатели-соотечественники, которые могли бы по достоинству оценить роман, «Призрак» был встречен более чем сдержанными критическими откликами, то на что можно было рассчитывать в Америке, темп существования которой представлялся Гайто почти противоестественным?

А пока сам факт завершения работы над романом казался Гайто намного важнее, чем все, что сопутствовало удачному или неудачному выходу книги в свет. Это была книга, которую он писал много лет, дольше, чем обычно. Менял сюжет, перебирал названия, переписывал, потом откладывал до лучших времен и возвращался к роману снова. Прежде он ничего так не писал. Он не любил работать над текстом, шлифовать, кардинально перестраивать. Обычно он писал, ведомый потоком ощущений, чувств и мыслей, которые надо было материализовать на бумаге — так, чтобы они перестали загружать память в течение дня, — и само подчинение этому потоку занимало его больше, чем красота построения текста и строгость композиции. Ему не раз доставалось за это от критиков, его упрекали в блестящем

повествовании неизвестно о чем и неизвестно к чему. Но он был убежден в том, что в свободном следовании потоку и заключалась магия писательства. Немногие поддерживали его в этом убеждении. Чаще всего это были лишь самые любимые женщины — мать и жена. Они больше других чувствовали, что писательская магия давалась Гайто дорогой ценой.

Оно рождалось в мучительном ощущении раздвоенности, преодолеть которую он стремился в каждом новом тексте. Чувство раздвоенности появлялось, как только он задумывался о собственной природе во всех ее проявлениях, будь то влечение к женщине, желание славы или писательство. Порой ему казалось, что двойственность и противоречивость желаний и стремлений родились вместе с ним в Петербурге на Кабинетской и вместе с ним умрут.

Он по-прежнему не верил в Бога так, как предлагали верить известные ему конфессии, и это неверие усиливало в нем страх перед невозможностью избавиться от сознания собственной внутренней дисгармонии.

Он чувствовал эту боль много лет, она мешала ему жить и дышать еще тогда, в первые парижские годы, когда он был совсем одинок и не мог высказать ее никому, кроме как в письмах к матери. Та недоумевала, пугалась, плакала и умоляла его беречься от воспаления легких.

Если бы Гайто был религиозен с детства, ему, возможно, было бы легче переносить тот специфический вид экзистенциального одиночества, который стремительно развился у людей двадцатого столетия, ибо истинно верующим неведомо отчаяние, они ощущают присутствие Господа и не чувствуют себя покинутыми. Но в поколении Гайто, бурно приветствовавшем Февральскую революцию, большинство были атеистами. Горькие последствия безверия они ощутили сполна, повзрослев в эмиграции. Недоучившиеся гимназисты, бросаясь с горячностью в водоворот событий, не замечали, как ярость их меняла оттенок и превращалась в отчаяние, тяжело оседающее в груди, лишающее сил. И если в Галлиполи Гайто еще с бодростью следовал взглядам покойного отца, чуравшегося церкви, то, прожив несколько лет в Париже, он не раз задавался вопросом: а так ли хорошо было духовное отцовское наследство? Он, кажется, немного завидовал матери, целостности и силе духа, которые она не теряла ни при каких обстоятельствах и о происхождении которых он все чаще задумывался, когда читал ее письма.

«Мысль о самоубийстве никогда не должна приходил тебе в голову, ты слишком здоровый человек, чтобы даже допустить мысль о таком ужасе. Иногда мне кажется, что никто столько горя

не перенес, сколько я, и, тем не менее мысль о самоубийстве никогда не приходила мне в голову, даже в самые страшные минуты. Правда, я всегда думаю, что если бы ты меня оставил, я осталась бы одна, то я этого горя не перенесла бы, но это не значит, что кончила бы самоубийством, я не смогла и не сумела бы совершить эту гадость. Я просто зачахла бы, как это недавно случилось с одной нашей родственницей, у которой заболел и умер единственный сын. Она не могла есть, целые дни ходила из угла в угол, затем слегла и умерла голодной смертью. И удивительная вещь: последние минуты все просила ее спасти. Ей было 70 лет. Я нахожу, что это была большая жестокость — дожить до 70 лет для того, чтобы испытать такое непереносимое горе. Что бы ей умереть год тому назад? Да, жизнь, говорят осетины, хитрая — сегодня ласкает, завтра все отнимает», — писала ему мать в апреле 1932-го.

Жизнь не особенно ласкала и Гайто, тем не менее не отнимая последнего. Последним, что связывало его с домом, была мать.

Ее не стало в конце 1940-го. Писем из России он больше не ждал, на новой родине хозяйничали немцы, друзья разъезжались кто куда. Кроме себя самого, больше не на кого было надеяться. Кто знает, как бы он дожил до Сопротивления, если бы в начале 1941-го не приступил вплотную к роману, в котором герой наконец-то избавляется от чувства раздвоенности, преследовавшего его все предыдущие годы.

2

В прежних книгах газдановский повествователь, иногда именуемый Николаем Соседовым, лишь рассуждал о собственной двойственности и обо всех тяжелых последствиях подобного существования.

Двойственность заключалась в том, что героя раздирали две противоположные стихии: он страстно любил жизнь в ее чувственных проявлениях, с запахами, звуками и красками, и в то же самое время никогда не мог отделаться от неисправимо-тягостного сожаления, что все это исчезнет, поглощенное смертью, которая манила его не меньше, чем жизнь. Память о неизменном присутствии смерти газдановский герой носил в себе с детства. Образы небытия периодически всплывали в его воображении то волчьей пастью, высунувшейся из лесной чащи, то доносившимся из распахнутого окна жестяным скрежетом,

который он слышал трехлетним мальчиком, то пением металлических труб, придуманных Круговским. И мысли о неотвратимой встрече со смертью лишали смысла все усилия, которые предпринимал герой, чтобы обрести душевное спокойствие хотя бы на время.

Но в новом романе Газданов изымает влечение к смерти из характера своего героя и материализует его в самостоятельном персонаже — Александре Вольфе. У Николая Соседова появляется двойник, который не просто озвучивает его прежние мысли, — он доводит их до логического конца:

«Его философия отличалась отсутствием иллюзий: личная участь неважна, мы всегда носим с собой нашу смерть, то есть прекращение привычного ритма, чаще всего мгновенное; каждый день рождаются десятки одних миров и умирают десятки других, и мы проходим через эти незримые космические катастрофы, ошибочно полагая, что тот небольшой кусочек пространства, который мы видим, есть какое-то воспроизведение мира вообще. Он верил все-таки в какую-то трудноопределимую систему общих законов, далекую, однако, от всякой идиллической гармоничности: то, что нам кажется слепой случайностью, есть чаще всего неизбежность. Он полагал, что логики не существует вне условных произвольных построений, почти математических; что смерть и счастье суть понятия одного и того же порядка, так как и то и другое заключает в себе идею неподвижности».

Сначала Гайто предполагал назвать Вольфа Аристидом, чтобы придать особое значение как фамилии, так и имени. Греческий аффикс «ид» указывал на носителя качеств Аристея – древнегреческого героя, преследовавшего Эвридику. Буквальный перевод имени Аристей — «наилучший». Еще одно значение — ловчий, охотник. Такое имя как нельзя лучше подходило к фамилии Вольф — по-немецки «волк». Но потом Газданов решил сохранить силовое равновесие рассказчика и его двойника. У Соседова «говорящей» была только фамилия, указывающая на автобиографичность героя; имя же – Николай – в русской литературе воспринимается вполне нейтрально. Тогда и двойника Соседова – Вольфа – Газданов наделил именем с самым широким кругом ассоциаций – Александром, сохранив лишь многозначительную фамилию.

Если бы Газданов знал, сколько трактовок фамилии Вольф дадут литературоведы, прочитав роман пятьдесят лет спустя, возможно, придумал бы что-нибудь попроще, однозначнее. Впрочем, к литературоведению он относился с большой долей иронии, в чем, не стесняясь, неоднократно признавался своим друзьям.

Есть ли связь между образом Вольфа и тотемным животным древних осетин — волком? Или он больше похож на волкодлака — оборотня у древних славян? В какой степени отражает сюжет романа мифологическое сознание автора? Нет ли закономерности между завершением темы Гражданской войны в творчестве автора и убийством Вольфа, символизирующим белогвардейский бронепоезд «Волк»? Подобные вопросы вряд ли могли волновать Гайто, когда он выводил мелким почерком первые строки:

«Из всех моих воспоминаний, из всего бесконечного количества ощущений моей жизни самым тягостным было воспоминание о единственном убийстве, которое я совершил. С той минуты, что оно произошло, я не помню дня, когда бы я не испытывал сожаления об этом. Никакое наказание мне никогда не угрожало, так как это случилось в очень исключительных обстоятельствах и было ясно, что я не мог поступить иначе. Никто, кроме меня, вдобавок, не знал об этом. Это был один из бесчисленных эпизодов гражданской войны; в общем ходе тогдашних событий это могло рассматриваться как незначительная подробность, тем более что в течение тех нескольких минут и секунд, которые предшествовали этому эпизоду, его исход интересовал только нас двоих — меня и еще одного, неизвестного мне, человека. Потом я остался один. Больше в этом никто не участвовал».

Далее следовала история о том, как Николай Соседов, не целясь, выстрелил в незнакомца, оставил убитого в степи и ускакал на его белой лошади. Через много лет в Париже в книге некоего Александра Вольфа он встречает рассказ «Приключение в степи», точно воссоздающий все обстоятельства этого события. Николай Соседов понял, что человек, которого он считал своей жертвой, остался жив, стал искать с ним встречи — и она произошла скорее, чем он мог предположить — у героев оказалась общая возлюбленная…

На этом месте Газданов остановился и отложил роман на два года.

Это было в январе 1942-го… Немцы хозяйничали не только в Париже, — они хозяйничали по всей Европе. Осоргина больше не было. Безденежье и гнетущая неопределенность сквозили во всем. Подобное трагичное стечение обстоятельств внутренней и внешней жизни было у Гайто лишь однажды — в первые парижские годы, когда он бедствовал в рабочих кварталах. Тогда он знал, что единственным человеком, кто по-настоящему горевал бы в случае его смерти, была его мать, и был благодарен ей за это. Но сама смерть не казалась ему худшим исходом событий. Она манила, завораживала, даже вдохновляла. Было

что-то спортивное в попытке обмануть свою смерть, разгадать ее тайну, не поддаться ей. И действительно, он верил в то, что смерть преображает ощутивших ее дыхание, вступивших в спор с нею на равных, а безобразная мутная пленка на глазах, серый цвет, которым незаметно покрывается лицо, прерывистое дыхание, бульканье и хрипение, вырывающиеся из груди, — все это лишь тем, кто сдался. У них не хватило сил заглянуть в небытие и отпрянуть, почувствовав себя обладателем ценнейшего знания, может быть, самого главного из того, что человеку суждено узнать.

И вот теперь, когда обстоятельства складывались похожим образом и рядом с ним была опять только одна женщина, которую может огорчить его смерть, — его Фаина, — теперь Гайто удивлялся своей юношеской наивности. Смерть потеряла в его глазах былую привлекательность, противостояние ей перестало быть источником вдохновения, и он впервые осознал, что, несмотря на внешнее отличие от монпарнасской богемы, на самом деле поддался юношескому соблазну очарования гибелью. Такое могли себе позволить лишь те, кто был от нее по-настоящему далек. Тем же, кто с ней заигрывал, смерть не прощала подобного высокомерия. И гибель Поплавского представилась Гайто не естественным торжественным финалом, а глупой выходкой, похожей на трюк, который он сам не раз проделывал в детстве: вставал на руки на перилах балкона, рискуя в любой момент сорваться с огромной высоты.

Только ребенок мог быть так жесток с близкими и неуважителен по отношению к жизни. И то, как он вслушивался во всеобщее упоение музыкой смерти на Монпарнасе, и то, как любил находить в себе старческие черты, и то, как искал вдохновения в приближении к краю, — все это вспоминалось ему почти со стыдом.

Дело было не в том, что за это время смерть в его понимании совершила собственное превращение из седой старухи, которая приходит к чужим людям на войне, в вежливого старика, забирающего близких безо всякого боя и свиста пуль. Дело было не в том, что он до сих пор отчетливо помнил, как хоронил Аврору, Бориса, Жанну Бальди, как скорбел о потере матери, затем — Осоргина. И даже не в том, что не мог больше быть ребенком и не хотел быть стариком. С ним случилось другое — он перестал принимать смерть как нечто всеобъемлющее, окончательное и определяющее всю человеческую жизнь, перестал верить утверждению, которое вложил в уста Вольфа: всякое направление движения в жизни — есть лишь направление к смерти.

Впрочем «случилось» — он мог бы о себе сказать только в том смысле, в каком понимали случай на Востоке: ему очень нравилось выражение: «Когда ученик готов, приходит учитель». Так и любая истина постигается только тем, кто готов ее постичь. И теперь Газданову казалось, что всю предыдущую жизнь он готовился к тому, чтобы понять простую, в сущности, вещь — смертью ничего не заканчивается, ничего не определяется, от того, как человек живет, зависит больше, чем от того, как он умирает. И стало ясно: если бы он не был внутренне готов к этой мысли прежде, не был бы столько лет предан масонскому делу духовного строительства, то, может быть, давно бы прервал свое существование каким-нибудь безболезненным способом, невзирая на мольбы матери. Голос «писателя Вольфа», который он слышал в себе много лет, стал слабеть и постепенно умолк. Гайто чувствовал, что перестал бояться смерти. Он просто потерял к ней интерес.

Вот почему в тот момент он не знал, чем должна закончиться встреча Соседова и Вольфа, каким будет финал романа. Ему требовалось время, чтобы внутренне подготовиться к определенному решению. Гайто никогда не относился к литературе как к шахматной доске, на которой можно менять положение фигур ради красоты композиции и удачного исхода партии. Романы не были для него игрой ума, каждый раз он создавал текст, который бы помог ему пережить то, чего он жаждал, пройти тем душевным маршрутом, который из прежде неведомого по мере написания превращается в знакомый и постигнутый. Только так Газданов мог хотя бы на время ощутить удовлетворение, в его сознании прочно связанное с движением. И вот теперь он внутренне замер, потому что и сам не знал, на что он хочет обречь Николая Соседова, чего ждет от Александра Вольфа.

Но дальше, как мы помним, обстоятельства складывались так, что смерть в буквальном смысле преследовала Газданова по пятам. Он вступил в Сопротивление, и уже некогда было размышлять о судьбе вымышленных героев. Нужно было помогать выжить героям настоящим.

В те дни, когда Париж покидали последние немецкие солдаты, Гайто вновь вернулся к «Призраку». На какое-то время он сдался, изменил своему писательскому принципу и стал примерять разные варианты финала романа путем подбора.

Он представлял, как застрелится Вольф, узнав, что Соседов любит ту же женщину, что и он сам. Он воображал себе, как Вольф после встречи с Соседовым сходит с ума в результате обострения травмы головы, полученной после ранения в степи.

Он даже хотел, чтобы Вольф остался равнодушен к встрече с Соседовым и не придал значения связывающему их прошлому; таким образом Гайто пытался свести на нет все переживания Соседова и окончательно избавить его от чувства вины…

Главная сложность заключалась в том, что Гайто ощущал Вольфа, как двойника Соседова, и потому оба героя были ему дороги и близки. Все, что случалось с Вольфом, неминуемо отражалось на самом Соседове. И он снова откладывает роман, решив по свежей памяти написать о советских партизанах. Только в 1946 году, закончив повесть «На французской земле» и вновь перечитав любимого Иоанна Богослова, он принялся глава за главой переписывать «Призрака».

Решение пришло к нему не в один точно фиксируемый момент. Оно не было похоже на озарение. Легкости постижения он не заслужил своим неисправимым скептицизмом. Но все-таки Газданов понял, о чем должна быть история. Из двойника повествователя Вольф превратился в его антипода. И если антагонист Соседова представлял себе жизнь как медленное движение к смерти, то закончиться роман мог только одним: Соседов убьет Вольфа таким же случайным выстрелом, как и в первый раз, — не зная, в кого стреляет. И когда он дописал последнюю фразу: «С серого ковра, покрывавшего пол этой комнаты, на меня смотрели мертвые глаза Александра Вольфа», ему не было ни страшно, ни стыдно, он не испытывал сожаления. Напротив: чувствовал себя праведно судящим. Вольф умер той смертью, которой желал. И вместе с ним умерли все герои, зараженные одной и той же неизлечимой болезнью, — Филипп Аполлонович из «Превращения», Эдгар По из «Авантюриста», офицер Павлов из «Черных лебедей» — всех их вместе утащил за собой в могилу писатель Вольф. Писатель Газданов больше никогда к ним не возвращался.

Весной 1947-го Гайто послал роман в «Новый журнал» в США, который уже пять лет возглавляли Марк Алданов и Михаил Цетлин. Из редакции вскоре ответили, что роман принят и будет напечатан осенью.

3

К лету Гайто из шоферских заработков сумел скопить немного денег и отправился на юг, к морю, в местечко Жуан ле Пен. В небольшом городке между Каном и Антибом возобновил

свою работу Русский дом — чудесное место отдыха, куда любили приезжать писатели, оставшиеся во Франции после войны. Отправился он туда не один, а с большой компанией: Фаина, Наталья Резникова, жена Доды, и их сын Егор.

Они с Фаиной не были на юге с начала оккупации, когда жизненные обстоятельства и денежные средства не позволяли подобные поездки. И вот семь лет спустя, сойдя с поезда на знакомом вокзале и услышав шум прибрежных волн, Гайто тотчас почувствовал, как сильно он соскучился по этим местам, по вечерним прогулкам, по длительным заплывам вдоль берега.

Он почти никогда не описывал Лазурный Берег в своих книгах, лишь упоминал его как место действия. Отчасти потому, что для описания исключительных красот требовалась метафорическая роскошь, которую Гайто не любил. Отчасти потому, что, попадая на юг, он временно расставался с мыслями о писательстве, желая просто почувствовать солнце и воду, которых ему так не хватало в Париже. Юг для Гайто был источником скорее физических сил, чем творческого вдохновения.

Но в этот раз все получилось иначе. Он приехал туда, чтобы начать работу над следующим романом, уже зная, что это необходимо, ибо явственно ощущал — расставание с «призраком» не окончательное, пока жив прежний герой, Коля Соседов. И хотя он называл его так только в черновиках, читателю не нужно было прилагать особых усилий, чтобы узнать того же человека в собеседнике Алексея Шувалова из одноименного романа, Платона из «Ночных дорог» и Вольфа из «Призрака». Его герой-повествователь, за которым всегда, словно тень, следовали двойники, теперь лишился трагического сопровождения, мешавшего ему совершить свое «подлинное воплощение», как выражался Гайто.

Настало время завершить его путь. Завершению были посвящены ночные часы, утренние и дневные – плаванию до утомительной мышечной боли.

Гайто развлекал Егора гимнастическими упражнениями — ходил по песку на руках. Он учил мальчика плавать вдоль побережья разными стилями — брассом, кролем. Фаина заплывала так далеко, что превращалась в маленькую точку. Когда кто-нибудь из близких принимался ее укорять за долгое отсутствие, отшучивалась: «Ну что вы! Я в воде как пробка». Вечером всей компанией выбирались на прогулки.

В памяти Егора сохранились долгие вечерние разговоры взрослых о буддизме. Он особенно к ним не прислушивался, но уловил, что Гайто хочет написать роман про какого-то Будду. Незнакомое слово повторяли так часто, что мальчик в конце

концов попросил объяснить, о чем идет речь. Взрослые — мать и Газдановы — как могли, рассказали ему о родине буддизма — Индии.

Особенно живописно вспоминала Индию и ее удивительные обычаи Фаина — она прожила там несколько лет. Гайто рассказывал Егору о буддистской философии, о карме, о многократных перерождениях человеческой души. И мальчику представлялось, что роман должен получиться сложным и чрезвычайно серьезным.

Каково же было его удивление, когда, будучи уже взрослым, он прочел роман под названием «Возвращение Будды» и не обнаружил ни слова о карме, об удивительной истории жизни принца Гаутамы, не встретил ни одного героя со сложно произносимым именем. В романе не было даже экзотики индийской природы, описаний диковинных обычаев и деления героев на касты.

Сюжет на первый взгляд казался почти бульварным: сидя на скамейке в Люксембургском саду, бедный студент Сорбонны подает щедрую милостыню нищенствующему соотечественнику, не спрашивая его имени, не интересуясь его судьбой. Через некоторое время он встречает незнакомца в дорогом ресторане. Представившись Павлом Александровичем Щербаковым, тот приглашает соотечественника в гости и сообщает, что совершенно неожиданно получил наследство от умершего брата. Щербаков становится другом рассказчика и представляет его своей возлюбленной Лиде. Но эта дружба длится недолго: Павла Александровича находят убитым в собственной квартире. Студента арестовывают по подозрению в убийстве, так как он оказался единственным наследником Щербакова, был последним, кто видел убитого, и не имел алиби. Избавиться от подозрения помогла золотая статуэтка Будды, которая стояла на книжной полке в квартире Щербакова и исчезла после преступления. Студент рассказал об этом следователю. Вскоре Будда был найден – его прихватил Амар, любовник Лиды и настоящий убийца Щербакова. Получив свободу и деньги, студент отправляется на корабле в Австралию к возлюбленной, с которой расстался несколько лет назад.

Роман больше походил на традиционные истории из шоферского фольклора, которые не раз пересказывали коллеги по гаражу. В жизни бедного, но честного юноши происходит неожиданная встреча, которая меняет судьбу, приносит богатство и дарит любовь. Правда, ему пришлось отстаивать свою честь перед полицией, что, впрочем, тоже полагалось пережить в таксистских рассказах для полноты композиции. Место действия

— как водится — довоенный Париж. Герой–рассказчик, естественно, русский эмигрант. А Будда? Это всего лишь золотая статуэтка, украденная с полки и в конце романа вернувшаяся на место.

На самом деле Газданов не был бы Газдановым, если бы взялся описывать эту историю в том виде, в каком она бытовала в бульварных романах, столь любимых таксистами. Сюжет о том, как «человеку повезло», его не интересовал. Его даже не занимал вопрос «почему ему повезло?». А вот в чем смысл этого везения? Зачем оно? Что оно значит в судьбе постоянного газдановского повествователя?

И в данном случае Гайто неспроста размышлял о буддизме, когда писал «Возвращение Будды». Он уже знал, что это его последний роман об автобиографическом герое, который, наконец, должен свершить то, к чему стремился, и получить все, о чем мечтал, а затем прекратить свое существование, чтобы возобновить его вновь уже в ином качестве. Писатель уже знал, что таким образом избавит своего повествователя от чувства раздвоенности, мучившего его всю жизнь. В тот момент он уже без улыбки вспоминал полушутливый разговор со своим другом поэтом Александром Гингером, который был буддистом с многолетним стажем.

— Вы знаете, почему я буддист? — спросил его однажды Гингер.— Меня всегда привлекало это непрекращающееся пантеистическое движение, это понимание того, что ничто неважно и что важно все, этот синтез отрицания и утверждения, который дает нам единственную возможность гармонического видения мира. Собственно не мира, а миров, которые возникают, исчезают, появляются вновь в преображенном виде, и время — это только бессильный свидетель их бесконечного смещения. Я верю, что ничто не исчезнет бесследно. И если бы в это не верил, если бы лучшие вещи в нашей жизни были обречены на безвозвратную гибель, было бы слишком трудно, слишком тягостно жить.

Потом Гингер иронично добавил:

– Меня удивляет, что вы об этом не думали и что вы сами не чувствуете себя в какой-то степени буддистом. Вы же все-таки считаете себя человеком полуинтеллигентным, и мы с вами почти одновременно были в университете.

– Да, вы правы, это очень соблазнительно, – отшутился тогда Гайто.

Но сейчас, завершив историю о «призраке», который понимал жизнь как стремление к смерти, и обратившись к завершению истории его антипода, понимавшего жизнь как стремление к

подлинному воплощению, Газданов мысленно возвращался к той мимолетной беседе. И думая о смерти своего повествователя, он уже метафорически представлял ее как отъезд в новое путешествие, которое одновременно же и возвращение — возвращение к любви. Прежде Газданову казалось странным, что мысль о путешествии могла связываться с болезненным и мучительным в его представлении понятием «назад». Теперь же, думая о смерти в буддистском понимании, он принимал это как должное. Роман «Возвращение Будды» начинается словами «Я умер». Дальше следовал эпизод о том, как герой пережил видение собственной смерти и вскоре очнулся на скамейке в Люксембургском саду.

Так, памятуя о «Призраке», который начинается рассказом героя о том, как он якобы убил Вольфа, но потом выяснил, что на самом деле не убил, и оканчивается все-таки настоящим убийством, Гайто пишет роман-продолжение о том, как герой вроде бы умер, а потом все-таки не умер, но, в конце концов, исчез.

И если «Призрак» начинается с эпизода, как Вольф, волею случая в лице Соседова увидел и пропустил свою смерть, то «Будда» начинается с эпизода, как герой волею случая, в лице Щербакова, преобразил свою жизнь. После смерти Павла Александровича он находит записку: «Составить завещание. Студенту в благодарность за десять франков». Это были те десять франков, которые студент случайно дал ему в Люксембургском саду.

«Он не знал, что я просто не мог поступить иначе, у меня не было никакого выбора и никакой возможности сделать по-другому. До конца месяца, когда я должен был получить свою стипендию, оставалась еще неделя, и в моем бумажнике было только два кредитных билета, один в сто, второй в десять франков. Больше у меня не было ни одного сантима, я не мог ему дать сто франков и был лишен возможности дать меньше десяти. Это было незначительное матерьяльное недоразумение, в результате которого у него возникло неправильное представление о моем мнимом великодушии: то, что он принял за великодушие, было просто следствием моей бедности. И этой явной ошибке суждения я был обязан всем, что у меня было сейчас…

Через несколько дней я уезжал в Австралию. И когда я смотрел с палубы на уходящие берега Франции, я подумал что в числе множества одинаково произвольных предположений о том, что значило для меня путешествие и возвращение Будды и каков был подлинный смысл моей личной судьбы в эти последние годы моей жизни, следовало, может быть, допустить и то, что это было

только томительное ожидание этого далекого морского перехода, — ожидание, значение которого я не умел понять до последней минуты».

Так газдановский герой завершил свои многочисленные путешествия, в которые он отправлялся вместе с отцом в «Вечере у Клэр», вместе с мистером Питерсоном в «Бомбее», вместе с умирающим министром в «Вечернем спутнике». Гайто послал роман опять в «Новый журнал». Его опубликовали в конце 1949 года. В последующие два года Гайто не написал и строчки.

ОГРАНИЧЕНИЕ «СВОБОДОЙ»

Свобода необходима для того, чтобы могла развиваться живая деятельность человека, чтобы она могла развернуться во всю возможную ей широту, а потому условие свободы, чтобы не существовало лишних стеснений для человека, не делающих ничего вредного для окружающих и государства.

Дмитрий Шаховской. Памятка «Что надо знать русскому в зарубежье»

1

В 1950 и 1951 годах нью-йоркское издательство Э. П. Даттон и К° выпустило романы Газданова «Призрак Александра Вольфа» и «Возвращение Будды» в переводе на английский язык. Это был уже значительный успех: имя его становилось известным зарубежным читателям. В это время в Нью-Йорке дочь Льва Толстого Александра организовала новое русское издательство – имени Чехова. В поисках хорошего редактора обратили внимание на Газданова, тем более что его роман «Ночные дороги» уже стоял в плане изданий на следующий год. В январе 1952 года Гайто отправился в Америку на переговоры. Оплату всех расходов на дорогу и пребывание взял на себя старый приятель Газданова Николай Рейзини, а точнее Наум Георгиевич Рейзин.

Рейзини был старше Гайто на год. Родился он в Греции, куда отец и мать его — выходцы из России — переехали в начале 1900-х. В 1920 году Николай приехал в Париж и стал заниматься литературой.

Гайто познакомился с Рейзини в конце 1920-х — в прошлом Николай Георгиевич был колоритной фигурой на русском Монпарнасе. Тогда же он помог Газданову устроиться в одно из крупнейших издательств «Ашетт», где и сам работал редактором. Но Гайто тогда не смог приспособиться к образу жизни французского служащего и быстро уволился. Вскоре они стали вместе сотрудничать в «Числах», где Рейзини редактировал философский раздел. После «Чисел» он ударился в коммерцию,

поскольку прозябать не привык, а прокормиться журналистикой было трудно. И тут власти заподозрили его в финансовых махинациях и выслали из Франции. Так еще до войны Николай Рейзини оказался в Америке.

Гайто не очень интересовало, действительно ли Николай допустил какие-то финансовые нарушения в коммерческих делах, ибо он больше доверял своему личному опыту. Рейзини он знал давно, верил в его честность и потому легко принял его приглашение посетить Нью-Йорк.

Первые впечатления от этого города сохранили его записи «Из блокнота»:

«Жаркие сумерки в Нью-Йорке — та душная, влажная жара нью-йоркского лета, которую так трудно выносить.

Иду по Bowery. На мостовой, возле тротуара, лежит человек в лохмотьях. Труп? Пьяница?

Подходит высокий пожилой человек с окурком во рту и просит огня: — Можете себе представить, забыл спички дома. — И, прикурив, начинает хохотать, как сумасшедший. — Вы только подумайте, я никогда ничего не забываю, все это знаю, и вдруг я забыл спички дома. — И удаляется, продолжая хохотать…

Иду дальше — мрачный дом, гостиница. На гостинице надпись "Только для мужчин". Каких мужчин? Таких, как тот, который ничего не забывает?

Или таких, которые все забывали?

Еще дальше — кабаре. "Bowery — Folies". У стойки на высоких табуретах сидят молчаливые, неподвижные люди. А на эстраде старые женщины с перьями танцуют канкан, подымая неверными движениями синие ноги с чудовищно надутыми синими жилами. Глаза у них усталые, на морщинистых лицах и шеях блестит пот…»

Глядя в серые воды Гудзонского залива, Газданов вспомнил, как почти тридцать лет назад смотрел он в воду с набережной Сены, и как нелегко давалась ему любовь к Парижу, как медленно и мучительно постигал он город, как долго он не мог ощутить его родным. И вот теперь он понимал, что на похожее душевное усилие у него уже нет ни желания, ни энергии, — Нью-Йорк он не сможет полюбить никогда. Да и обстановка в издательстве ему не понравилась. Он поторопился покинуть Америку, навсегда сохранив о ней самое неприятное впечатление. «Кто же едет в Америку, если есть возможность этого не делать?» — заметит он позже в одном из писем редактору журнала «Грани» Леониду Ржевскому.

Сам Ржевский, талантливый прозаик и критик, умудрялся работать в Швеции, Германии и преподавать при этом в

университетах США. В Америку он собирался уехать насовсем. Но Газданова такие перспективы не манили.

Спустя год по возвращении из Нью-Йорка Газданов получил реальную возможность не ехать в Америку — «американская» зарплата нашла его в Европе. Правда, у него уже не было возможности остаться в Париже.

2

«У меня есть пьеса, — вспоминал Игорь Померанцев об истории радио "Свобода", — которую я люблю до сих пор — "Любовь на коротких волнах". Эту пьесу невозможно опубликовать, она построена и сделана на архивных материалах, там есть шорохи парижской студии, там есть насморочный голос Газданова. Пленка способна запечатлеть парижскую погоду, парижский дождь, и все это исчезло бы на бумаге».

Действительно, работа на радио, подобно работе в театре, плохо поддается описанию; воссоздаваема она лишь отчасти. И так же, как ни одна запись спектакля не в силах донести стук сердец и атмосферу в зрительном зале, так же ни одна пленка не в состоянии передать тот отклик, который вызвали слова, прозвучавшие 1 марта 1953 года в эфире новой радиостанции:

«Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция "Освобождение"!

Соотечественники! С давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. И вот мы хотим, чтобы вы знали, что, живя за границей в условиях свободы, мы не забыли о своем долге перед родиной. Все мы — русские, как и другие народы Советского Союза, не намерены прекращать борьбу до полного уничтожения коммунистической диктатуры».

По отчетам руководителей идеологического отдела ЦК КПСС 1950-х годов, у КГБ не было технических возможностей точно подсчитать количество слушателей западных радиостанций, вещающих на русском языке. Сколько людей услышали тот весенний призыв, раздавшийся накануне смерти Сталина и предвещавший начало новой эпохи, не знал никто: ни те, кто сочинял этот текст, ни те, кто его глушил. Но, как признавали сами же коммунистические аппаратчики, уже к концу 1950-х годов прослушивание носило настолько массовый характер, что в провинциях Закавказья и Средней Азии можно было встретить города, где люди собирались целыми кофейнями и чайханами на

вечерние передачи с Запада. О том, что финансирование этих радиостанций, как и издательств, публикующих «специальную» литературу на русском, было заложено отдельной строкой в бюджете США, как и о том, что курировало их деятельность ЦРУ, знали все: и те, кто вещал, и те, кто слушал. Однако это нисколько не меняло сути дела: в СССР сразу нашлись люди, желавшие слышать комментарии событий, пусть со звуковыми помехами, но отличные от официальных сообщений ТАСС, а в Европе всегда были люди, готовые подобные комментарии представить. Впервые их собрали в Мюнхене в 1952 году.

Собирали по всей Европе, собирали «технишенс» — людей, которые могут что-то делать руками и выполнять техническую работу, связанную с вещанием; собирали «райтерс» — грамотных пишущих людей, которые могут писать короткие новостные репортажи и сценарии тематических передач на самые широкие темы; собирали дикторов — обладателей убедительных, поставленных голосов, хорошей дикции, владеющих навыками декламации. Таким образом, персонал радиостанции представлял собой полный калейдоскоп послевоенной эмиграции: дворянская аристократия, бывшие казачьи атаманы в галифе, бывшие советские военнопленные и, конечно, старая литературная эмиграция. Такой пестрый состав продолжал работать на «Свободе» до середины семидесятых.

«Первым человеком, которого я встретил у подъезда в день моего появления на радио "Свобода" 1 мая 1964 года, – вспоминал корреспондент Семен Мирский, — был дядька, неверным шагом выходивший из здания. А я-то думал, что в этом бастионе антисоветчины международный праздник трудящихся не отмечается. Это была ошибка, одна из многих. Прошло какое-то время, и я узнал, что на "Свободе" работают люди самые разные: утонченные и не очень, бывшие власовцы, евреи и антисемиты. Короче я понял, что отъезд из СССР за рубеж не означал окончательного прощания с родиной, ибо на "Свободе" было все и даже чуточку больше. Были и американские начальники, которых, разумеется, принято было ругать, но которые худо-бедно понимали, как нами надо руководить».

А начиналось все так: политический советник радио «Освобождение» Борис Шуб сначала отправился в Париж, где обратился с предложением о сотрудничестве к критику Владимиру Вейдле. Через некоторое время Вейдле был назначен директором тематических программ и представил руководству «Освобождения» Гайто Газданова.

Принимая любое жизненно важное решение, Гайто всегда думал о том, будет ли его деятельность полезной и в какой

компании он окажется. Поэтому, соглашаясь работать на «Освобождении» («Свободой» радиостанция будет названа позже — в 1959 году), Газданов твердо знал, что уйдет в тот самый момент, когда его заставят говорить неправду, или то, что противоречит его убеждениям. А компания… Компания оказалась весьма достойной, и это был несомненный плюс.

В первые же годы сотрудничать с новым радио согласились Борис Зайцев, Игорь Чиннов, Георгий Адамович, Александр Перфильев, Александр Бахрах. Из Лондона приехал сын философа-интуитивиста Виктор Франк, за ним — князь Валериан Оболенский, который позднее возглавит нью-йоркское бюро. Газданов заключил контракт одним из первых — 7 января 1953 года и участвовал в подготовке главных новостей. С 28 февраля уже звучали первые позывные, а 1 марта в шесть утра «Освобождение» начало постоянную дневную работу.

И тем не менее согласие служить на новом радио было для Газданова непростым решением. И одной из причин было то, что служба на «Свободе» вольно или невольно означала участие в расколе, который произошел среди русской эмиграции по окончании войны. После победы СССР над Германией в Европе были чрезвычайно сильны просоветские настроения. Тысячи эмигрантов принимали советское гражданство, шли на службу в российские структуры и возвращались на родину, что, в свою очередь, вызывало гнев и возмущение тех, кто сохранял антибольшевистский настрой. Газданов относился к последним, однако принимать участие во взаимной распре не хотел, придерживаясь общих принципов демократии и человеческой порядочности.

Так, в 1947 году, когда он узнал, что Союз писателей и журналистов в Париже принял решение исключить из своих рядов тех, кто получил советское гражданство, он направил секретарю Союза В. Ф. Зеелеру следующее письмо: «Многоуважаемый Владимир Феофилович! Из газетных отчетов я узнал о том, что произошло на собрании Союза журналистов и писателей. Я не был на нем, так как в свое время получил повестку о том, что оно состоится 29 ноября. Никаких сведений о перемене даты я не получал.

Я прочел, что в устав Союза был внесен параграф, в силу которого не могут быть членами этого союза лица, взявшие советские паспорта и занимающие, таким образом, просоветскую позицию. До сих пор Союз всегда отличался самой широкой терпимостью по отношению к политическим взглядам его членов; мне кажется, что в самой возможности подобной терпимости заключается огромное преимущество всякой демократической

организации над организацией, основанной на началах тоталитарной "идеологии". Внесение такого параграфа противоречит, с моей точки зрения, основным принципам Союза, в который теоретически могут входить люди самых разных убеждений — от анархистов до монархистов-легитимистов.

Я никогда не занимался никакой политикой и не чувствую к этому ни малейшей склонности. Но я полагаю, что до тех пор, пока какой-нибудь член Союза не погрешил в личном порядке против правил элементарной порядочности, Союз не имеет право его исключить — только потому, что у него те или иные политические взгляды. Тем более недопустимым мне это кажется по отношению к целой категории людей, исключенных из Союза по политическому признаку. Поэтому, многоуважаемый Владимир Феофилович, прошу Вас — как это ни прискорбно — считать меня вышедшим из Союза журналистов и писателей. Я был бы Вам очень обязан, если бы Вы нашли возможным огласить это письмо на ближайшем общем собрании.

Прошу Вас верить искреннему моему уважению.

Г. Газданов».

Получили советские паспорта и его друзья Вадим Андреев и Володя Сосинский. Газданову подобное решение казалось дикостью. Мыслимо ли было мечтать о домой, пока был жив тиран, пока живы коммунистическая идеология и партийная цензура на интеллектуальное разнообразие? Чем они там будут дышать, бывшие шуменцы «монпарно», недавние герои Олерона? Ответа на этот вопрос Гайто не знал, но свой выбор он сделал: он всегда был на стороне тех, кто борется за свободу, и в крымских степях, и в парижском подполье, и позже — в эфирных волнах.

К счастью, ни Вадим, ни Володя спешить в СССР не стали, а, получив назначение на работу в ООН, в качестве советских служащих остались работать за границей. В Россию они вернулись только во время хрущевской «оттепели». Таким образом, им удалось избежать участи тех, кто поторопился вернуться до смерти Сталина и вскоре попал в лагеря. Но у Газданова по этому поводу никогда не было иллюзий, и с тех пор, как прекратилась его переписка с матерью, мыслей о возвращении домой у него не возникало.

Таким образом, летом 1953 года Фаина и Гайто стали готовиться к переезду в Мюнхен, где находилось радио «Свобода». Они зарегистрировали свой брак, начали оформление документов и поиск нового жилья. В следующем 1954 году радиостанция собиралась выйти на круглосуточное вещание. Работа обещала быть напряженной, и нужно было все подготовить заранее.

По приезде в Мюнхен Газданов по-прежнему занимался информационными репортажами, впоследствии превратившимися в документальную хронику, свидетельствующую о наступлении новой постсталинистской эпохи:

«После долгого перерыва СССР вновь разрешает русским эмигрантам, проживающим в Китае, возвращаться на родину. Все они имеют право селиться только в районах целинных земель.

Начинается еще слабая эмиграция евреев из России и Украины в Израиль.

В США с территории СССР въезжают 2013 человек.

В Москве выходит повесть Ильи Эренбурга "Оттепель", название которой немедленно становится образом политических перемен.

На стены Эрмитажа возвращаются полотна французских импрессионистов, убранные с началом войны "для сохранности" и не возвращавшиеся при Сталине по причине своей "буржуазности".

В нью-йоркском издательстве имени Чехова печатается сборник писателя-эмигранта Бориса Ширяева "Неугасимая лампада", посвященный легендам Соловецких островов, где и сам автор отбывал сталинский срок».

В 1957-м Газданова назначают главным редактором новостного отдела. В его подчинении находились дежурный редактор и несколько ньюсрайтеров, которые доставляли информацию. Потом ее просматривал американский редактор, отбирая нужные сообщения в эфир. Дальше дежурный редактор собирал выпуск, сдавал его Газданову, потом выпуск просматривала американская цензура. После этого всеми прочитанный текст диктор записывал в студии, и только затем он доходил до эфира. Процедура была длинной и неоперативной. Новости сначала «случались», потом печатались в газетах, потом газеты попадали на радио и, подчас в эфире обсуждались события двух – трехдневной давности. Но подобная неоперативность во многом искупалась высоким качеством журналистской работы.

Американская цензура следила за тем, чтобы не было оскорбительных выпадов в адрес советских руководителей, критики в адрес США, то есть всего того, что могло бы повлечь дипломатические скандалы. Но она практически не вмешивалась в то, что говорили русские писатели; интеллигенция на радио «Свобода» могла иметь собственное мнение. В те первые годы обстановка была довольно свободной, у журналистов не было

конкретных указаний, о чем и как писать. Цель и тему передач они определяли сами, сделав предварительную заявку. Как пошутил однажды сотрудник радиостанции Лев Ройтман «Меня спросили: кто тебе определяет тему? Я сказал: определяет газета "Правда". Вот что она пишет, на то я и отвечаю». Этот принцип — отклик на событие, а не на пожелание руководства — был заложен с самого начала.

Писатели на «Свободе» пользовались особыми привилегиями. Для них условия работы были наиболее благоприятными. «Писатели на радио "Свобода" также естественны, как микрофоны и музыка, — замечает по этому поводу Иван Толстой. — Радио "Свобода" — очень писательское радио и писательским было с самого начала. По радио нужно было рассказать о русской и советской истории, о тех белых пятнах на карте нашей интеллектуальной и исторической родины. Нужно было прочесть те произведения, которые слушатели не могли прочесть в СССР. Постоянно обращались к европейским и американским писателям за их мнением, за высказыванием на ту или иную тему. Словом, радио "Свобода" предоставляло широчайшие возможности для всех, кто пишет, для всех гуманитариев, которые могут рассказать что-то интересное, неизвестное и важное слушателям в СССР». И если собеседники порой демонстрировали очевидное сходство суждений, то вызвано оно было скорее их человеческой близостью, чем политической линией, заданной руководством.

В архивах «Свободы» сохранился фрагмент беседы Георгия Газданова, Владимира Вейдле, Георгия Адамовича и Никиты Струве, состоявшейся в 1966 году по поводу выхода на Западе документального сборника «Белая книга» — о процессе над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем [9]:

«Десятого февраля в помещении Московского областного суда началось заседание Верховного суда РСФСР. Судья — председатель Верховного суда Смирнов, обвинение — помощник Государственного прокурора Темушкин, общественные обвинители — писатели А. Васильев и З. Кедрина. Четырнадцатого февраля Юлий Даниэль произнес свое последнее слово. Приговор: семь лет лагерей Синявскому, пять лет лагерей Даниэлю. По материалам суда над писателями, по реакциям и откликам общественности, по документам и письмам в защиту обвиняемых Александр Гинзбург составил "Белую книгу". В 66-м году она попала на Запад. В нашей парижской студии за круглым столом собрались русские писатели — Гайто Газданов, Владимир Вейдле, Георгий Адамович и профессор Никита Струве. Начинает Гайто Газданов:

"Появились слухи, что в Советском Союзе циркулирует так

называемая "Белая книга", где собраны документы по поводу дела Синявского и Даниэля. И через некоторое время эти тексты попали в Париж. И я имел возможность с ними ознакомиться. Это листки, напечатанные на пишущей машинке, их очень большое количество, и там приведено 185 документов.

И тот экземпляр, который я уже видел, это копии, так что они были перепечатаны, вероятно, в большом количестве экземпляров. И были распространены по разным местам в Советском Союзе. И надо сказать, что чтение этих документов производит очень сильно впечатление, потому что впервые за последние годы появляется возможность убедиться в том, что так называемая советская общественность, которая должна была бы одобрять все действия советского правительства, в данном случае реагирует очень определенным образом и реагирует против правительства".

Мнение Владимира Вейдле:

"Очень большое впечатление. Радостное отчасти, отчасти и грустное. Радостное оттого, что нашлось столько людей среди литераторов и не только, которые весьма мужественно высказали свое мнение по поводу этого процесса. Причем они все подписались своими фамилиями и даже дали свои адреса на этих документах, так что они нисколько не избегают ответственности за то, что они сказали. С тем, что они все сказали, тоже нельзя не согласиться. Они это высказали в осторожной, конечно, форме, но все то, что они утверждают, конечно, это правильно, и как критика процесса, которую они ведут, с этой критикой никакой порядочный человек, который любит Россию и любит ее прошлое, не может не согласиться и не посочувствовать тому, что они сказали. Но неизбежно, книга производит и грустное впечатление тем, что в ней открывается насчет того, каков нынче в Советском Союзе суд. Это сказалось уже в процессе Бродского, который в Ленинграде был проведен за полтора года до того. Но и здесь тоже".

Мнение Георгия Адамовича:

"У меня все-таки радость и грусть по поводу этих документов: пятьдесят один процент радости и сорок девять процентов грусти. Потому что жертвы советского режима были и будут, и были гораздо более страшные жертвы, чем Синявский и Даниэль, по своей участи. Радость, потому что совершенно явно, что что-то в России меняется, и теперь происходит то, что не могло произойти пятнадцать лет тому назад. Мне всегда представляется, что если когда-нибудь в России произойдет не революция, а настоящая эволюция, то под давлением новых поколений".

Никита Струве:

"Процесс Синявского является скорее событием духовным и умственным, а не политическим. Я думаю, было бы очень неправильно, если бы мы придавали всему этому делу и «Белой книге» именно политическое значение, дело еще до политики не дошло. Сейчас Россия действительно переживает духовное возрождение. Это духовное возрождение проходит болезненно, оно имеет свои жертвы, и вот такими жертвами явились Синявский и Даниэль. И тут я тоже готов поддержать Георгия Викторовича. На меня эта “Белая книга" производит в каком-то смысле радостное впечатление. Потому что о том, что Россия имеет неправедные суды, это мы знали, и мы знаем, что это не может измениться так быстро. Но то, что мы не знали, может быть, о чем мы только мечтали, на что только могли надеяться — это вдруг увидеть, что проснулась общественность. Какие размеры этой общественности, нам трудно судить, и, может быть, даже в самой России это неизвестно. Но вот эти документы и весь процесс показали, что есть две России. Одна Россия официальная и другая Россия неофициальная, которая мыслит очень тонко, мыслит по-человечески, разбирается в правде и неправде, судит теперь по-настоящему"».

Единодушие, которое продемонстрировали собеседники — люди различных религиозных убеждений, эстетических предпочтений, да и просто разных характеров, — определялось собственно одним фактом: каждый из них был мысленно обращен к той, второй неофициальной России, которую они хранили в своей памяти и к которой обращались в эфире. И Газданову не приходилось кривить душой, чтобы высказать свое однозначное отношение к процессу над Синявским и Даниэлем, ибо он всегда был убежден, что творческая свобода писателя ни в коей мере не должна ограничиваться обществом из-за политических взглядов автора, неугодных кому бы то ни было. В данном случае он занимал точно такую же твердую позицию, как в 1947 году, когда отправлял письмо Зеелеру, протестуя против исключения из парижского Союза писателей эмигрантов, ставших советскими гражданами. Он всегда воспринимал свободу как незыблемую и безусловную ценность, и в этом смысле не ощущал ни «стилистических», ни «идеологических» расхождений с курсом радиостанции, будучи ее корреспондентом. Его выступлениям были свойственны фактическая точность и последовательность убеждений, которые он пронес через всю жизнь.

И тем не менее прежний Гайто Газданов вряд ли смог бы работать на «Свободе». Дожив до пятидесяти лет Гайто никогда нигде по-настоящему не служил. То есть, он, конечно, пробовал по молодости это делать, но после неудачного опыта в издательстве «Ашетт» он навсегда оставил попытки войти в учрежденческую структуру. В противном случае — он чувствовал – пришлось бы пожертвовать прозой, которая требовала сосредоточенности и вынашивания каждого текста. В прежние годы Газданов жертвовать литературой был не готов. Без этого он бы не выжил, и поэтому легко понимал людей, бросавших ненавистную службу, буржуазные обязательства и пускавшихся в путешествия по неведомому маршруту.

Но в 1950-е годы по завершении «Призрака Александра Вольфа» и «Возвращения Будды» взгляд Гайто обратился во вне. Он словно бы отстранился от своих прежних очень личных, почти интимных текстов. Герои его последних романов перестали быть на него похожими и выстраивались из чужих характеров, иного жизненного опыта. Это была уже другая литература. И теперь, на склоне лет он нашел в себе силы перестроиться и принять на себя ряд обязательств, связанных с точностью и добросовестностью, которых ожидают от любого пишущего журналиста, хотя этот фактор представлялся Гайто самым тяжелым в его работе.

Он занимался информационными блоками, и в первые годы ему удавалось лишь изредка звучать на радио в качестве писателя, как, например, в 1955 году, когда он читал отрывок из своих «Пилигримов». Роман был уже напечатан в «Новом журнале», но ни одной рецензии на него не появилось. Несмотря на продолжение основной газдановской темы — темы путешествия — роман, по умолчанию, был признан творческой неудачей автора. «Пилигримы» были не похожи ни на одну предыдущую книгу Газданова. Конечно, дело было не в отсутствии эмигрантской темы и героев русского происхождения. Не одно это было залогом газдановского успеха. Сюжет «Пилигримов» с элементами бульварного романа — богатый француз влюбляется в начинающую проститутку — сам по себе также не мог послужить причиной неудачи. «Возвращение Будды» было тому ярким опровержением. Однако первая же страница романа свидетельствовала о том, что маршрут авторского путешествия изменил направление — из обстоятельств внутренней жизни он перемещается в обстоятельства внешних событий.

«Когда Роберт читал романы, он почти каждый раз испытывал по отношению к их героям нечто вроде бессознательной зависти.

Если книга, которая ему попадалась, была написана с известной степенью литературной убедительности, у него не возникало сомнения, что ее герои могли прожить именно такую жизнь и пройти именно через те чувства и события, изложение которых являлось содержанием романа. Как почти всякий читатель, он ставил себя на место того или иного героя, и его воображение послушно следовало за авторским замыслом. Но когда он прочитывал последнюю страницу, он снова оставался один — в том мире и в той действительности, где не было и, казалось, не могло быть ничего похожего на это богатство происшествий и чувств. В его личной жизни, как он думал, никогда ничего не происходило. Он упорно старался найти объяснение этому, но объяснения, казалось, не было. Ему не пришлось испытывать ни очень сильных чувств, ни бурных желаний; и сколько он ни искал в своей памяти, он не мог вспомнить за все время ни одного периода его существования, о котором он мог бы сказать, что тогда он был по-настоящему счастлив или по-настоящему несчастлив или что достижение той или иной цели казалось бы ему вопросом жизни или смерти. И оттого, что его личная судьба была так бедна душевно по сравнению с судьбой других людей, о которых были написаны эти книги, он начинал смутно жалеть о чем-то неопределенном, что могло бы быть и чего не было».

Прежняя значительность художественных повторов — героев, сюжетов, — исчезает, уступая место банальной истории о том, как в жизнь героя врываются книжные обстоятельства. Ориентация на события внешнего характера была чрезвычайно показательна для того творческого периода жизни Газданова.

Писать в это время ему уже некогда, да и не очень хочется.

В чужом и чуждом Мюнхене Газданову явно не хватает знакомого воздуха, который, хотя и был заметно выветрен за время войны, но еще хранил запахи довоенной жизни. Он очень тоскует по Парижу…

«Дорогая Вера Алексеевна, дорогой Борис Константинович, — пишет он в декабре 1956 года Зайцевым, — спасибо Вам сердечное за Ваше письмо и пожелания. Ваш приезд в Мюнхен для меня лично был чем-то вроде душевного отдыха, настолько рад я был Вас повидать, завидую Вам, что Вы в Париже, и если мне удастся туда попасть, на что рассчитываю теоретически весной, то уж Булонь я, конечно, не объеду».

Наконец в 1959 году Газданов возвращается во Францию в качестве корреспондента, с удовлетворением замечая, что заниматься новостями ему куда милее, сидя в парижском отделении на рю де Ренн, чем на окраине Мюнхена в старом здании бывшего аэродрома, из окна которого открывался вид на

гору руин — туда свозились остатки разбомбленных домов.

Приехав в Париж, Гайто вновь открывает рукопись «Пробуждения» — романа, который начал сразу после «Пилигримов» в первые годы работы на радио и отложил до лучших времен. Однако и в привычной обстановке — родной город, родная квартира на улице Брансьон — творческих импульсов оставалось немного. Перед течением времени география была бессильна. «Жизнь в Париже, — напишет он Ржевскому, — становится утомительной, не лучше, чем в Нью-Йорке». Так что закончить «Пробуждение» Газданову удалось лишь через несколько лет в Венеции, куда он теперь стал уезжать на отдых. На Французской Ривьере все давно было знакомо, исхожено. И с появлением достатка Гайто с Фаиной стали ездить в Италию, ту самую страну, о которой незабвенный Осоргин написал поэтическую книгу «Там, где был счастлив».

Итальянский воздух подействовал благотворно и с перерывом в десять лет роман был закончен. Как и предыдущий, он был создан все в том же ключе: миф о Пигмалионе и Галатее, воссозданный на современный лад, без намека на специфику российского менталитета.

Французский бухгалтер Пьер, ничем не проявивший себя до определенного возраста, во время отпуска, который он проводил в гостях у старого школьного приятеля, встречает в лесу женщину, в результате нервного потрясения потерявшую человеческий облик. Его друг Франсуа подобрал ее на дороге без сознания и с тех пор она жила в хижине неподалеку от его дома. Она ничего не помнила, совсем не разговаривала, неизвестно чем питалась — жила как дикое животное. Пьер решает взять эту женщину с собой, чтобы попытаться ее вылечить. И в конце концов у нее действительно пробуждаются память, душа, к ней возвращается разум.

В истории нет и намека на перекличку с Вольфом, с которым произошла похожая вещь. Смерть воспринимается теперь Газдановым совсем в ином аспекте, она познаваема и слабеет перед личностью, движимой страстью к добродеяниям. Вместо чтения философских работ для написания этой книги Гайто — ироничный Гайто, не доверяющий медикам, — многократно ездит на консультации в психиатрическую клинику и штудирует литературу по психологии и медицине.

Роман вышел в 1965 году все в том же «Новом журнале» и тоже был встречен молчанием. Его и вправду нельзя было причислить к достижениям, особенно на фоне новой прозы на русском языке — «Доктора Живаго» Пастернака, повести «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Создавалось такое

ощущение, что написать отрицательную рецензию на писателя с устоявшейся репутацией было неловко, – после войны их и так осталось в эмиграции немного, – но публиковать положительную ни у кого рука не поднималась.

Так или иначе, но как заметил Леонид Ржевский, вспоминая о Газданове того периода, «нужды не было и в помине, а творчество не шло».

«У нас тут в Париже писать некому и не о чем, — сетует Газданов в письме к Ржевскому. — Которые еще существуют, стареют, а так как они были не очень молоды во времена Русско-японской войны, то ожидать от них юношеской литературной энергии не приходится. Единственное исключение Б. К. Зайцев. О бедном Чиннове Наталья Николаевна Степун сказала: "Он недовоплощенный". Задумал "Историю низового звена сельской кооперации в Вологодской области"».

Признания подобного рода звучали в устах Газданова намного горше известных слов Бунина: «А в общем, дорогой, вот что я вам скажу на прощанье: мир гибнет. Писать не для кого и не для чего». «Не для кого» — было в эмиграции всегда. Об этом Гайто печалился в далекие 1930-е, когда писал письма Горькому, собираясь вернуться домой, когда затеял нашумевшую дискуссию о молодой эмигрантской литературе. А вот «не о чем» — подобное состояние для писателя смертельно. И Бунину оно, видимо, было неведомо. Действительно, пятнадцать лет благополучной послевоенной жизни Гайто в плане писательства выглядели неутешительно: два средних романа и всего шесть неплохих рассказов.

Однако тема путешествия и возвращения обновленного героя сыграла значительную роль не только в газдановских книгах — ею была пронизана вся его предыдущая жизнь. И финал ее оказался также пронизан идеей возвращения.

5

В 1964 году у Газданова возобновилась связь с Россией. До этого он лишь изредка переписывался с тетей Хабе, но как писателем им, по понятным причинам, никто не интересовался. И вот совершенно неожиданно он получил письмо от владикавказского литературоведа Азы Хадарцевой, которая просила его рассказать о своем творчестве и сообщала о том, что нашла в архиве черновик письма Горького, адресованного

Газданову. Для Гайто это был приятный сюрприз. После 1930-х годов книг на родину он не посылал. У них завязалась переписка, в которой Газданов сообщал, что работает над новым романом.

В это время Газданов приступил к своей последней вещи — «Эвелина и ее друзья», где реанимирует прежнего рассказчика, но совершенно в ином качестве. Образ его почти лишен внешних намеков на прежнего повествователя, однако в нем сохранены знакомые черты героя: стремление к путешествиям в глубины памяти и способность прислушиваться к внутренним импульсам, пробуждающим душевные движения, и самое главное — его повествовательная манера с долгими периодами, характерным ритмом. В «Эвелине» Гайто возрождает все, что составляло неповторимый газдановский стиль.

Закончив «Эвелину», Гайто снова вернулся в Германию. В 1967 году он пошел на повышение. Его назначили редактором русской службы. Это были совсем иной масштаб и круг тем. Теперь он больше занимался литературой, критикой, готовил интереснейшие передачи о Гоголе, Чехове, об Алданове, о Степуне, Зайцеве.

В эти годы он получил многое из того, чего так недоставало в его жизни. Материальную стабильность, собственный (не арендованный!) автомобиль, за которым ухаживал как за любимой лошадью, приличный дом на Остервальдштрассе и, самое главное, — шанс, казавшийся недостижимым многие годы, — достучаться до русского читателя, а вернее слушателя, которого спустя много лет таким причудливым образом подарила ему судьба. И только было жаль, что все это пришло довольно поздно, в последние пять лет жизни.

Как раз в это время он познакомился с молодой соотечественницей — Фатимой Салказановой, ставшей первым журналистом на «Свободе», чьи репортажи шли сразу в прямой эфир. «Однажды я зашла в парижское бюро радио "Свобода",— рассказывала она, — и меня позвал тогдашний директор этого бюро Боб Эллерс: "Зайдите ко мне, я познакомлю вас с главным редактором русской редакции нашего радио, с Газдановым". Я вошла в его кабинет. В кресле сидел человек, который, несмотря на то что он сидел, а я стояла, смотрел на меня очень свысока. Мне было 25 лет, и я уже читала его книги. Меня знакомили с классиком! На мне были темные солнечные очки, потому что еще болели глаза, пострадавшие от электросварки на Большой обогатительной фабрике в Норильске. Газданов сурово посмотрел на меня и с иронической улыбкой спросил: "Вы носите темные очки, чтобы вас не узнавали на улице?" Я ответила, что у меня травматический конъюнктивит, который еще не удалось

вылечить. Но внутренне уже напряглась. Тогда Георгий Иванович сказал: "Говорят — вы осетинка. Хочу сразу вас предупредить, что хотя я тоже осетин, но мой отец был полковником царской армии, служил не в Осетии, по-осетински я не говорю и не понимаю". Я, уже рассерженная его первым вопросом про очки, довольно резко ответила: "Сразу видно, что вы сын полковника, потому что мой дед был генералом царской армии, и он говорил по-осетински и вставал, когда его знакомили с женщиной". Тут Газданов весело рассмеялся, встал, обнял меня, и мы стали друзьями…»

После этого они тепло встречались каждый раз, когда Газданов приезжал по делам в Париж. Чуть позже, в 1970 году, Фатима заключила контракт с радиостанцией и переехала в Мюнхен. «Мы почти каждый день обедали в столовой радио, — вспоминала она. — Он очень покровительствовал мне, и это покровительство проявлялось в том, что он давал мне, начинающей журналистке, тысячу советов и наставлений. Это были советы в основном более морально-этического свойства, чем технического…»

Подобного рода наставления, совершенно нехарактерные для Гайто прежних лет, были теперь абсолютно естественны для главного редактора Георгия Ивановича. На него влияло не кресло руководителя, на него влияли годы — идея наставничества охватывала уходящую старую эмиграцию. Потому и начальником он был не очень удобным. Кто бы из приятелей, сидевших с ним когда-то ночами на Монпарнасе, мог подумать, что Гайто превратится в придирчивого и строгого редактора? Но в стремлении сохранить культурные традиции и держать высоко профессиональную планку он не позволял ни себе, ни другим неграмотности и небрежности, которую легко мог бы допустить как в собственном, так и в чужом художественном тексте. (Коллеги, работавшие с ним в последние годы, шутили, что в русской службе русский язык лучше всего знают два осетина — Газданов и Салказанова.) На радио он чувствовал себя в ином качестве — передатчиком объективной информации, и потому подходил чрезвычайно ответственно к своей работе, ожидая такого же отношения со стороны новичков. Гайто чувствовал, что отпущенное ему время близится к концу и стремился прожить его как обычно — достойно и на свободе.

«Пожалуй, нигде в ином месте, кроме радио "Свобода", не найти под одной крышей такого набора типажей — от уголовных преступников до беспринципных любителей легкого заработка. Но время неумолимо. Поколения работников “Свободы” из числа белоэмигрантов уходили из жизни…» – так писала газета «Правда» в 1989 году. К этому времени из числа белоэмигрантов

на «Свободе» действительно никого не осталось. Газданов ушел одним из первых.

В 1970 году ему поставили диагноз – рак легких. Вскоре он получил письмо от Тани Пашковой – Клэр. Она узнала о его болезни и, встревоженная этим сообщением, решила его разыскать. Гайто ответил ей, что все помнит и благодарен за все, что хранит его память.

Он мужественно скрывал свой недуг, так что посторонние люди не знали, известно ли самому Газданову о его болезни. А близким друзьям сообщал: «Болезнь у меня была чрезвычайно неприятная: врачи, рентгеновские лучи и тому подобное. Но сейчас все, к счастью, в прошлом».

Как это часто бывает у раковых больных, незадолго до смерти наступило временное улучшение, и он даже вышел на работу. В один из дней Георгия Ивановича встретила Фатима и заметила, что Георгий Иванович сильно похудел и ему следовало бы купить новый костюм меньшего размера. Газданов посмотрел на нее с улыбкой и со свойственной ему иронией, от которой не избавила его даже мучительная болезнь, вспомнил анекдот о больном, который спрашивал врача: «Доктор, а почему до операции вы были без бороды, а сейчас у вас выросла борода? Меня что, так долго оперировали?» — «Я не доктор, я апостол Петр». «Так вот, — заключил Газданов, — я надеюсь, апостол Петр примет меня и в таком костюме».

Он, конечно, все о себе знал, знал с самого начала.

ЭПИЛОГ

Гайто Газданов скончался 5 декабря 1971 года в Мюнхене накануне своего шестидесятивосьмилетия. Его отпевали в русской церкви при кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Через три года в 1974 году в Москве писатель Вадим Андреев выпустит книгу, посвященную временам эмигрантской юности. Отдавая дань памяти друга, он назовет ее, как и известный роман Газданова, — «История одного путешествия».

Через одиннадцать лет в 1982 году в могилу Газданова опустят гроб с телом его верной жены Фаины Ламзаки.

Через девятнадцать лет в 1990 году родственница Татьяны Пашковой купит в парижском магазине первое издание «Вечера у Клэр». Букинист будет долго отговаривать ее от покупки. «Не стоит тратить на нее таких денег,— скажет он, — 300 франков — для вас большая сумма. Ведь это великий писатель. Поверьте, вскоре его книги будут продаваться в России свободно». И он оказался прав.

Через двадцать пять лет после смерти Гайто в 1996 году в Москве вышло солидное собрание сочинений Газданова.

Через тридцать лет со дня его смерти в 2001 году у могилы писателя соберутся почитатели его таланта из Парижа, Москвы, Петербурга, Владикавказа. Они придут почтить память автора проникновенных рассказов и романов и установить надгробие на могиле человека, который прожил странную жизнь без зримых подвигов, но чье имя неизменно сопровождает меткий эпитет — героический Гайто Газданов.

Юноша, устало прикрыв рукой лоб, пристально смотрит в небо, мысленно отправляя в вечность послание: в нем тоска о Клэр, сожаление об убитом в степи незнакомце и предчувствие любви, услышанное в шуме волн, несущих корабль по направлению к Австралии. Этот образ, оставшийся от лучших книг Гайто, родился в воображении скульптора Владимира Соскиева, соотечественника Газданова и внимательного читателя его книг. Таким видели его и мы, приступая к жизнеописанию любимого нами героя.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГАЙТО ГАЗДАНОВА

1903, 6 декабря . В Петербурге в семье служащего Лесного ведомства Ивана Сергеевича Газданова родился первенец Гайто, в крещении Георгий.

1911. В Смоленске от сильной простуды умирает отец Гайто Газданова.

1912. Мать устраивает сына в Петровско-Полтавский кадетский корпус в г. Полтаве.

1913 . По просьбе сына мать забирает его из кадетского корпуса, и они переезжают в Харьков, где он начинает учиться во Второй городской гимназии. Знакомство с семьей Пашковых.

1919,осень . Гайто уходит на фронт в Добровольческую армию П. Н. Врангеля; служит рядовым на бронепоезде.

1920, ноябрь . На одном из судов Газданов эвакуируется из Крыма и в составе частей Добровольческой армии останавливается в военном лагере, основанном на турецком полуострове Галлиполи. Как многие недоучившиеся бойцы, поступает в открытую в Константинополе русскую гимназию.

1922. Вместе с гимназией переезжает из Константинополя в Шумен (Болгария).

1923. Заканчивает гимназию и уезжает во Францию. Работает чернорабочим в пригороде Парижа Сен-Дени.

1926. Первая публикация рассказа Газданова «Гостиница грядущего» в эмигрантском журнале «Своими путями» (Прага). Устраивается работать сверлильщиком на автомобильный завод «Рено», учится в Сорбонне.

1927. Начало сотрудничества с пражским журналом «Воля России». Публикует рассказы о Гражданской войне — «Повесть о трех неудачах», «Общество восьмерки пик» и др.

1928. Начинает посещать собрания литературного объединения «Кочевье» в Париже. Пишет программную статью «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане».

1929. Устраивается работать таксистом. В парижском Издательстве Поволоцкого выходит первая книга с романом «Вечер у Клэр».

1930. Получает одобрительное письмо от М. Горького по поводу книги «Вечер у Клэр» и рассказов в периодической печати.

Сотрудничает с журналом «Числа».

1931 . Начинает публиковать свои произведения в журнале «Современные записки».

1932. По рекомендации М. А. Осоргина вступает в масонскую ложу «Северная звезда».

1934—1935. В «Современных записках» публикуется роман Газданова «История одного путешествия».

1936. Публикация статьи Газданова «О молодой эмигрантской литературе» в журнале «Современные записки». В эмигрантской прессе вокруг нее разворачивается дискуссия.

Первая поездка на Лазурный Берег, знакомство с Фаиной Дмитриевной Ламзаки, женитьба.

1938—1939. Выходит вторая книга «История одного путешествия» в парижском издательстве «Дом книги». Опубликованы рассказы «Бомбей», «Хана», «Вечерний спутник» в журнале «Русские записки». Работает над романом «Ночные дороги».

1939, 1 сентября . Начало Второй мировой войны. Газданов подписывает Декларацию на верность Французской республике.

1940 (начало 1941?) . В г. Орджоникидзе (Владикавказе) умирает мать Газданова — Вера Николаевна.

1943, осень . Газданов с женой вступают в движение французского Сопротивления. Помогают евреям покинуть оккупированный Париж. Газданов редактирует подпольный информационный бюллетень на русском языке. Фаина работает как переводчица и связная между парижской группой Сопротивления «Русский патриот» и беглыми советскими военнопленными.

1945. Заканчивает документальную повесть о войне «На французской земле».

1946. Повесть «На французской земле» переведена на французский язык и опубликована отдельной книгой в издательстве «Братья Люмьер».

1947—1948. В «Новом журнале» публикуется роман «Призрак Александра Вольфа». Газданов пишет письмо В. Ф. Зеелеру о выходе из Союза русских писателей и журналистов, протестуя против исключения из Союза русских эмигрантов, принявших советское гражданство. Заканчивает роман «Возвращение Будды».

1950—1952. Роман «Призрак Александра Вольфа» выходит в переводах в США, Англии, Франции и Италии. Поездка в Нью-Йорк.

1953. Подписывает контракт о сотрудничестве с американским радио «Освобождение», которое ведет вещание из Мюнхена.

1954. Газдановы переезжают в Мюнхен.

1959. Возвращение во Францию. Газданов работает парижским корреспондентом радио «Свобода».

1964. Получает письмо от литературоведа Азы Хадарцевой из Осетии, с которой завязывается переписка.

1967. Возвращается в Мюнхен, где возглавляет русскую службу радио «Свобода». Ведет литературные передачи под псевдонимом Георгий Черкасов.

1970. Первые признаки болезни. Получает письмо из России от Татьяны Пашковой (Клэр).

1971, 7декабря. Кончина Газданова в Мюнхене. Похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Адамович Г. Одиночество и свобода. М.: Республика, 1996.

Адамович Г. Литературные заметки. СПб.: Алетейя, 2002.

Алданов М. О положении молодой эмигрантской литературы. — В кн.: Ульмская ночь. М., 1996.

Андреев В. История одного путешествия. М.: Сов. писатель, 1974.

Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. Нью-Йорк. Международное литературное сотрудничество, 1966.

Антология «Нового журнала». М.: Русский путь, 2002.

Аронсон Г. Новый журнал / Новое русское слово. Нью-Йорк, 1947.

Арсеньев В. Сухими глазами / Грани. Нью-Йорк, 1952.

Бахрах А. Книга о Газданове / Новое русское слово. 1984, 28 декабря.

Белая гвардия: Альманах. Вып. 1, 2. М.: Посев, 1997—1998.

Берберова Н. Люди и ложи. Харьков: Калейдоскоп; М.: Прогресс-Традиции, 1997.

Берберова Н. Бьянкурские праздники. Париж, 1938.

Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1996.

Бзаров Р. Об осетинском родстве Гайто Газданова // Северная Осетия. 1998. 27 ноября.

Бочарова И. Согласно голосу совести/ www/moskva.ru/ history/arbat

ВаршавскийВ. Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956.

ВаршавскийВ. Ожидание. Париж: YMCA-Press, 1972.

Возвращение Гайто Газданова: Научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения писателя. Библиотека-фонд «Русское зарубежье»: Материалы и исследования / Сост. М. Васильева. М.: Русский путь, 2000.

Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. Париж, 1946—1947.

Вокруг «Чисел»: Материалы о журнале «Числа» и его авторах. Сост. М. Васильева // Литературное обозрение. 1996. № 2.

Воробьев А. Шуменская русская гимназия // Русская мысль. 1981. 1 января.

Газданов Г. Собрание сочинений: В 3 т. М.: Согласие, 1996.

Газданов Г. Алексей Шувалов. Публ., предисл., коммент. О.

Орловой // Дарьял. 2003. № 3.

Газданова В. Дом на Кабинетской / Доклад на конференции «Газданов и мировая культура». Калининград, апрель 2003.

Гессен В. Герои и предатели. Нью-Йорк, 1951.

Горький — учитель молодых литераторов. Публ., вступ. ст. И. Зильберштейна // Литературная газета. 1979. № 17.

ГульР. Я унес Россию: Апология эмиграции. В 3 т. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2001.

Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. Сост., предисл., коммент. В. Крейда. М.: Республика, 1994.

Dienes L/Russian Literature in Exile: The Life and Work of Gajto Gazdanov. Munchen: Verlag Otto Sagner, 1982.

Диенеш Л. Жизнь и творчество / Пер. с англ. Т. Салбиев. Владикавказ: Изд-во Св.-осет. ин-та гуманитарных исследований, 1995.

Доброволицы: Сборник воспоминаний. Москва, Русский путь, 2001.

Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. М.: Вагриус, 2002.

Душкин В. Забытые. Париж: YMCA-Press, 1981.

Зеелер В. Русские во Франции: Справочник. Париж, J937.

Камболов Т. Штрихи к портрету Гайто Газданова: Письма матери // Дарьял. 2003. № 3.

*Крохин Ю.*Фатима Салказанова: Открытым текстом. М.: Вагриус 2002.

*Кузнецова Г.*Грасский дневник // Знамя. 1990. № 4.

Литература русского зарубежья: Антология. В 6 т. М.. Книга, 1990.

Лукаш И. Голое поле: Книга о Галлиполи. 1921. София: Балкан, 1922.

Менегальдо Е. Русские в Париже: 1919—1939. М.: Кстати, 1991.

На переломе: Три поколения одной московской семьи. Сборник. М.: Русский путь, 2001.

Обзор русского учебного дела и сведения о русских учебных заведениях в Болгарии. София, 1923.

Орлов Г. Галерея масонских портретов / http://lebed.ru/art

Орлова О. Гайто Газданов: История создания образа (обзор и публикация материалов архива Газданова в Хотонской библиотеке Гарвардского университета) / Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7. Литературоведение // РЖ/РАН ИНИОН. 1999. № 3.

Осоргин М. Вечер у Клэр // Последние новости. 1930. 6 февраля.

Реснянский С. Галлиполи. Из Владимирского календаря на

1971 год.

Ржевский Л. За околицей: Рассказы разных лет. Нью-Йорк: Эрмитаж, 1987.

Ржевский Л. Встречи и письма: О писателях русского зарубежья 1940—1960/ Грани. Франкфурт-на-Майне, 1990.

Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов: Сборник. М., 1994.

Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920—1940. Франция / Под общей ред. Л. А. Мнухина. В 3 т. М.: ЭКСМО, 1995—1996.

Рутич Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России. М.: Regnom Российский архив, 1992.

Седых А. Далекие, близкие. Нью-Йорк: Новое русское слово, 1967.

Серков А. История русского масонства после Второй мировой войны. СПб.: Издательство им. Новикова, 1999.

Серков А. Газданов Г.И.: Масонские доклады // Новое литературное обозрение. 1999. № 5.

Слизской А . Из новейшей художественной литературы // Возрождение. 1953. № 29.

Слоним М. Литературный дневник / Воля России. Прага, 1927—1930.

Слоним М. По золотой тропе: Чехословацкие впечатления. Париж, 1928.

Слоним М . О Марине Цветаевой. Русский Нью-Йорк: Антология «Нового журнала». М.: Русский путь, 2002

Современные записки. Париж, 1920-1939.

Сосинский В. Рассказы и публицистика. М., 2002.

Струве Г. Русская литература в изгнании: Краткий биографический словарь русского зарубежья. Париж: YMCA-Press / М.: Русский путь, 1996.

Сургучев И. Ротонда. Париж: Возрождение, 1952.

Сургучев И. Эмигрантские рассказы. Париж: Возрождение, 1927.

Терапиано Ю. Встречи. 1926—1971. М.: Интрада, 2002.

Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924-1974). Нью-Йорк, 1987.

Узники Бизерты: Сборник. М.: Российское отделение Ордена Святого Константина Великого, 1998.

Хадарцева А. К вопросу о судьбе литературного наследия Гайто Газданова//Литературная Осетия. 1988. № 71.

Хадарцева А. И вдруг письмо: Переписка с Гайто Газдановым // Северная Осетия. 1993. 17 декабря.

Хадонова Ф. Возвращения ждущий //Литературная Осетия. 1989. № 73.

Цомаева Т. Этюды о Гайто Газданове: публикация письма Гаппо Баеву // Дарьял. 1994. № 1.

Числа. Париж, 1930—1934.

Шаховская З. Отражения. М.: Книга, 1991.

Яновский В. Поля Елисейские. Нью-Йорк, 1983.

Шаховской Д. Что нужно знать каждому в русском зарубежье. Берлин, 1939.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы к четвертому тому собрания сочинений Г. Газданова. Том готовится к изданию. М.: Согласие.

Литературный архив Г. Газданова Хотонской библиотеки (Гарвард, США).

Архив Т. Осоргиной библиотеки университета Нантера (Франция).

Фремель Т. Вечера у Клэр. (По воспоминаниям моей мамы Киры Николаевны Гамалея о годах юности. 1918—1919 гг. г. Харьков.) Рукопись.

Из архива Библиотеки-фонда «Русское зарубежье»:

Бергман И. Воспоминания.

Бразоль А. Воспоминания.

Веденяпин Н. Воспоминания.

Май Е. Воспоминания.

Орлов В. Дневник.

Судоплатов А. Воспоминания.

Скрипченко К. Воспоминания.

Шмелевский А. Тамара Карсавина. Из личных воспоминаний.

Материалы интернет-проектов:

Военная литература. / www/militera.lib.ru/drogovoz

Харьков. История и архитектура. /www/harkov.net/culture

О Харькове и харьковчанах, /www/goldenpages.ua

www.cadet.ru/history

Радио «Свобода», /www/svoboda.org

Общество друзей Гайто Газданова. /www/hrono.ru/proekty/Gazdanov

notes

Примечания

1

Журнал российских либералов в 1902—1905 гг. под редакцией П. Б. Струве в Штутгарте — Париже; подготовил создание «Союза освобождения» — нелегального объединения либеральной интеллигенции в 1904-1905 гг. – Ред.

2

Конец века (фр.).

З

Денежная единица Турции.

4

Сборник «На переломе. Три поколения одной московской семьи».

5

Роман «История одного путешествия».

6

Временное удостоверение личности, введенное в 1920-х гг. для апатридов и беженцев Лигой Наций по инициативе Ф. Нансена.

7

Речь об угрозе тирании и тоталитаризма со стороны СССР, произнесенная премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в 1946 г. В городе Фултон (США). – Ред.

В цитатах сохранены авторские написания названия лож.

9

А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль были осуждены за «антисоветскую пропаганду и агитацию»: с 1957 г. они тайно передавали на Запад свои сочинения, где те публиковались под псевдонимами Абрам Терц (Синявский) и Николай Аржак (Даниэль). — Ред.